

Поэль Карп

ГОСУДАРСТВО ПРОТИВ ОТЕЧЕСТВА

Книга 3

Оглядка

1998-2007

Петербург
2019

Содержание

Ельцин – отец путинизма 5.10.07	3
Структуры и смыслы	4
Культ не личности	13
Откровенности мало	14
Прошлое возвращается переодетым	18
Под новой вывеской	24
Народдорос	30
Формула Тютчева 25.08.05	34
Сеанс окончен 28.08.05	47
День без числа 28.11.05	62
Забывтая азбука East-West Review 2004	74
Гайдар и его команда 11.09.05	82
Метаморфозы 02.02.07	85
Техника и свобода 16.09.05	92
Не за совесть, а за страх	97
Оглядка	100
О праве русских на самоопределение 25.07.06	125
Чей интерес национальный?	137
Беда несамостоятельности	141
Ориентиры 26.01.07	144
Прогрессивный тупик	153
Что дальше? 14.08.07	157
Третья надежда	183
Феномен Кагарлицкого 17.01.08	190
Русские сказки	223
Кто грозит нацизмом?	236
Трехгорка	244
Псевдонимы – не имена	245
Из слов вытравливают смысл	248
Что надо менять	251
Когда кончилась революция	256
Отчего так?	269

ЕЛЬЦИН – ОТЕЦ ПУТИНИЗМА

Ельцин успел сказать, что каждый взрослый человек чувствует себя лично ответственным за то, что не уберег детей в Беслане. Но хоть во мне их убийство вызвало негодование, скорбь и много чего, я не ощущал личной ответственности. С чего ей взяться, если еще в 1993 я голосовал против Конституции с псевдо-избранным самодержцем. Еще в 1996 вычеркнул Ельцина вместе с Зюгановым. И всюду голосовал против Путина. А возможности уберечь несчастных бесланских детей у меня не было. Коммунисты, звавшие себя демократами, но поддерживавшие ельцинское самодержавие, говорят, что Путин нарушил Конституцию. Многие ее положения он в самом деле нарушил. Но не ельцинский дух. В нашей Конституции нет реального разделения властей, президенту даны немислимые права, а права людей звучат для красоты, как в Сталинской конституции. Ельцину, возведшему Путина на постамент, не хватает духа пред лицом Беслана признать, что в гибели детей виновны и он, и Путин, и их обслуга, но не весь народ России, не все мы. У нас любят коллективную ответственность, только и слышно: бей помещиков, бей кулаков, бей буржуев, бей диссидентов, бей гнилых интеллигентов, бей чеченцев, евреев, калмыков, бей «черных» и бог еще знает кого! А начальство – не виновато.

Говорят общие слова, и на факты не глядят. А жуткий террористический акт не оправдать даже тем, что он ответный, что задолго до него наши террористы провели террористическую акцию - не против данной школы, а против республики с миллионным населением, которое еще не так давно поголовно выселяли. Группа российских террористов под руководством Грачева, Квашнина, Рохлина, Шаманова, Буданова и прочих, успешно перебила двести тысяч чеченцев, одних детей – сорок тысяч. Убивать послали Ельцин и Путин. Но массовых демонстраций на Красной площади не было, никто не сказал, что Басаев и Путин – одного поля ягоды, даже если они в сговоре, и надо уточнить их биографии. О шестистах осетинских детях мы, и сократив число погибших, кричим на весь мир, и правильно делаем, а про чеченских – молчим. Вот и видно, что наша власть не вообще против терроризма, но против **чужого** терроризма, а своему -- способствует и его насаждает.

Иные говорят, -- ФСБ проморгала, и требуют отставки Патрушева. Но имей мы возможность с ним говорить по душам, Николай Платонович, будь он искренен, нам бы сказал: «Да вы что, ребята? Не затем наша контора, чтобы пресечь террор. Мы сами террористы, и семьдесят лет ведем террор против советских людей и за кордоном его поддерживаем. Есть, конечно, спецгруппы для защиты начальства, «Альфа» да «Вымпел», но трудно за всей страной уследить». И будет прав. Виноват не лично Патрушева, а взявшие и положившие в основу строя свое право на террор. Им мало разведки и контрразведки, чтобы защитить не то что государя, а бедных бесланских детей. Политической борьбе за независимость они противопоставляют лишь волю чекистов, то выселяющих, то убивающих целые народы.

Путин затем и меняет государственный порядок и лично дает поручения, чтобы страна осталась советской, более советской, чем

была, -- разве что вместо Маркса молясь ныне Николаю Угоднику. Взрастившей его террористической организации, действительно, надобно подчинение сверху донизу, но для России -- оно гибель. У нас есть опыт распада СССР, оттого и распавшегося, что СССР был целиком и полностью подчинен Москве, и никакие местные нужды, особенности и традиции во внимание не брались. Оттого и поддержали выход из СССР не какие-то диссиденты, Сахаровы, а свои, секретари местных ЦК -- Ниязов, Каримов, Назарбаев и прочие. И в России будет на первом повороте то же самое. Хоть и нелепо сладили Федерацию, шанс для желания удержаться в ней вместе остался, а после путинских перемен желающие остаться поймут, что уже нельзя, что она уже не федерация, и выпрыгнут при первой возможности.

Не надо только думать, что Путин действует по указке из-за рубежа, как твердит Сергей Доренко. Умом он тоже хочет сохранить Россию, но для него есть вещи и поважней. Сталин тоже не хотел допускать немцев до Волги и не раз говорил, будем бить агрессора на его территории! Да только хотел защиты от немецкого агрессора без Тухачевского, без Уборевича, без Егорова и других опытных людей, вплоть до командиров полков, и назначил командующим Белорусским округом Павлова, произведя его в генералы армии чуть не из старших лейтенантов. Вот и защищались на окраинах Москвы. И не то что Павлов был предатель, как говорили потом, но не может старший лейтенант командовать фронтом, если, конечно, он не гений, как Наполеон, а гениев на всякую дурость самодержца не напасешься. В этой самодержавной воле наша беда. Для Путина главное, чтобы он, Сережа Иванов, Грызлов, и вся компания хорошо сидели. Это у него в голове, и смотреть на себя со стороны он не в силах, а никто ему сказать, кем он себя выставил, не вправе. Вот он и про лодку, где было больше ста моряков, говорит: потонула. И про Россию так скажет, когда придет беда, которую сам того не желая, накличет. А за счет новой антигитлеровской или антибинладеновской коалиции не устоять. Вот и надо нести ответственность не просто за бедных детей, и за то, что не упредили террористов в Беслане, но и за то, что террористы правят страной. Про это Ельцин ничего не говорит

СТРУКТУРЫ И СМЫСЛЫ

1

Развитие техники поощряет структурное мышление. Живая тварь и художественный текст отчасти аналогичны машине, ценимой за назначение больше, чем за происхождение. Текущее отодвигает историческое. К дверям подбирают ключ.

С таким чувством Петр, перенимал структуры буржуазного производства, строил фабрики по образу и подобию английских и голландских, стриг бороды и рядил в камзолы. А пренебрегал, казалось, мелочами: русский заводчик не нанимал рабочих, государь дарил ему крепостных, не глупей англичан и голландцев, но без права уйти или требовать прибавки к зарплате. С такой ограниченной свободой наша структура работала иначе, хоть сперва в производстве

металла Англию обходила. Русские не глупей англичан, но у нас другие рабочие нравы. Владеть чужой техникой проще, чем чужими историческими навыками. Техникой Петр владел.

В двадцатые годы XIX века французские историки заметили, что общество делится на классы. Немец Гегель счел тогда единство и борьбу противоположностей движущей силой развития. А Маркс, связав одно с другим, увидел в борьбе классов движущую силу истории и объявил, что «философы лишь по-разному объясняли мир, а надо его переделать». Петр, пренебрегший одной деталью, - наемным трудом, замедлил капитализм и сберег крепостное право. Но коммунистическую утопию Маркса Ленин счел реальностью.

В **единстве и борьбе** противоположностей Маркс больше ценил **борьбу**, звал ликвидировать одну противоположность, «как класс», ради благоденствия другой. Но как некогда Петр, не глядел, что одна перемена меняет всю структуру. Он понимал буржуазное общество, как машину, и хотел ее переделать, чтобы лучше работала. Но еще мало кто догадывался, как машине лучше работать.

2

Когда началась перестройка, казалось, что всем известен путь от капитализма к социализму, но никто не знает пути назад. С дорогой «туда» тоже не все было ясно, но «обратная» была совсем темна. Искали путь к покинутому месту, которого тем временем не стало. Верили, что наш социализм достиг высокого развития, ушел «вперед», надо крепить резервы, ради этого в 1921 и допустили капитализм.

Коммунисты поныне называют себя левой партией, партией трудящихся, и собирают немал голосов. Но не явись Горбачев, а вспыхни революция, люди бы помнили, что до нее довел передовой отряд коммунистического боярства и дворянства, правивший семьдесят лет. Их тоталитарная сила тормозила хозяйство, губила крестьян, обрекала страну на покупки хлеба за рубежом, стреноживала, а то и запрещала, науки, губила искусство. Это уже не вспоминали.

Не только потому, что при Ельцине добрая половина населения еще больше обнищала. Даже в январе 1992, когда народ ощутил себя обманутым, не иссякла надежда, что хозяйственная структура переменится, станет эффективной, и страна окрепнет не за счет несообразно низкой цены рабочей силы, а от доходности производства. Назвавшись демократической, новая власть вроде перенимала западные политические и экономические структуры.

Но вышло по слову поэта: «И все похоже, все подобно Тому, что есть иль может быть, А в целом – вот как несъедобно, Что в голос хочется завывать». Не говоря об авторитарной политической системе, ожесточенной ельцинской Конституцией, по сути не преобразилась и хозяйственная структура, в погоне за видимостью капитализма упускавшая реальность. По-прежнему судебная система в публичном процессе не могла объективно установить истину. Если Александр II, проведя судебную реформу, разграничил суд и администрацию, то наш суд, как и сами спорящие «хозяйствующие субъекты», кругом зависят от исполнительной власти.

Английский капитализм исходно был массовым, он начался в деревне, где крестьяне, преодолевая зависимость от лорда, становились мелкими, а то и крупными собственниками и производителями. Феодальные пути слабели, крестьяне были упорны, потом явились машины и создающие их фирмы.

Наш пост-социалистический «капитализм» начался сверху. Наша власть поручала разным лицам, выступавшим, как капиталисты, управлять государственными компаниями, объявленными частными, Обличая эту «приватизацию», говорили о разграблении государственного имущества. Но умалчивали, что принадлежащее новым предпринимателям («олигархам») стало не так их частной собственностью, как условным владением, которым они могут распоряжаться покуда послушны власти. Случай Гусинского, лишённого подаренного ему телеканала, чуть он возомнил, что вправе рассуждать, кому быть новым президентом, обнажил природу этого «капитализма». Как при Петре или как в Октябре 1917, заявили, что строят один порядок, а наводили другой.

Послушные коллеги Гусинского конкурируют ныне друг с другом не так на рынке, как в коридорах власти. Там решают, кому преуспеть. Не зря «новые русские», делающие деньги, главным образом на экспорте сырья - нефти, газа, алюминия, делятся с государством и его чиновниками, зная, что иначе все отберут. Внутренний российский рынок, теоретически дозволенный, по-прежнему ограничен волей чиновников, без соизволения которых не сделать и шагу. Инвестиции в любую из фирм, кругом зависящих от государства, это вложения в единый, задуманный еще Лениным, общегосударственный синдикат, что в итоге сводит на нет судебную защиту отдельного «хозяйствующего субъекта», и не обязывает власть соблюдать права граждан.

И Петр, и Ленин и Ельцин вливали в новые мехи старое вино, и под новыми именами возобновляли старые порядки. А новые структуры работают по-новому лишь сложившись органично, опершись на политическую волю значительной части граждан, дорожащих отличиями этих новых структур и не мирящихся с их фальсификацией. Говорят, Россия зря пошла по западному пути. А она на этот путь и не ступила.

Подменные поправки тормозят перемены, которых ждут от провозглашенной смены структуры. Благие реформы Петра способствовали укреплению феодальной реакции и ожесточению крепостного права. А прогрессивная утопия Маркса стала опорой ленинско-сталинского бесчеловечного ново-феодального порядка. Даже либеральные перемены в ведении хозяйства, в европейских странах служившие развитию, но введившиеся Ельциным в авторитарной форме, помогали устоять прежним тоталитарным нравам. Изменение тоталитарного режима состояло в смене вывески, в окраске другими цветами. Перестройка стала перекарской.

Призывая переделать мир, который «философы по-разному объясняли», Маркс упустил, что взявшиеся за переделку могут не считаться с мнениями философов.

Смысл установления буржуазных отношений в замене принудительного, подневольного, труда наемным и признании рыночной ценности рабочей силы. Ее ценность, а, тем самым, права ее владельцев, составивших рабочий класс, утверждались уже буржуазными революциями. Это не сразу вело к социальной защите трудящихся, но коренным образом меняло отношения людей в процессе производства, и стало величайшим социальным переломом.

Наемный труд и сознание ценности рабочей силы обратили машину из игры человеческого ума в надежду общественного прогресса. При этом производство, стремившееся экономить физическую рабочую силу и расходы на нее, все более становилось экономическим, а перемены в технике побуждали к общественным переменам.

Маркс хотел переделки мира, освобождающей человека от эксплуатации человеком, то есть, к пропорциональной компенсации всех вложений в производство и обмен (торговлю), и отвергал претензии отдельных вкладчиков смещать прибыльную компенсацию в свою пользу и богатеть за счет чужого труда. Однако, это справедливое стремление грубо исказили не только его последователи Маркса, заведшие при социализме наглое имущественное неравенство, но уже он сам в исходной концепции переделки, поскольку учел не все ценностные вклады в производство и не все источники структурных и технических обновлений.

Объявив единственным источником ценности физический труд и, тем самым, рабочий класс, Маркс пренебрег трудом умственным. А связать надежды на переделку с техническим развитием без умственного труда невозможно. Но Маркс отрицал его роль в создании ценности. Не признавал источником ценности и природные богатства, так или иначе вовлекаемые в производство, – ни землю, даже пахотную, ни полезные ископаемые. А многим народам природные условия служат опорой развития, хотя различия их жизни, отнюдь не всегда параллельны благости природы_____

Разные общественные порядки пользовались приемами «чужих» социальных структур: социализм - буржуазного, феодального и даже рабовладельческого хозяйствования, капитализм - феодальной реакции, а феодализм - то заимствовал технику, разработанную буржуазным производством, то, допуская такое производство, вступал с ним в политический компромисс. Конкретно-историческая смена структур, не совпала с лестничной теорией прогресса, по которой этапам надлежало перерастать друг в друга. Надежда построить коммунизм, ни во всем мире, ни в «отдельно взятой стране», не сбылась.

Перемены методов и структур хозяйствования не сразу охватывали страны и континенты, -- сперва отдельные хозяйства и лиц. Их

плодотворность проявлялась в экономических результатах. Буржуазные революции сняли существенные преграды развитию, освободили людей и общество для предпочтительного им в данных обстоятельствах, тогда как социалистические революции навязывали людям и обществу намеченные порядки. В условиях буржуазной свободы возникали самодвижущиеся структуры, преуспевавшие до очередного кризиса, а социализм тормозил самодвижение и движим постоянной стимуляцией руководства. Жестокость системы списывают на палаческие свойства вождей, на Сталина, якобы искажившего социализм. Но социализму, как внеэкономической системе, и нужны беспощадные руководители, и Сталин ему верно служил, как образцовый палач. Другое дело, что социализм вел Россию, -- но в силу ее размеров и богатств медленней, чем другие страны, -- к пропасти, понятной уже теоретически. А последствия буржуазных революций красноречивы не так теориями, как полемикой разных методов и видов хозяйства. Не зря революции такие разные: в Нидерландах, вообще, не гражданская, а национально-освободительная война, в Англии -- гражданская, но готовая к компромиссу, во Франции -- радикальная. Социалистическую революции, совершает партия, диктующая порядок единого стандарта, -- она берет власть целиком и полностью.

Маркс не ошибался, считая, что само разномыслие философов в объяснении мира не помогает людям жить. Но обмишурился (даже отвлекшись от его экономических просчетов), пренебрегая свободой разномыслия и вызываясь переделать мир, то есть выступить в роли всеведущего бога, наперед знающего, к чему приведет переделка, чего, как выяснилось ни Маркс, ни Ленин не знали, и знать не могли.

Существенны препоны ей препятствовавшие. Буржуазные революции их-то и устраняли, а так называемые социалистические воздвигали, наперед, исключая людей из переделки мира, которую, не спросив остальных, вершил самозванный «авангард». Учение об «авангарде», о партии, разработал не Маркс, а Ленин, это -- суть ленинизма, но его корень -- в призыве насильственно переделать мир вместо того, чтобы ограничить насилие устранением препон разным его частям, в меру своего разума и возможностей, переделаться как сподручней, не за чужой счет.

6

Смешно ожидать, что технические достижения сделают общество нравственно совершенным, хотя качество изготовления машин напрямую зависит от честности сидящих в конструкторских бюро и стоящих у станков. Глупо закрыть глаза на тоталитаризм, социальную несправедливость и неравенство народов. Нелепо обещать, что мир когда-нибудь избавится от нужды переделываться. Тем более, что само развитие создает проблемы, прежде не тяготившие. Однако, минувший век показал сколь опасно подходить к явлениям лишь структурно-теоретически, забывая о конкретно-историческом содержании происходящего. Право-консервативный радикализм, отвергающий свободу перемен, и лево-революционный, жаждущий переделать мир по своему стандарту, схожи противостоянием либеральному приятию

мирных частных преобразований, состязающихся в эволюционном потоке. Развитие Европы и Америки как раз и подало пример состязательной эволюции.

Менее всего ее можно насильно насадить везде и всюду. Но после Треблинки и восстания в Варшавском гетто пора видеть различие насилия и защиты от него. Часто лгут, что нет разницы меж навязыванием деспотизма и демократии. Дескать, народ хочет деспота, - извольте считаться с его волей! Но в Ираке ни шииты, ни курды, вместе составляющие большинство, Саддама никогда не хотели. А демократия, даже не приводя к наилучшим решениям, -- это форма социального компромисса, то есть мирного разрешения противоречий. Такой компромисс, даже подталкивание к нему, как залог возможности каждого по-своему мирно переделываться, а не быть в общей куче объектом насильственных переделок, совершаемых деспотизмом, совсем не то, что замена одного деспота другим. Такой компромисс, даже подталкивание к нему, как залог возможности каждого по-своему мирно переделываться, а не быть в общей куче объектом насильственных переделок, совершаемых деспотизмом, совсем не то, что замена одного деспота другим. Не равнозначны и снисходительность к насилию империи, вцепившейся в колонии, над их жаждущим свободы колониальным населением, и снисходительность к насилию повстанцев над вторгшимися имперскими солдатами, тоже, конечно, душераздирающему, когда в имперскую армию загоняет призыв. Но империя не жалеет своих людей и шлет их на смерть.

Понимание художественных, общественных, политических, биологических структур возникало как углубленное чтение их содержания. Ныне пренебрегают содержательностью и смыслом конкретных структур, вообще, что видно по оценкам «правыми» и «левыми» однотипных социальных явлений, на деле различающихся лишь словами. Новый век подхватывает десемантизацию, выросшую на сломе претендовавших все объяснить религией или светской идеологией. И «правые», и «левые» силятся что-то, -- каждый свое, -- удержать. Но не понимая минувшего, лишь стремясь его зачеркнуть, люди теряются. Если в середине XX века люди осознали нужду противиться тоталитаризму во всех его видах, ныне ее сознают слабей, многие разновидности амнистированы, растет опасность атаки. Не только на две башни в Нью-Йорке.

7

Лучшие примеры структурного мышления дает литературоведение. Оно рассматривает сочинение, не ждущее переделок и перемен, лишь ассоциативно перекликающееся с прошлым и будущим, даже если детали оттуда. Структурное мышление постигает синтаксис миропорядка, не сводимый к заведомой морфологии. Структура сочинения, его композиция, отвечает ощущениям, взглядам и воле автора. Художественный синтаксис, а в конкретном сочинении композиция, проливает свет на все вошедшее в сочинение.

Схожего ждут от социальной структуры, а у нее, даже в тоталитарных режимах, нет единого автора, и необходимо, прежде

всего, выяснять, отчего она так сложилась. А к тому ведет стечение обстоятельств, часто начинающееся конфликтом, нередко неразрешимым, но вынуждающим людей к взаимодействиям. Они и становятся фундаментом конкретной общественной структуры.

Классовое противостояние прежде, чем разрушать общество, его создает по взаимной необходимости разных сил. Со временем какая-то становится лишней, паразитирует или отмирает, но порой держится за место, не находя иной роли. Уже это тормозит общественный процесс. Еще чаще он страдает от несознания своих нужд и возможностей, от неразличения отдельного и общего. Общественные отношения, более любой другой сферы жизни мифологичны. В них ищут политтехнологии, а они не столь определены. Опорой личности долго были владения, но и тогда ею бывал статус, были общества сугубо владельческие, были сугубо статусные. Но откуда эти роли не всегда прояснялось.

Владение наследуют, но и завоевывают, зарабатывают, получают в дар, как зависимое держание, или как доход. В любом случае его продуктивность зависит от меры его признания социальной средой. Сложней со статусом, его определяют владения, но может и должность, заслуги, благоволение верхов, может и дарование, и личное усилие. И еще более мера признания в разных средах. Социальная структура складывается из взаимодействия сред, владений и статусов, многообразие которых втиснуто в понятия _____ рабовладение, феодализм, капитализм и т.д.

Типы своеобразны, но пестры, и их разновидности не одинаково подвижны и не все опознаны. К примеру, капиталистическое государство само порой владеет производствами и выступает работодателем и продавцом. Такую его работу в толпе капиталистов-«частников» называют государственным капитализмом. Но точно так же именуют производственную деятельность тоталитарного государства, тоже выступающего работодателем и продавцом, но без частных конкурентов, и законы капитализма не срабатывают. Никакого капитализма, даже государственного, не бывает там, где нет соперничающих производителей. Но этому промышленному абсолютизму не дают другого названия, робея признать, что это не капитализм, а еще феодализм.

Так и с нынешним российским порядком. Обсуждают его политические декларации, а не структуру. А судить бы не о том, откуда слова, которыми он манипулирует, и демократичны ли речи, а о том, как работают социальные механизмы, обозначенные его словами. Оказывается, не работают, и чтобы заработали, надо идти к министру, а то и к президенту, и просить приказа или нефте-долларов, благо у них есть. Или менять структуру. А это уже революция, которой в силу тяжелого российского опыта всякому хочется избежать.

По мере технического развития структурное мышление ширится. И живой организм, и общество и произведение искусства все чаще мыслятся подобиями машин и все зорче исследуются их конструкции. Понимание структур, - и естественных, и общественных, и художественных, - обогащает понимание жизни, общества и искусства. Вот только взгляд на них, как на чисто механические, без мысли о том, что сделало их такими, а не другими, да еще в одном месте такими, а в

другом другими, словом, отвлечение от истории и обстоятельств их становления, заводит структурное мышление в тупик. Уразумев почти все на свете, найдя ход к священным некогда тайнам, мы по-прежнему недоумеваем перед неведомым.

Но какой представлялась перестройка структур во имя совершенствования общества? Маркс, превосходно знавший Гегеля, отвлекся от единства противоположностей, замкнулся на их борьбе, в итоге которой одну из противоположностей предполагал ликвидировать. Будет ли победившая дальше существовать в одиночку, или окажется в новом единстве противоположностей, и с кем? Будет ли эта новая борьба служить развитию, теоретика не заинтересовало. Сперва рассматривая социальную структуру как продукт истории, он не счел нужным хотя бы прикинуть, что произойдет, если эту «плохую» структуру сломать, - упразднится ли классовая борьба или борьбу пролетариата с буржуазией заменит другая? А Маркс в предсказании конкретного хода истории еще был осторожен. Потом действовали смелей, не только пером, но и пулеметом. И объективное мышление подменили волюнтаризмом, а структурные понятия ввели в идеологию.

Интересующимся, что нашу страну ждет, - стоит подумать, почему ее историю забыли. Не только потому, что банкротство привычного уклада стало особо ощутимо, когда Ельцин, свалил на людей дополнительную плату за бывшее, и добрая половина населения обнищала еще сильнее. Даже в январе 1992, когда народ ощутил себя обманутым, еще не пропала надежда на преобразование хозяйственного механизма, на то, что он станет эффективнее, и государство будет крепить свою мощь не за счет несообразно низкой оплаты рабочей силы, а за счет прибыльного производства, как на Западе. Зовясь демократической, новая власть как бы переняла западные политические и экономические структуры.

Но, по слову не дожившего до тех лет поэта, стало «все похоже, все подобно Тому, что есть иль может быть, А в целом – вот как несъедобно, Что в голос хочется завывать». Не говоря о фальши новой политической системы и авторитарной ельцинской Конституции, фальшивой оказалась и новая хозяйственная структура, при показном сходстве с западной, в корне от нее отличающаяся. Так и не была создана судебная система с объективным ведением дел на основе публично, в судебном процессе, выясняемой истины. Если Александр II, проводя свою судебную реформу, первым делом заговорил об отделении суда от администрации, то у нас споры «хозяйствующих субъектов» решаются под давлением государства, стоящего за свой да своих чиновников интерес.

Но если при царе судебная система стала достаточно действенна, то экономические отношения в ней, опутанные феодальным наследством, нуждались в существенных реформах и хозяйственной системы и государственного порядка. Сын и внук царя-реформатора с ними не торопились, а после Февраля новая власть не спешила с выборами в Учредительное собрание. Это и стало толчком к Октябрьской революции, приведшей к власти большевиков, мечтавших об ином порядке. Обещанные выборы в Учредительное собрание они, наконец, провели, но уже, в январе 1918 года, его разогнали, совершив

тем самым государственный переворот и установив военный коммунизм.

Полноценного буржуазного опыта, к которому в 1991 году можно бы вернуться, у России за плечами не было. Ей предстояло прыгать к нему от советской феодальной системы, возродившей пороки прежнего реакционного феодализма, даже дореформенного. Механический перенос буржуазных структур в российские обстоятельства сам по себе не мог преобразить феодальный социализм в капитализм. Государственная власть сохранила право не только на установление норм хозяйственной жизни, но и на прямое вмешательство в нее. И объявленные буржуазными структуры стали лишь более гибкими формами тех же советских хозяйственных отношений.

Нынешний российский «капитализм», начал сверху, оставив деревню почти как была. Власть назначила группу крупных «предпринимателей», передав им государственные фирмы и объявив их частными. Обличая эту «приватизацию» говорят о грабеже государственного имущества. Отчасти он и впрямь шел. Но важнее, что даже и честно полученное «олигархами» стало фактически не их собственностью, а лишь условным владением, которым они могут распоряжаться покуда сами выполняют распоряжения власти.

Она определяет, кому преуспевать. Не зря «новые русские» делают деньги, которыми делятся с государством и с его чиновниками, главным образом на экспорте нефти, газа, алюминия и т.п. Внутренний российский рынок, теоретически дозволенный, по-прежнему ограничен волей чиновников, без соизволения которых не ступить и шагу. В результате инвестиции, внутренние или зарубежные, в любую из наших, кругом зависящих от государства, фирм это фактически вложения в единую, общегосударственную фирму, почему и сдерживаются не одной слабостью судебного обеспечения независимости хозяйствующего субъекта, но и ожесточением авторитарного правления и нарушением прав и свобод граждан, ставя добрую волю власти под сомнение.

И Петр, и Ленин и Ельцин понимали, что можно в новые мехи влить старое вино, и бросая новые призывы, возобновляли под иными именами старые порядки. А по-новому новые структуры работают лишь тогда, когда их внедряют целостно, опираясь на политическую волю значительной части граждан, понимающих, зачем они стране нужны и не мирящихся с фальсификацией. России все ищут особенный путь, хоть у нее, как и у других, выбор есть лишь между экономическим и внеэкономическим. Но, вопреки распространенному мнению, что Россия зря пошла по западному пути, надлежит, как минимум, признать, что на западный демократический путь она еще и не ступила.

КУЛЬТ НЕ ЛИЧНОСТИ

В марте 1953 Сталин оставил страну с атомной бомбой, но в глубоком кризисе, а его преемники, валя на покойного вождя и учителя злодеяствия минувших лет, подчеркнули, что он вел партию правильным путем. Благодаря оттепели власть устояла и утешилась тихим сталинизмом Брежнева, доведшим кризис до крушения. Горбачев не оспаривал миф Маркса о революции созревшего капитализма во всех развитых странах разом, но усомнился в ленинском волюнтаризме и революции в одной стране, да еще отсталой. Однако от Ленина не отрекся, не отверг его предначертаний, которые не мог выполнить. Никто не уточнял, что в Ленине было сталинским, а в Сталине перестало быть ленинским. Они не сильно расходились. Мертвый Сталин пересиливал мнимые новации Горбачева и Ельцина, отброшенные Путиным, считавшим, что мы не такие, а совсем другие. А мы, какие были, такими остались, и все еще обличаем дурную личность. Сталина нет уже пятьдесят восемь лет, но зло от него не только в культе и не только в личности

Сталин олицетворил большевизм. Не оформленное в 1902 году на гребне буржуазного развития России политическое рабочее движение, а желавшее, зажав капитал, установить справедливый строй. Сталин оглашал это как продолжение оглашенного Лениным, до своего единовластия. Российскому антиисторическому сознанию чуждо понимание развития, как непрерывного преобразования. Ленин был более искренен, Сталин более театрален. Но они были единомышленниками.

Неожиданно выяснилось, что, победив в гражданской войне, надо отступить, допустить НЭП, иначе «сомнут». Ленин отвел отступлению год, Сталин длил его восемь, уточняя внутрипартийные отношения и социальную ситуацию, марксистских предпосылок к коммунизму не сулившую. Крестьяне, облегчив феодально-большевистское ярмо, стали самым массовым буржуазным классом, составившим большинство советского общества. Нэпманы – и предприниматели, и ремесленники – хоть и урезанные в правах и возможностях, надеялись на развитие страны, на свою нужду в нем. Никакой класс населения, кроме крестьян, не преуспевал, но уже не бунтовал.

Но изменилось состояние правящей партии, служившей, в отсутствие элементарной демократии, внеэкономической вертикалью власти. В апреле 1917 партия насчитывала около ста тысяч. Взяв в октябре власть и в январе разогнав Учредительное собрание, она выросла до трехсот тысяч, а к пику коллективизации, к июню 1930, составила почти два миллиона. Зарплату коммунистов на руководящих должностях сперва ограничивал партмаксимум, не дававший превысить зарплату квалифицированного рабочего, но должности давали материальные блага, а в 1934 году, перед массовым террором, партмаксимум официально отменили. Материальные доходы партийных активистов были им важны. Это отличало новых большевиков от старых, убеждения и вера которых, если и был, нелепы, то бескорыстны, о чем в 1958 бестактно напомнил фильм Ю.Райзмана «Коммунист».

Во второй половине двадцатых выяснилось, что волюнтаристский план Ленина несостоятелен и надо разбираться в рыночных отношениях

меж советским государством и буржуазной массой свободных крестьян, и самим решить, что такое социализм. Троцкий, Сталин, Зиновьев видели в крестьянстве противника, но не могли договориться, что считать социализмом. На фоне партийной борьбы за власть проступали смачные детали, - вытеснение второго при Ленине лица, Троцкого, союз Сталина с более чутким к деревне Бухариным, изгнание Зиновьева, и общее разоблачение «правых» и крепких крестьян, - лишь детали.

Не один Сталин, но активисты партии считали, что социализм невозможен без анти-крестьянской революции и потоков крови, едва ли не больших, чем в Гражданскую войну. Некоторые старые большевики кончали с собой. Но большая часть новых пошла за Сталиным, который не смущался. Поэт не зря назвал его «мужикоборцем». Он и провел новое закрепощение крестьян, совпавшее с отменой партмаксимума. Но зло было не в одной корысти.

Части коммунистов Бухарин был ближе Сталина, и сводись дело к внутрипартийной борьбе, у него были шансы. Но он бездействовал. Незадолго до расстрела ездил в Париж и мог там остаться, но вернулся на верную смерть, это сознавая. Видимо, ориентация на демократическое государство коммунистов, казалась менее вероятной чем на социализм и обобществление, и надо было либо публично признать ее ошибкой, либо подчиняться Сталину, уже понимая, что порядок, который он наведет, не будет иметь ничего общего с объявленным большевиками в 1917 счастьем человечества.

Бухарина нет почти три четверти века, колхозы возникли не сказочные, и нам справедливо объясняют, что порядок, при котором мы жили, был социализмом. Другого социализма не было, нет и быть не может, в чем виноват не один Сталин.

Ленин, Троцкий, Сталин, Зиновьев, Бухарин и другие получили в наследство страну, имевшую куда большие шансы на демократию и развитие, чем до 1917. Но в 1929 году руководство партии хотело социализма, хоть в его методах и толкованиях еще расходились. Сталин лучше многих видел, что у марксистской утопии нет шансов, и строил беспощадную самодержавную власть. Наивно считать его преступником-одиночкой, и даже главарем банды. Он – обычный ленинец. Лишь поняв это, можно сообразить, что строил Ленин.

ОТКРОВЕННОСТИ МАЛО

Во вступлении к трехтомнику Сергей Давлатов подчеркнул, что «Нелицемерная, ничем не защищенная открытость дурных волеизъявлений представлялась ему гарантией честности, а благопристойное существование – опорой лицемерия». То есть, он считал людей мерзавцами, а честными лишь тех, кто свою мерзость не скрывал. Впрочем, еще герой Шиллера сказал, что люди - порождение крокодилов. Но зло творят не только по злобе, а порой из лучших побуждений. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Не все объяснишь подлостью человеческой природы или правомерностью обид. Любящие родители порой причиняют детям зло, а любящие дети родителям, хоть и те и другие в целом желают близким несопоставимо

больше добра и обычно искренне. А бывают еще врачи и учителя с их непреднамеренными ошибками,

Но политики выделяются и на этом фоне. Родителям, врачам и учителям, а порой и детям, часто приходится решать за тех, кто по неведению, болезни или возрасту не в силах решить сами. А политик решает за взрослых, не открыв замысла, не предусмотрев последствий. Нередко водит народ за нос, отстаивая интересы своего класса. Но в двадцатом веке часто ущемляют и классы, от имени которых выступают, как у нас рабочих и крестьян.

Один из самых достойных людей XX века Джордж Оруэлл говорил: «Каждая строка, которую я написал после 1936 года, прямо или косвенно направлена *против* тоталитаризма и за демократический социализм, как я его понимаю». Это чистая правда. Тоталитаризм наглядно демонстрировали Гитлер и Сталин, его объясняли Оруэлл и Ханна Арентс, но демократический социализм живет лишь в личном понимании и личной надежде. Сообразный такой надежде порядок нигде не установился на сколько-нибудь длительное время, но так или иначе перерождался, - обычно в тоталитарный. Возможно, Ленин, Троцкий и расстрелянные в тридцатых большевики мечтали не о том обществе, которое достроил Сталин, но без их вкладов у него ничего бы не вышло.

Беда отчасти в том, что коммунизм, социализм, строили по воображаемым проектам, а другие общественные порядки рождались стихийно. Рабство возникло задолго до понятия о рабовладельческом обществе, наемный труд, раньше понятия о капитализме. Общество развивается, нуждаясь в переменах порядка. Не только Россия, еще не вполне сбросившая феодальный уклад, но и давно с ним покончившие западные страны, победившие ее в Крыму и тем побудившие равняться на запад.

Буржуазное общество тоже не сразу осознало свою природу и стало с ней считаться. Когда его исходных участники, предприниматели и рабочие, осознали свои противоречия, защитники рабочих, как страдавшей стороны, призвали к непримиримой борьбе, уничтожению другой стороны и к социализму. Остроту в эти призывы внесла претензия авторов сослаться на Гегеля, понятого, якобы, лучше, чем он себя сам, считая борьбу противоположностей неотделимой от их единства.

Противопоставив абстракции социализма конкретные социальные гарантии, капитализм устоял. Но в России, к XX веку самой развитой из феодальных стран, переосмыслили понятие о социализме. Вместо того, чтобы возникнуть в итоге успешного развития капитализма, русский социализм обещал обойти капитализм, его догнать и перегнать. Теория Маркса считала, что рабочий класс, став большинством населения установит социализм и коммунизм. Создать его по Марксу призваны все развитые страны вместе. А в России рабочий класс был явным меньшинством, но Ленин хотел социализма в одной, отдельно взятой и не слишком развитой стране.

Говорят, русские коммунисты ошиблись, но такие ошибки повторяли другие страны, а ни в одной из развитых так и не установился «правильный» социализм. К тому же, буржуазное, как и феодальное, и

рабовладельческое общество, состоит не лишь из двух противоборствующих классов (угнетателей и угнетенных), и его проблемы не только в их противоборстве. На деле под разными флагами возникали самые разные формы «социализма», общие черты и свойства которых, в конечном счете, были тоталитарными.

Множились отречения от провозглашенной еще просветителями веры в общественный прогресс. Но прогресс не всюду умирал, порой бросал проложенные пути и надежные образцы. Он редко шел прямо, предпочитал обходы. Никто, например, не ждал, что продажа шерсти во Фландрию велит Англии создать собственное производство, а в нем ткацкий станок и другие машины, что не только обратило ее в XVIII веке, и особенно после победы над Наполеоном в XIX, в первую державу мира, но положило начало индустриализации мира, утвердившего в Европе и в Америке новый общественный строй.

Социальные движения, узревшие изъяны этого нового строя, стремились их преодолеть, обеспечивая права и нужды всех его участников, начиная с рабочих. В пост-наполеоновской Франции их называли «левыми», часто подхватывали. Но там, где новый строй не вполне совладал с господствовавшим феодализмом, возникли еще более «левые» движения, тоже чистосердечно намеренные улучшить жизнь, но не совершенствуя новый строй, а целиком его отвергая, обращая в социализм и коммунизм. Начав его строить, они в XX веке практически отвергли и демократию, и права человека, которые сперва тоже защищали.

Мир проглядел, как, начав на левом фланге, они создали государство, руководящее сверх-монопольным хозяйством, не знающим ни свободной инициативы, ни конкурентности, и задуманный ими «левый» и «прогрессивный» социализм на деле обращался тоталитаризмом, «правой» реакцией, и формировал не бесклассовое общество, а лишь новый правящий класс – номенклатуру. От прежнего дворянства ее больше отличали манеры, чем социальная роль. Но когда ее социализм треснул, власть она удержала.

Социальный смысл происходившего в России в том и состоял, что правящий класс крепил свою власть и свой достаток, отбрасывая давно тяготившие его марксистские формулы, мешавшие богатеть непосредственно, а не только за счет занимаемых должностей и привилегированных выдач. Государство продолжает руководить хозяйством, хоть более гибко. Правящий класс, именовавшийся прежде «руководящей силой», ныне зовет себя «элитой», и это позволяет счесть нынешний порядок лишь иной формой социализма, не столь абсолютной, как советская, но более схожей с другими. Говорить о смене общественного строя нет оснований. Хоть хозяйство кличут рыночным, и даже капиталистическим, оно остается внеэкономическим, и не дает современной технике простора быть эффективной. Потому перспективы нынешнего порядка, как и прежнего, определяются, прежде всего, доходами от продажи за рубежом нефти, газа и другого сырья, и, конечно, подавлением населения, готовностью власти применять против него силу. Дубинки уже пущены в ход.

Между тем, национальные интересы России снова требуют обращения к опыту развитых буржуазных стран. Уже не только для

технических заимствований, но для понимания неизбежных и у нас проблем, с которыми столкнулись там, и покамест их тоже не везде решили. В частности, резкое повышение в производстве роли умственного труда и создание этим нового технического класса, ценностный вклад которого, в отличие от физического труда, не адекватен рабочему времени и адекватно не возместим привычной зарплатой, вызывает нужду в переходе производства к авторскому гонорару, отвечающему социальным переменам. Хотя жалование ученых в развитых странах вполне позволяет существовать, его контраст с доходом, который их труд дает предпринимателям и рабочим, не веселит растущую техническую и научную интеллигенцию, и часто делает ее крайне «левой». Ее неудовлетворенность ведет к так называемой «утечке мозгов», ныне реальной, в отличие от советской поры, когда мозги просто не выпускали. К тому же власть, в силу невежества или расизма, легко ими пренебрегала. Ныне способные и образованные люди из-за жалкой оплаты умственного труда уходят не столько даже за рубеж, сколько в коммерческие структуры.

Не очень налажены и отношения развитых стран с развивающимися, развитие которых, как и наше, опираясь на технические заимствования, по-преимуществу остается внеэкономическим. Вот они и не входят в демократический круг и часто тяготеют к силовой политике. В былой холодной войне развитому миру противостоял СССР, силой набиравший себе союзников, а сегодня на силу надеется не только Россия, но и Китай, и большинство арабских стран, и многие латиноамериканские и африканские.

Ощущая угрозу, развитые страны не видят от нее защиты, кроме военного превосходства. Вроде бы Америка в Ираке не только показала силу, а вызвала сперва даже доверие населения, пошедшего на выборы, но, упрямо отстаивая целостность искусственно созданного Ирака, вместо того, чтобы позволить его частям развестись, она разнимает ныне их схватки, конца которым нет и вряд ли скоро будет. В наших республиках и прилегающих к ним землях, разрезанных вопреки реальному расселению народов, видны схожие распри, хоть не везде, слава богу, льется кровь. То же и в Африке. Эту проблему, для развитого мира внешнюю, а для нас еще и внутреннюю, и им, и нам, трудно решать.

А и в сознании новых поколений содержание назревших перемен не конкретизируется. Говорят, прежние понятия, - левое, правое, либерализм, консерватизм, национализм, интернационализм, буржуазия, социализм, - отжили, нужны новые. Это отчасти так, но прежние понятия, как и прежние реальности, не просто уходят и опустошаются, а меняют роли и смыслы. Российский человек, проживший жизнь «левым», не любивший советскую власть за то, что стала «правой», видя, как нынешние «левые» чтут Чавеса, ужасается тому, как мало тот похож на давних «левых», - на Герцена или на Короленко, дороживших свободой отдельного человека не меньше, чем обещанной похлебкой, чаще всего так ему и не достающейся. Людям трудно усвоить, что понятие «левый» не умерло, но на практике изменило значение, обозначая крайнюю форму звавшегося прежде «правым». Избежать «левой» и «правой» крайностей дает лишь демократия,

взаимное признание разных начал и взаимовыгодные компромиссы. Они – условие развития.

А без развития благосостояние миллионов невозможно. Его не восполнит никакая вертикаль, даже увенчанная идеальным правителем. Одной головы мало, советники не помогут. Лишь свобода инициатив каждого способна отвечать на вечный российский вопрос «Что делать?», Она включает в себя публичные споры и выяснения отношений, повседневную полемику и уточнения понятий, при том, что никто наперед не провозглашен владельцем окончательной истины, если только она не состоит в самой этой свободе.

В том и беда, что нами всегда правит владелец других истин, назначающий и будущего их владельца, своего преемника, не спеша объяснять в чем его план. Россия смотрит сериалы, а не картины своей жизни. Это -- опять государственные тайны. Не потому ли Давлатов и популярен, что из всех добродетелей ценил лишь откровенность?

Апрель 1994

ПРОШЛОЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПЕРЕОДЕТЫМ

Два с половиной века пробыв под монголами, Русь от них избавилась, однако собственная феодальная реакция застоялась, и лишь отмена крепостного права форсировала буржуазное развитие. Но буржуазия не овладела положением ни в 1905, ни в Феврале 1917. И большевики без малого на восемьдесят лет лишили страну альтернатив. Не считать же таковой возможное поражение, на грани которого СССР был в войне с Германией, заведшей в 1933 порядок вроде нашего.

Тоталитарные порядки, установленные у нас, в Италии и Германии, появление их сторонников в других странах и угроза их торжества в освобождающихся колониях пролили новый свет на историческое развитие. Прежде верили, что внутри феодализма зреет капитализм, который победит. Или, не влюбив капитализм, верили, что внутри него зреет коммунизм, который победит. Верили в лестницу неотвратимого прогресса, и в СССР на всех углах висело: «Победа коммунизма неизбежна», хоть язык не сопрягает добро с неизбежностью.

XX век растоптал эту идиллию. Вскормившая ее теория Маркса, решившего, что к коммунизму ведут успехи капитализма, преуспела, однако, не в развитых буржуазных странах, имевших по теории такую перспективу, а в полуфеодальных, где рабочий класс был в меньшинстве. В том числе и в России, где большевики сообразили, что взять власть в отсталой стране легче, чем в передовых, как учил Маркс. И решили ее брать при первом удобном случае, а не ждать вершин буржуазного развития, как учил Маркс. И приступать к строительству коммунизма даже в одной, отдельно взятой стране, а не всюду разом, как учил Маркс. Наивно, однако, свести российскую трагедию к измене марксизму. Немецкий мыслитель принял материалистическое понимание истории, с учетом экономической обусловленности социальной жизни. Но экономику он понимал упрощенно, и творцом ценности счел лишь физический труд, что уже

тогда перечило промышленному перевороту и влиянию науки на производство. Маркс думал, что философы лишь по разному объясняли мир, а надо его переделать. Но благоприятность социальных переделок для миллионов определяется тем, в какой мере экономические силы создают нужные людям ценности, а сведение их источников к физическому труду поворачивает переделку к тому, что и Маркса, доживи он до наших дней, едва ли бы радовало. Так или иначе, на русскую жизнь утопия Маркса влияла не так в первоначальном виде, как преобразенной в утопию Ленина, отступившего от Маркса не только в перечисленных случаях, но пополнившего его учением о партии, не выражающей, а подменяющей рабочий класс.

В 1917 году усугубилось напряжение крестьянской массы, вовлеченной в мировую войну и потому вооруженной. Ленин понимал, что она не успокоится, не переделав землю, с чем Временное правительство не спешило. Он понимал: сегодня - рано, послезавтра - поздно. Рано, пока надеются на Временное правительство, поздно, когда оно, наконец, соберет Учредительное собрание. Но пока, не внемля зову истории, оно медлило, бил час русской аграрной революции. И разом национальной революции покоренных народов Российской империи. Но, возглавив обе революции, Ленин железом и кровью вел все к обещанной утопии.

Успех его стратегии - не повод забыть, что и Октябрьская революция, воплотившаяся в Декрет о земле и Декларацию прав народов России, по- существу, была буржуазной. Взяв власть с буржуазными лозунгами, Ленин навел антибуржуазный режим, какого хотела лишь четверть жителей. В Октябре 1917 он совершил двойную революцию, - и для русских, и для нерусских, а, разогнав Учредительное собрание, в январе 1918, - контр-революционный переворот. Но и его сторонники и его противники революцию и переворот различали, а потом их перестали различать..

Установление военного коммунизма потом объясняли трудностями гражданской войны. Но кто читал Ленина, знает, что именно этой войны, как раз и вспыхнувшей вслед за контр-революционным переворотом, он хотел. И после гражданской, до вынужденного признания необходимости отступить к НЭПу, свое чувство не отменял, а усугублял. Он строил коммунизм, как в позднейшей речевке: не умеешь - научим, не хочешь - заставим. Силой!

Чтобы заставить, у него и была партия особого типа, какой большевики хотели быть еще расходясь с меньшевиками на Втором съезде РСДРП. А в полной мере стали после захвата власти, заведя Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией, вне правовых понятий уничтожавшую несогласных. Военный коммунизм мыслился как постоянная гражданская война, государственный террор для общего блага. Позднее, при коммунистическом строе, открыто славил Ивана Грозного. Он и был прообразом ленинского понимания власти, а его феодальный абсолютизм - прообразом военного коммунизма, доведенного до коммунистического абсолютизма уже Сталиным, а опричники - прообразом ЧК и КГБ. Новый советский строй на деле стал новым ожесточенным феодализмом.

Коммунистическая партия, в отличие от обычных, выражающих интересы социальных слоев и групп, сперва выражала их лишь временно и конъюнктурно: в революцию - крестьянства, но больше - рабочего класса. Она продвигала свой «идеальный» проект, как религиозное движение, не видя его утопичности. Не вожди говорили от лица партийных масс, а, напротив, партийные массы вели за вождями, причастными к идеологическому замыслу переделки. При Ленине идеологию еще звали марксистской, даром что утопию Маркса подменили военным коммунизмом. Потом ее звали марксистско-ленинской, но продолжали менять. Да и как иначе, если само стремление к коммунизму признавали не присущим рабочему движению, а вносимым туда партией.

Вождями становились люди, не просто уважаемые, а особо преданные идеологии, как ее понимали в текущий момент. Они, с одной стороны, правили партией, как цари, но с другой – сами были бессильны перед единством товарищей по руководству. Верх брали преследовавшие личную цель – усидеть в своем кресле, а потом и просто выжить. Сталин, почти тридцать лет гениально ими играл, поддерживая страхами и выгодами нужное ему единство. Но был у них и общий интерес. Они потому и отвергли НЭП и возродили под именем социализма военный коммунизм, что государственные предприятия рядом с частными были убыточны, а коммунистическое хозяйство не конкурентно. Но еще и потому, что «частники», как ныне «олигархи», могли извне партии поддержать одних, а не других руководителей, и подорвать единство руководства и его всевластие.

РКП - КПСС приладила утопический проект к личным нуждам начальства, ни для Маркса, ни даже для Ленина не существенным. Гипертрофия государственности растоптала идею отмирания государства, поскольку растущая партия, как монополюльно правящий класс, стала стержнем государства. Сгон в колхозы отнял у крестьян возможность, по совету Энгельса, подольше думать на своем участке о кооперации, и, лишив крестьянство независимой политической роли, сыгранной им в Октябре, его вернули к фактически крепостному состоянию. Уже в предвоенные годы, а особенно после войны, когда крепить свои руководящие позиции позволяла принадлежность к «коренной» нации, притих присущий ленинской политике интернационализм. Советский строй, хоть и не сразу, тоже стал по существу национал-социалистическим.

Но, говоря о строе, с которым Россия якобы покончила в 1991, помнят не зловещую реальность, а идеологические программы и несбывшиеся утопии. Трансформируясь из марксизма в ленинизм, и дальше в сталинско-сусловскую идеологию, коммунистическое движение смещалось на социальном поле. Левая утопия Маркса доросла в России до крайне правого мракобесия, изъясняемого, однако, марксистским языком, при этом теряющим смысл.

В буржуазном государстве демократия позволяет гражданам участвовать в существенных решениях, а при социализме, где государству, по Марксу и даже по Ленину предстояло отмереть, и где потом его объявили воплощением справедливости, оно само все и решает. Оно диктует законы, оно правит, оно судит, оспорить его

невозможно, и страну, обращенную в ГУЛАГ, номенклатура грабит усердней, чем буржуазия, не давая людям жить. Раньше, до прихода к власти, левые стояли за просвещение и социальную защиту, а придя к власти, - за насилие и обскурантизм. При власти левые правее правых. Но и до того выгораживают преступления социалистических государств.

Утопические лозунги коммунизма, еще прикрывают общность его природы с тоталитарными режимами, возникающими в полуфеодальных странах в погоне за преуспевающими буржуазными. И те, и другие, ведут могучее производство на силовых началах, не заботясь о социальных гарантиях, сложившихся в странах, переживших буржуазные революции. Развитию производства там служат не так частные усилия граждан, как заботы ново-феодальных партий и внеправовых государств. Технику не так создают, как перенимают, и перенятая влияет на социальную жизнь иначе, чем возникающая там, где в условиях свободы технический прогресс ведет к социальному. Его и у нас объявили автоматически ведущим к социальному, и социальный прогресс мерили техническим, а не состоянием общества, изуродованного партийным государством.

Партии нового типа, вроде большевиков, породил не только марксизм-ленинизм. В России ликвидировали частную собственность, а в более гибких формах, как немецкий национал-социализм или итальянский фашизм, ее оставляли послушному власти владельцу. Ища поддержки у наемных рабочих, там тоже создавали социалистические и рабочие партии, - одни сперва равнялись на революционное движение, другие сразу на консервативные традиции. Новый феодализм не однотипен, да и традиционный, не единообразен. Но, в отличие от старого, новый не вмещается в утопию лестничного прогресса.

Кажется, что в XX веке новый феодализм уступил развитым буржуазным странам. Германия и Италия проиграли Вторую мировую войну, а СССР не выдержал подготовки к Третьей. Но в странах Азии, Латинской Америки и Африки многие идут ныне схожими путями, да и о России не скажешь, что она встала на демократический путь, как Германия и Италия после войны. Соблазн реставрации живет надеждой бросить развитым странам вызов, какого не мог бросить СССР, где понимали, что подобное одиннадцатому сентября неотвратимо вызовет ответный удар, не страшный нынешним «анонимным» террористам.

Советский коммунизм вырос не из одной лишь марксистской утопии. Впервые подменив буржуазную революцию, расширяющую свободу, он запретил ее плоды и ожесточил имперские и крепостнические традиции на новой технической почве. Сосредоточась на технологическом прогрессе исключительного оружия, коммунизм, в отличие от капитализма, не тратился на благоденствие граждан. Отсюда и кризис. Суть советского строя во внеэкономическом хозяйствовании, и чтобы стать иным, ему мало обрести рыночную видимость. Но от чего Россия в конце XX века впрямь на время отказалась, а с чем осталась, у нас не различают.

Процедура отказа совершалась как «революция сверху». Власть вроде выпала из рук коммунистов, но никто ее прямо не обрел.

Некоторые надеялась, что, придав хозяйству экономический характер, партия вступит в компромисс с населением и порядок станет либеральней. Население ждало, что наверху перестанут подгрести под себя, монополизировав инициативы. Но экономическое хозяйство опасно монопольному руководству, и мятеж партийных консерваторов (ГКЧП) оттеснил зачинателей перемен во главе с Горбачевым. А Ельцин сулил, вообще, покончить с партийным руководством, да не сказал, что при этом изменится и в каком порядке. «Революция сверху» не слышала, чего хотят внизу. Но не только партийность плодит монопольное руководство. Уцелевшая номенклатура успешно заменяет директивы партии самоуправством авторитарного государства.

Да и КГБ, преемник Чрезвычайной Комиссии, лишь переименован в Федеральную службу безопасности. Если КПСС из основы государственной власти стала как бы отдельной оппозиционной КПРФ, то ФСБ от власти не отделялась. Ее не судили, ее архивы не открыли, и людей, ею погубленных, реабилитируют лишь по их просьбам, хоть в неправовом порядке погублены миллионы обвиняемых, - не только по нынешней, но и по прежним Конституциям, - за не имеющие в себе состава преступления. Чекисты продолжили гражданскую войну с населением, хоть барьеры у границ или библиотечных полок стали проще. Верховенство власти над законом сохранилось как вертикаль единовластия, советское самодержавие, не терпящее разделения властей.

Утверждают, что «революция сверху», кроме косметических свобод и показной демократии, снова ликвидируемых, да демонстративного отречения от марксизма и регулярного посещения чекистами православных служб, все-таки ввела в России капитализм. Государственные предприятия вроде приватизировали, но передачу имущества «олигархам» не узаконили, оставив почву обратному произволу. Поэтому горстка назначенных богачей ощущает зависимость, и не так они вертят властью, как она ими. Предприятия, бесправные в советской системе, получили вольности, обильно обогатившие управляющих, но еще обильней руководящее ими государство. А средние и мелкие слои и вовсе в руках местных властей. Это никакой не капитализм, отчего и демократии нет. Она приходит лишь при буржуазной свободе, поскольку экономическая стихия живет не только волей государства и магнатов, но интересами и средних слоев, и рядовых продавцов рабочей силы, рынок которой открыт. А у нас уже невозможность снять в другом месте жилье закрепощает людей на работе, не говоря об административных преградах и одном предприятии на город.

На деле «революция сверху» сдвинулась от советского строя, не терпевшего частного владения, к предвоенному немецкому, хоть там магнаты вторили власти не из-за зыбкости законов, а предпочтя перед лицом кризиса нацистский тоталитаризм, в который надеялись врасши, предпочитали коммунистическому, в который врасши не надеялись. К такому варианту нового феодализма ныне перешла и Россия.

Но держаться ей помогают не социальные перемены, а дикие цены на нефть, отнюдь не вечные, и оставляющие коренные вопросы открытыми. Чтобы жить не дарами природы, а своим трудом и умом,

надо менять строй, чего «революция сверху» не сделала, надо кончать гражданскую войну, не говоря о чеченской, и учиться компромиссам. Советский Союз распался потому, что был не союзом, а Московской империей. Бесправие республик заслоняло им, начиная с России, выгоды равноправного, то есть, экономического, сотрудничества. Но и российские политики ратуют ныне за целостность, не выясняя, все ли хотят быть вместе, и удержатся ли вместе без насилия. Не одна старая партийно-гэбистская элита, но и новая, ждет сталинского беспрекословного повиновения, только и позволившего КПСС удерживать власть до обвала. Но от этого целостность страны разрушается еще до ее разделения.

Все более явное движение вспять и ведет к несходству чекиста Путина с секретарем обкома Ельциным. Но уже он менял порядок, чтобы номенклатуре не выпустить власть. Конечно, Ельцин - человек покрупней, свободный от личной мстительности, но политически Путин его продолжатель. Его попятная политика выдает охоту воротиться к советскому хозяйству, без псевдо-частной собственности, но это не обязательно. Обновленную номенклатуру может устроить и нацистское хозяйство, какое завел уже Ельцин, создав «олигархов». Будут послушны, - автократия мирно перерастет в национал-социалистическую диктатуру, и не будет баркашовцам и тем, кто за ними, нужды сметать ее силой. Но меняя наряды нового феодализма, от него не уйдешь. Привычки уцелевают.

Трагедия в том, что им нет противодействия. В России нет партии - левой в традиционном, социал-либеральном, а не радикал-социалистическом, смысле, которая бы реально оспорила гэбистский диктат, противопоставив ему разделение властей, независимое правосудие и свободу информации. Левыми все еще кличут коммунистов, хоть советские годы обнажили их оголтело правое нутро. Понятнейшая путаница, выдающая правое за левое и реакцию за прогресс сбивает людей с толку. В 1917 году Россия нуждалась в буржуазной революции, а ее повернули к новому феодализму. Нужда осталась прежняя, - при всех пороках буржуазного строя, остальные еще хуже, а при нем, в отличие от коммунистического, можно отстаивать свои права и социальные гарантии, - но страну опять поворачивают. Невелика разница, делает это Зюганов, все реже поминающий Маркса, или Путин, чаще общающийся с коллегой патриархом, или Чубайс, объясняющий, что в Чечне возрождается армия, или Рогозин, способный на все, и держат они флаги чекистско-православные, псевдо-либеральные, шовинистские или советские. Важно не сробеть, как Явлинский, а им противостоять.

В восьмидесятые годы кризис российского нового феодализма выплеснулся. Придать ему человеческое лицо, как обещал Горбачев, было затруднительно. Но Ельцин, выдав за выход из кризиса переход к иной форме нелиберальной власти, которую потом и вручил Путину, взвалил на людей расплату за безответственность государства и подорвал доверие к демократии. Отказ от нее примечателен, но начался он не с последних думских выборов, где руку власти не узнают лишь слепые, а еще под покровом исходных псевдо-либеральных

перемен. Делались либеральные жесты, но ни в экономике, ни в политике, либеральные нормы не взяли верх. А говорят: это революция!

ПОД НОВОЙ ВЫВЕСКОЙ

Владимир Путин никого не дурачил. Он публично взял на себя ответственность за Чеченскую войну. Он открыто выказал презрение к свободе печати в случае с Бабицким. Он не скрывал, что в начале карьеры больше года отдал борьбе с диссидентами, отличившись в которой и попал во внешнюю разведку. Все это, как и сам способ выведения безвестного народу лица в президенты великой державы, не вяжется с заверениями, что в России демократия. Имеющие глаза не видят, а имеющие уши не слышат.

Не внемля, ни искренним речам, ни обмолвкам нового президента, Запад всё вопрошает: «Кто вы, господин Путин?» и числит его «черным ящиком». А иные, как миссис Олбрайт, сразу готовы на услуги и спешат заявить, что в Чечне нет этнических чисток, хоть мир знает о трехстах тысячах беженцев и особых мерах против чеченских мужчин и даже десятилетних мальчиков. Америка упоена успехами своей экономики и отвлекается от текущей зарубежной реальности. Уже и перестройка была для Запада нежданной, Советологи не предупредили, да и сами не ждали Горбачева.

А все потому, что Запад строил отношения с СССР, а теперь с Россией, лишь как внешние и временные. Видя сходство коммунизма и нацизма в пору совместного удушения Польши, о нем тотчас забыли, когда Гитлер напал на нас, и дядя Джо был любимцем Запада, пока, избавив от немцев Восточную Европу, еще не распорядился там, как дома. Начавшейся холодной войне Америка предпочитала экономическое сотрудничество и состязание, но СССР, ставя идеологию впереди хозяйства, то опускал железный занавес, то сбивал У-2, то строил берлинскую стену, то ставил ракеты на Кубе, то посылал войска уже не в Венгрию или Чехословакию, а за пределы «свой зоны» -- в Афганистан. Да еще опережал остальной мир в гонке вооружений. Но интереса к нашей стране, к ее внутренним процессам, холодная война не прибавила.

Между тем, внеэкономическое правление не впервые грозило России гибелью. Разгромив «белых» Ленин и Троцкий по-прежнему насаждали «военный коммунизм», вызывая крестьянские мятежи. Вот и пришлось в 1921, уступив реальности, объявить «новую экономическую политику». Но при всей скромности уступок большевиков, частное производство было продуктивнее социалистического. НЭП вел к буржуазному порядку, не допущенному в октябре 1917, и его продолжение могло оставить без привилегий сотни тысяч партийцев. Они сплотились вокруг Сталина, который в 1929 и провел коллективизацию, возродив внеэкономические нормы.

Это случилось далеко за пределами хозяйства. Ленин сознавал, что социализм, какой он стал строить в «одной, отдельно взятой стране», наладить не просто и продолжал надеяться на «мировую революцию», которая всё не шла. И практически Сталин сделал социализм национальным. На упаковке изобразили утопию Маркса в

волюнтаристской редакции Ленина, а внутри был русский национал-социализм. Национал-социализм уверенно правил Советским Союзом до восьмидесятых год, отличаясь от возникшего в тридцатые годы по соседству немецкого тем, что удерживал почти все владения бывшей империи, а немецкому пришлось их завоевывать наново. Родившись в социал-демократическом рабочем движении, наш социализм, даже порвав с ним после революции («Мы сбросили грязное белье социал-демократии», -- говорил Ленин.), сохранил идеологическую вывеску, а у немецких товарищей происхождение было иное и марксистской утопической маски не было. Позднейшие откровения советских национал-социалистов в журнале «Молодая гвардия» казались отходом от интернациональной утопии коммунизма, а были, напротив, выплесками реального духа укрепившейся номенклатуры.

При послесталинских олигархах кризис внеэкономического монопольного хозяйства еще явственней нарастал. КПСС даже пыталась как-то совместить экономические начала с волюнтаристским хозяйством. Но ни ленинская утопия, ни сталинский абсолютизм, ни хрущевские и косыгинские поправки, не одолели хозяйственный кризис, и он рос вместе с идейным. Когда оба кризиса привели к появлению на вершине КПСС Горбачева, началась «перестройка».

Горбачев облегчил стране ношу, отпустил Восточную Европу, ушел из Афганистана и признал, что руководящей КПСС стоит прислушаться к хотя бы содержательному голосу представительных органов, избираемых на альтернативной основе. Он хотел, сделав социалистическое самодержавие конституционным, продлить рушившемуся государственному социализму век, надеясь, что это позволит удержать власть. Но даже не разделил ее опору, КПСС, на национал-социалистов и социал-демократов. Когда он был в отпуску, его коллеги по руководству выступили против перестройки и ввели в Москву танки. Но в защиту начатых им перемен на улицы вышли сотни тысяч людей.

Однако за шесть лет его правления в стране не сложились силы, готовые и способные к ее преобразению. При собственности партийного государства на все и вся, не было места для, пусть зависимых и ущемленных, но хоть отчасти самостоятельных крупниц общества, какие при феодальной власти боролись за права третьего сословия. Там для победы было достаточно разрушить опустевшую Бастилию и обрести кодекс Наполеона. А новые автономные экономические образования, пытающиеся выйти из стагнации социализма при нем в России не возникали. Это легче получалось там, где еще при социализме пытались из него выйти, как в Венгрии, или лучше помнили прежний уклад, как в Эстонии. Мирно вывести Россию из кризиса могли бы лишь поддерживаемые значительной частью населения рациональные усилия власти законами и субсидиями поощрить автономизацию хозяйства.

Но этого правящий класс хотел избежать, чтобы не потерять привилегий даваемых ему внеэкономической сверхмонополией. Не только официальная идеология, но и сложившееся под ней обыденное сознание, предполагающее безоговорочное подчинение партийному государству, мешало повернуть к экономической свободе. Программу «Пятьсот дней», далекую от совершенства, но все же ориентированную

на такой поворот, Горбачев сперва даже одобрил, но в итоге отверг, поскольку она не сочеталась с внеэкономическим правлением, кормившим правящий класс. Не вело к социальным и экономическим переменам и диссидентское движение, преимущественно правозащитное, тем более, что его лидер Андрей Сахаров умер в 1990. А он, едва ли не единственный, стоял за политическую самостоятельность либералов даже и в обновленной советской жизни, поддерживая инициатора перестройки Горбачева лишь условно, по его конкретным делам.

Но нужда в либеральных переменах, особенно после августа 1991 висела в воздухе, и, противостояв тогда реваншистам, знамя свободы успешно схватил Ельцин, примкнувший, когда его исключили из Политбюро, к либералам и при их поддержке ставший Президентом РСФСР. В конце 1991 года он проявил инициативу разделения СССР. Обращаясь тогда к национальным автономиям РСФСР, Ельцин призвал их брать столько суверенитета, сколько могут проглотить. Казалось, Россия станет федерацией свободно объединившихся народов, а не оплотом партийной диктатуры.

Этот шаг Ельцина и впрямь был демократическим, хотя бы в отношении союзных республик. Но еще в августе было заметно, как хочется ему отодвинуть освобожденного из Фороса, но уже не имевшего опоры Горбачева и стать главным, а бескровно он мог это сделать лишь распустив СССР, и остается гадать, двигали ли им еще какие-то мотивы. Демонстративно выйдя из КПСС и подняв либеральное знамя, Ельцин решительно сменил вывеску, однако, Учредительное собрание не было созвано, и страна осталась под управлением прежних советских органов. Все посты занимали коммунисты, формально вышедшие из партии, но людей других взглядов к власти не допускавшие. Да и компартия, в очередной раз сменив аббревиатуру КПСС на КПРФ продолжала легально действовать, и ее несогласие на коренные экономические реформы было для Ельцина предлогом их не проводить. КГБ он всерьез и не тронул, и даже закрыл доступ к его архивам, открытый было при Горбачеве. От жертв советских репрессий для восстановления в правах требовали индивидуальных просьб о реабилитации погибших. Власть не признала отсутствия у миллионов, осужденных по противоправным статьям советского УК, состава преступления. Она не признала многочисленные акты советских органов юридически преступными и не просила прощения ни у пострадавших, ни у детей погибших.

А Запад ничего этого видеть не хотел и вторил официальной России, именовавшей Ельцина реформатором и отцом русской демократии. Между тем, свобода слова, свобода печати, свобода выезда за границу и возвращения на родину, установились еще при Горбачеве, а другие, дивно описанные в новой Конституции, преимущественно остались на бумаге. Да и свобода печати при Ельцине, особенно после 1993 года, медленно, но верно ужималась, -- не было ограничений для коммунистической и нацистской печати, но либеральные голоса пробивались всё с большим трудом, а на государственном телевидении почти уже не звучали.

Новая вывеска и легенда о реформаторстве служили продлению века старого правящего класса, и, сообразив это, все большая его часть

поддерживала Ельцина. Марксистско-ленинскую фразеологию, омертвевшую еще при Сталине, он отверг, но утвердившиеся под ее покровом советские понятия, навыки и приемы стали еще откровенней. Прежнее лицемерие вытеснял цинизм. Ярчайшие его проявления, -- «либерализация цен» Гайдара и «приватизация» Чубайса. Жизненный уровень они катастрофически снизили даже в сравнении с жалким советским. Цены по отношению к зарплатам выросли чуть не в десять раз. Лишь немногие богатели. Настала массовая нищета, смертность росла, рождаемость падала. А частное производство, ради которого, якобы, проводились эти «реформы», так и не расцвело. И сторонники, и противники, хором именовали Гайдара и Чубайса демократами, а одинокие опровержения тонули в этом хоре, и люди, которым было не углядеть, что проделываемое ничего общего с демократией не имеет, переставали доверять демократии.

Но на Западе легенда о «молодых реформаторах» имела успех. Там не видели, что в условиях товарного голода, к которому пришло милитаризованное советское хозяйство, «реформаторов» не заботила свобода экономики, требующая социальных, а не только экономических преобразований. «Либерализуя» цены монопольных производств под видом перехода к свободному рынку, Гайдар открыл дорогу лишь ценовому произволу единственного в стране производителя, государственной сверхмонополии, а вовсе не конкурирующим друг с другом частным предприятиям, которых не было. Правящему классу, обреченному население на нищету, стало уже, однако, мало прежних привилегий, и «приватизация», закрепление долей в акционируемом хозяйстве, укрепляла его положение. И распоряжалось хозяйством так или иначе по-прежнему государство, и производство, за вычетом добывающего, редко становилось рентабельней.

И все же Запад бездумно равнял российских «олигархов», богатевших от управления сырьевыми и финансовыми монополиями, с собственными богачами, вроде Билла Гейтса, хотя у тех совсем другие источники доходов. Советское правление всегда, кроме годов сталинской диктатуры, было олигархическим. Брежнев, как и Хрущев, был лишь принцепсом, а не диктатором. Члены Политбюро отличались от нынешних олигархов тем, что их сладкую жизнь, хоть и не свободную от казнокрадства, оплачивали из общегосударственного котла, тогда как нынешние, обслуживая то же номенклатурное государство, берут себе сами из подведомственного. Не зря они, как Черномырдин, Потанин, Чубайс, Березовский и прочие, запросто вдруг занимают важнейшие государственные посты. Да и как, вообще, могли у нас появиться столь удачливые капиталисты, сразу попавшие в список богатейших людей мира, пусть и в самый его конец, когда в наших условиях трудно выбиться и в предприниматели скромного достатка?

А Запад принял назначенных государством «олигархов» за обычных богачей, и в зарубежной экономике им доступно недоступное официальным государственным органам. Наше государство, урывающее всюду, где удастся, облагающее налогами и сборами западную благотворительную помощь нищим старикам и больным детям, позволило утечь из России чуть не двумстам миллиардам долларов! Как не предположить, что прибыли от них идут государству, не то бы чекисты

давно такую «утечку» пресекли. А не пресекли потому, что она позволяет государству получать хорошие проценты с капитала, вложенного за рубеж, не создавая условий для получения дохода в своей стране, чтобы не рушить еще в ней царящий внеэкономический волевой строй.

На Западе осуждают российскую коррупцию и даже требуют, ее пресечь, но не хотят видеть, что природа коррупции, а оттого и ее масштабы, у нас иные, чем на Западе. У нас нет экономической свободы, а без нее коррупцию не одолеть уже потому, номенклатурный порядок никак иначе не сопрягается с экономическими отношениями. Взятка – вовсе не русская национальная особенность. Она – неизбежный путник непомерного вторжения государства в жизнь и хозяйство, плод бесчисленных запросов на бессмысленные разрешения не только для бизнеса, но даже для обыденных дел. Государство вмешивающееся в то, что должно бы решаться свободным рынком, делает нашего чиновника взяточником. Приватизируя по дешевке государственное имущество наши экономисты ссылались на русского американца Василия Леонтьева, говорившего, что богатства, кому их ни раздай, перейдут к тем, кто способен их умножить. Но это верно лишь при свободной экономике, в которой жил Леонтьев, а при внеэкономическом строе должность, дающая власть разрешать, выгодней предпринимательства, идущего на риск.

Ельцин потратил свой незаурядный государственный талант на то, чтобы под новой вывеской сохранить за государством внеэкономические отношения с хозяйством, и этим спас номенклатуру. Оттого российские коммунисты, обличавшие его вывеску, не моргнув глазом утверждали в Думе его премьер-министров и бюджеты. Трудней понять, почему на все происходившее под крылом «гаранта демократии» закрывал глаза Запад. Нельзя же предполагать, что виднейшие политики просто позволяли, как у нас говорят, вешать им лапшу на уши и, забыв, что Россия – страна величайших театральных режиссеров, принимали спектакли нашей «демократии» за чистую монету.

Возможно, сопоставляя нашу вчерашнюю превосходящую военную мощь с нынешней, более умеренной, хоть и более чем достаточной, Запад счел, что Россия ему уже не опасна, даром, что Ельцин перед отставкой размахивал ядерными бомбами, а Путин, тогда еще премьер, воспел средства их доставки. Но угроза войны определяется не количеством оружия, как воображают сочинители договоров о его сокращении, а образом жизни, зависимостью власти от населения и предпочтениями населения. Власти западных стран не затевают войн не потому, что так уж хороши, а потому, что избираются относительно демократично. А люди там хотят благополучно жить и трудиться для этого. Россия, будь на то воля ее жителей, тоже никому бы не угрожала, и тоже трудилась бы, чтобы жить получше. Но то-то и оно, что воля граждан у нас подменена волей государственной власти и не всегда от нее обособлена и отличима.

На Западе высокомерно твердят, что демократический эксперимент в России провалился, поскольку русским, дескать, демократия ни к чему, а на деле такого эксперимента не провели. Из опыта холодной войны

Запад не извлек главного, не заметил пропасти меж российским народом и российской властью, не углядел общего подспудного недоверия к ней. Помочь России в кризисе следовало, но помочь не государствам, а людям, как Джордж Сорос, оказывая помощь преподавателям школ и университетов, помогал нашей стране удержать образовательный уровень. А государственные власти Запада помогали российской номенклатурной государственной власти. С их помощью номенклатура оправилась и окрепла, прочие притерпелись к уровню жизни, а тут еще цены на нефть стали расти, и номенклатура, ныне объявив себя *элитой*, верит, что пронесло, и все откровенней, без идеологических прикрас, действует, как привыкла прежде, и живет лучше прежнего.

Можно гадать, в какой мере добровольно властолюбивый Ельцин передал власть чекисту Путину и почему сперва фактически передал, лишь потом оформив это избирательной кампанией, да еще ускоренной и сокращенной, не говоря о прочем. Но в любом случае поворот к прежнему был подготовлен и проделан ельцинским авторитарным режимом, а Путин этот поворот завершает, придает ему большую отчетливость и очевидность. Если первую Чеченскую войну затевали как «маленькую победоносную», чтобы морально компенсировать падение уровня жизни и «утрату» Украины, Прибалтики, Кавказа и Средней Азии, то вторая Чеченская в гораздо большей мере призвана приструнить Россию. Подмена «антитеррористической операции» беспощадным побоищем, массовое изгнание и убийство новейшим оружием мирных людей, напоминают и «субъектам федерации» и всем гражданам, что теперь надо знать свое место.

Оформившись, новый Президент покамест еще мирно добивается от России той же беспрекословной покорности, что от Чечни. Он поделил страну на семь военных округов, и своих представителей в каждом особо возвысил над всеми властями на их территории. Строптивых президентов республик и губернаторов Путин намерен снимать, а республиканские и областные законодательные собрания распускать по своему усмотрению. Аналогичным правом по отношению к нижестоящим предполагается наделить и президентов автономий, и губернаторов. Какие уж тут федеративные отношения, Конституция и присяга Президента, обещавшего хранить демократию! Конечно, как и Президент России, президенты автономий, губернаторы и депутаты, совершив уголовные преступления, должны быть законным порядком лишены мандатов. Но новый Президент намерен увольнять избранных должностных лиц и распускать законодательные собрания не так за преступления, как за принятие ими решений, противоречащих, якобы, законам и Конституции. Такое, конечно, иногда случается, и Президент тут даже обязан обратиться в Конституционный суд за признанием таких решений недействительными. Но претендуя на право аннулировать само волеизъявление избирателей, Путин уже не просто по-советски возвышает исполнительную власть над прочими, но действует, как самодержец.

Дело Бабицкого или вторжение спецслужб в маски в офисы холдинга «Медиа-Мост», крупнейшего в стране независимого концерна средств массовой информации, даже не оппозиционного режиму, но публикующих и оппозиционные, а не только правительственные сообщения и

суждения, -- не случайность. Единовластие дополняют единомыслием. Путин признался, что для него «время вынужденных компромиссов прошло». Видимо, на юридическом факультете, где он обучался, от студентов скрывали, что демократия – это непрерывный вынужденный компромисс разных социальных сил, позволяющий разрешать противоречия мирно, а стране развиваться и богатеть. Отказ от компромиссов – это отказ от демократии. Она еще по-настоящему у нас и не установилась, а ее опять заменяют диктатурой. Но не диктатурой закона, как объявлял Путин, а диктатурой правящего класса, выступающей, как личная диктатура его модератора, стоящая над законом. Ново лишь то, что раньше чекистов называли острым мечом партии, орудием в борьбе за светлую жизнь трудящихся, идеи Ленина-Сталина и коммунизм, а нынче словесная шелуха отпала, и карающий меч сам и судит, и правит. Если Горбачев, пытаясь удержать самодержавие социализма, сберечь в нем социалистическое, шел на сокращение самодержавного, то Путин, следом за Ельциным, самодержавное наращивает.

Это не конец истории. Преграды, неизбежно возводимые такими режимами перед техническим развитием и благом граждан, при Путине скажутся сильнее, чем при Брежневе и, тем паче, Сталине, располагавшем нерастраченными российскими недрами и населением. Но почему Запад помогает такому режиму, почему в вековом конфликте русского народа с русской властью Запад опять на стороне власти и, тем самым, против народа? Из президентов последних десятилетий, может быть, только Джими Картер, заговорив о правах человека, да Рональд Рейган, отказавшись капитулировать перед гонкой советского вооружения, вели себя иначе. Не то, чтобы они особо сочувствовали народам России, но, видимо, сознавали, что право, как и свобода, и мир, неделимо. А нынешние ратуют за гарантии лишь своим инвестициям у нас, хоть знают, что для местных у нас нет никаких гарантий. Так американцы помогали Сталину строить наше внеэкономическое хозяйство.

А пока бы поразмыслить о ходе вещей, прочерченном нашим новым Президентом, усвоить, что руководить гражданской жизнью поставлены генералы, что несогласие с властью – снова крамола. Еще недавно в России, потерявшей счет похоронкам, говорили: «Лишь бы не было войны!», а нынче сбитые с толку люди приветствуют вторую Чеченскую войну и выбирают ее инициатора Президентом. А западных политиков чарует «черный ящик», содержимое которого давно открыто взору, и можно о нем поразмыслить.

НАРОД ДОРΟΣ

Интерес к выборам вызывает их альтернативность, возможность решать не только, кого выбирать, но что выбрать. Без этого смена должностных лиц несущественна. Ориентироваться мешают не только политехнологии, но и невнятная расстановка сил. Но не стоит хулить свой народ, как до чего-то не доросший. На единственных в нашей истории свободных выборах в Учредительное собрание большинство

получили эсеры, поскольку народ хотел земли. До понимания сути дела, как видим, вполне дорос.

Большевиков привел к власти не марксизм, от нашей реальностей далекий, а вера в бунт и доброго царя. Не так декабристы и Герцен, как Пугачев. В Европе феодализм крушили успешней. При французской революции правым, реставраторам феодализма противостояли левые. Демократия на Западе крепла не по манию доброго царя, а под напором миллионов свободных собственников. В России, в феврале 1917, царя свалили, но выборы затянули, и большевики, подняв вторую революцию, декретами разрубили аграрные и национальные проблемы. Переломав то, что цари, а потом Временное правительство, не спешили изменить правовым путем, большевики, захватившие власть, свели революция к выборам в Учредительное собрание, которые проиграли. Но обещали социализм.

Они разогнали Учредительное собрание, возвратили имперские колонии, и через двенадцать лет провели насильственную коллективизацию, опять отняв у крестьян землю и фактически восстановив крепостное право. Партия, созданная для другой, да и не реальной, задачи, с реальной, не очень справлялась, и сотни тысяч старых партийцев и десятки миллионов свободолюбивых граждан погибли не потому, что Сталин спятил, а потому что иначе было не перевернуть страну, не обратить левую партию в феодало-абсолютистскую вертикаль. Сперва призывавшие: «Долой самодержавие!», большевики, создали новое самодержавие, покруче прежнего. Советская империя утвердилась, но ее хозяйство, опиравшееся на принудительный труд, было неэффективно, и терпело крах.

При Ельцине его подправляли как бы по западному примеру, но не вглядываясь в социальную структуру своей страны. В 1917 году Россия могла легко встать на экономический путь, НЭП это доказал. Но в девяностых мало было объявить свободу цен и раздать государственное имущество горстке зависимых дельцов. За семьдесят лет уклад жизни ощутимо изменился.

Обратив крестьян в батраков, государство стало реакционным, а правящая КПСС, партия коммунистического абсолютизма, - оголтело правой. Чтобы выглядеть левой, ей надо было замолчать свои коренные метаморфозы. И дома и за рубежом сочли, что после отречения от марксизма-ленинизма наша страна от западных не отличается, и, соответственно у нас, как там, правят центристы, - Путин с партией «Единая Россия», а раньше Ельцин и Черномырдин с партией «Наш дом – Россия», хоть есть и правые – реформаторы-рыночники, и есть левые – коммунисты. Но этот штамп массового сознания -- выдумка.

У нас ведь прошла «революция сверху», стремившаяся не преодолеть советский феодализм, а его подправить, и весь наш политический спектр сдвинулся вправо. Наши правые куда правей западных буржуазных партий, оказавшихся справа, одолев свой феодализм, а наши, наш не одолевшие, стали не столь тверды в защите свободной экономики. Они не обеспечили участникам дозволенного рынка ни самостоятельность, ни судебную защиту,

оставив их на милость исполнительной власти, как при царе. Они не ввели буржуазный порядок, а прилепили его к советско-феодальному. Сегодня в России, конечно, правая власть, и Путин – человек несомненно правый, хоть не самый крайний.

Коммунисты, числящиеся левыми, конечно, правей. Они - правая оппозиция Путину. Они бранят его за терпимость к олигархам и чуть не зависимость от них, и хотят вернуть собственность государству, чтобы им, как прежде, по феодальной вертикали правила номенклатура. На западе коммунисты и социалисты до такого не дошли. Опрокинуть зрелые буржуазные государства было трудней, чем феодальную Россию или Китай. На западе социалисты и даже коммунисты отстаивали хоть какие-то социальные гарантии, которые в СССР их единомышленники попирали. Вот они и выглядят еще левыми, но программно и они сдвинулись к советско-феодальному идеалу всеобщей национализации, да и по многим актуальным вопросам, – от терроризма до антисемитизма, - позиция западных левых часто не светлей позиции крайне правых. А наши коммунисты, вкусившие власти, на краю правого фланга открыто слились с ярыми шовинистами и церковью, которую прежде преследовали. Тут же, на правом краю, и блок Рогозина-Глазьева «Родина», с теми же идеями, но без коммунистической риторики.

Вся наша жизнь откровенно сдвинута вправо, сообразно правому рейтингу Путина, приемлемому для враждующих меж собой правых групп. Клеймя друг друга, Чубайс и Рогозин дружно приветствуют Путина. А впрямь левой оппозиции нет. За постперестроечные годы «левая» в начальном смысле партия, борющаяся против реставрации советского коммунизма, как против реставрации феодализма боролись первые «левые» во Франции, покамест так и не возникла Народу такой выбор не предложен, -- говорят, что не дорос.

А все потому, что так называемая революция 1991 года совершалась сверху. Если в 1917 году революционная стихия выплеснула и обозначила социальные позиции, из которых народ мог выбирать, и он сознательно выбирал тех, от кого ждал насущных решений, то в 1991 году не все позиции были очевидны. Хлынувшие с гласностью свободные суждения, хоть и не вошли при Ельцине в берега, в один крутой берег уперлись. Допускались самые безобразные личные нападки на президента за развал СССР или антикоммунизм, но стало крайне трудно и самым корректным образом критиковать недостаточность и ошибочность его якобы демократической политики. Шумно бранили Шахрая, Грачева и других зачинщиков войны в Чечне, но тише и реже Ельцина, без которого ее бы не было. Гласность безоглядно допускала крайне правую коммунистическую оппозицию, но для демократической оппозиции был барьер.

Вот и нет партии, решительно отвергающей советскую систему с ее феодально-административной природой, отстаивающей не только куцую экономическую свободу, но и право наций на самоопределение, и права человека, и социальные гарантии. Понимая, что аморальность средств борьбы за величайшие цели их подсекает, и под левыми лозунгами сносит вправо. советский строй, сдвигаясь вправо, топтал «левые» принципы. Конкретные социальные гарантии в стране рабочих и

крестьян свели к минимуму, более низкому, чем в буржуазных странах, объявив гарантией сам социалистический строй. А права человека экономическую свободу, право наций на самоопределение, и вовсе отвергали.

Доведя хозяйство до того, что России, с ее самой большой в мире посевной площадью на душу населения, пришлось ввозить хлеб из-за океана, коммунисты не были единомышленны в поисках выхода. Давно обозначились три нынешних течения. Одно, как бы «идейное», представленное компартией РСФСР во главе с Полозковым, а потом Зюгановым, ничего не желало знать. Другое возглавил Андропов, видевший происходящее своим аппаратом, и надеявшийся на административные меры и гальванизацию революционного пафоса. Третье - партийные либералы, начиная с Горбачева, отважившегося на гласность. Когда его сбросили, многие его сторонники пошли за Ельциным.

Но даже экономическую свободу Ельцин допустил лишь условно, позволив государственным чиновникам ее ограничивать по своему усмотрению. Право наций на самоопределение свелось к распаду СССР, обнажившему неспособность сделать республики равноправными. А внутри России возникла тяга к «либеральной» империи, воплощенной в Чечне, где в изобилии гибнут не только нерусские, но и русские. Отнюдь не одни силовые органы, но всякая власть практически попирает у нас права человека, красиво вписанные в новую Конституцию. А социальные гарантии так и не возникли, притом, что главную тяжесть проводимых реформ, государство свалило на граждан, и более сорока миллионов, четверть населения, живет ниже официальной черты бедности. Остается гадать, не сочтет ли Чубайс полезным либеральный ГУЛАГ.

Тут бы и возникнуть левой партии. Ан нет! Даже «Яблоко», вписавшее в свою программу все «левые» принципы, оробело перед лицом могучего правого движения, те или иные течения которого только и находились у власти. «Яблоко» недостаточно четко обозначило свои отличия от правых, и позволило многим верить, что это детали. Отсюда и призывы к объединению с СПС, хоть и пустые, но придававшие правым демократический глянец, а «Яблоку» клеймо раскольников. А на предыдущих выборах президента, когда у СПС своего кандидата не было, Явлинский собрал примерно столько же голосов, сколько «Яблоко» на выборах в Думу, - избиратели СПС голосовали явно не за Явлинского, а за Путина или не голосовали вообще.

Но «Яблоко» и отсюда не извлекло уроков, не поняло нужды противостоять старанию правых, как прежде российских царей, оттягивать решение насущных проблем. Видимо, большинству правых, и Чубайсу, и Путину, ясно, что возврат государственного хозяйствования обречет страну на гибель, и надо хоть как-то развязывать людскую инициативу. Но для этого необходимо порвать с советским феодальным наследием и в самом хозяйствовании, и в правовой системе, и в средствах информации, и в общественном порядке. Экономические отношения эффективны лишь при доверии, доверии к продавцу, к

партнеру, к милиционеру, к судье, к государству, а доверие царит там, где прослыть недостойным доверия страшной любого наказания.

Так называемая конструктивная критика примиряется с тем, что доверия нет, и взамен зовет радоваться удачам во внешней политике или высоким ценам на нефть. Компромиссы, даже и с правыми, конечно, необходимы, но только если уцелевает свободное функционирование гражданского общества, а иначе, как могло убедиться «Яблоко», приспособленчество приносит пользу лишь другой стороне. Важно не то, каким большинством будет избран Путин и кого он поставит за себя в 2008 году. Важно, возникнет ли в России массовая антифеодальная левая партия, будет ли возможен выбор посткоммунистической жизни, предложит ли его вместо «Яблока» кто другой. Антифеодальную партию не заменить возрождением ленинской РСДРП(б), якобы очищенной от совершенного потом РКП(б), ВКП(б) и КПСС. Ведь и они так действовали не просто по злобе, а по утопичности идеалов и аморальности средств, которыми заменяли утопию.

На вторую половину века пришелся не только кризис советского коммунизма, но и второй промышленный переворот, еще радикальней первого, изменивший социальные структуры. Это плод не борьбы пролетариата, а изобретения компьютера и прочего с ним связанного. Уровень жизни и состояние страны теперь зависят от способности не слишком болезненно сообразоваться с новыми социальными нуждами производства. Прошли времена, когда Петр возил из-за рубежа станки. И когда толпы бежавших от голода мужиков лопатами строили ДнепрогЭС. Кругом только и говорят, что Россия должна снова стать великой, словно она была великой в 1929 или 1937. Но забыли, что Россия должна, прежде всего, стать свободной, чтобы реализовать свой человеческий потенциал. Тогда она, может быть, и впрямь станет великой. Больше всего это зависит от того, возникнет ли у нас настоящая левая антифеодальная партия, и сумеет ли преодолеть советский уклад.

ФОРМУЛА ТЮТЧЕВА

1

За сто с лишним лет никто, кажется, не опознал в формуле Тютчева: «Умом Россию не понять» - «в Россию можно только верить», парадокс Тертуллиана, одного из столпов христианства, задолго до нашего поэта признавшегося: «верю потому, что нелепо». Опытный римский юрист понимал, что чудо тем и чудо, что его умом не понять, и не соразмерно оно здравым доказательствам, и общим аршинам. Чуду можно только верить. Тютчев объявил Россию чудом. Остальную Европу он мерил «общим аршином», сравнивал и соизмерял, а родную страну - ни с кем и ни в чем. И верящие, что ее спасение в чудесном безрассудстве, ссылаются на поэта.

А Россия тысячу с лишним лет, вопреки такой вере, живет по общим законам, - если отступая от них, то по известным причинам. Сперва она походила на другие феодальные государства, возникавшие в Европе. Тоже охотно принимая чужое. Прежде всего, религию, еще единое

христианство, разом тогда и православное, то есть, ортодоксальное, и католическое, то есть, всеобщее. Веру, насчитывавшую к началу Руси почти тысячу лет, приняли как новую, и первый русский епископ Илларион объяснял, что если народ Христа, жил по Ветхому Завету, то есть, по закону, то после Христа, хоть Ветхий Завет остался священным, надо жить по благодати, то есть по прямому внушению божьему. Русское слово «благодать» поблекло, но у Макса Вебера всплыло в греческом оригинале, как «харизма», которой Вебер обозначал всплески социальных сил, престапующие закон, - как бы движимые богом.

Христианство, возникая в Израиле, и распространяясь потом в Риме и Византии, было, конечно, харизматичным, но до Руси дошло уже не так отвергая закон, как, напротив, им дорожа. Равняясь не только на Новый Завет, но и на Ветхий. Приняв христианство, Русь как бы преобразилась в Новый Израиль, приняв Христа, но не отвергнув и закон, который Христос, в отличие от Иллариона, намеревался «не нарушить, но исполнить». Это сознание живо не только в сооружении под Москвой в XVII веке Нового Иерусалима и других уподоблениях, но и в стихах самого Тютчева: «Всю тебя, земля родная, В рабском виде царь небесный Исходил, благословляя». Тютчев знал, что Христос не был рабом, и его соплеменники не были тогда рабами. Но опознавая Христа в рабском виде, как выходца из русского крепостного народа, отождествлял русских с народом Христа, видя их тоже таким народом.

Да и благодать на Руси человек обретал не только лично, как стало по учению Христа, но она одновременно по Ветхому Завету принадлежала всему народу, и уже не одним евреям, но и русским, с христианством обретшим уверенность, что они - тоже избранный народ, тоже наделены мессианской миссией, тоже призваны спасти и повести за собой человечество. У евреев эта миссия состояла в выдвигании мессии, спасителя, каким и сочли Иисуса, хоть не все евреи его признали. Русским, тоже верующим богу по-разному, общая избранность не навязана догматически. Но приняв отечество за Новый Израиль, русские приняли христианство за отечественную религию. Если еврейская отличалась от других изначально, то русские, войдя в христианскую церковь, сами, вопреки ее космополитической азбуке, назвали ее русской православной и тоже восприняли как национальную, обратившуюся, так сказать, в национал-христианство.

Но русская культура впитала не одну еврейскую, проросшую туда через религиозное сознание. Уже в XV веке московский Кремль с Успенским собором, Грановитой палатой и колокольней Ивана Великого, а не только Петербург XVIII века, испытал могучее воздействие итальянской. Легко указать на влияния голландской, польской, немецкой, французской и других. Активная в переимчивости Русь догоняла, а то и обгоняла учителей, и русская икона, русский балет, русская литература, отнюдь не замкнули перенятое в национальных границах, но сами потом обогащали культуры, где заимствовали рассаду. И сама русская переимчивость, - пренебрегая самобытными отечественными достижениями, мотивы которых поздней возрождались, подобно мотивам деревянного зодчества, - часто шла не от бедности, а от жившего подспудно христианского космополитизма, официально

отвергнутого. Когда церковь уже раскололась и главы православных и католиков проклинали друг друга, в Москву для строительства православных храмов приглашали архитекторов католиков. Вера в свою избранность, свою «особенную статью», с этим уживалась не только в культуре. Не своего аршина ей мало, а решимости мерить себя общим.

2

Общие аршины, приложенные к российской реальности не срабатывают, когда их прикладывают синхронно, забывая о неравномерности исторического развития и хронологических несовпадениях параллелей. Неумение объяснить несовпадения часто ведет к отказу от признания единства социальных законов развития. Русский феодализм индивидуализировался позднее, чем его франкский аналог, и социальные отношения здесь не столь явно адекватны хозяйственным. Русские феодалы больше действовали коллективно, скоплясь при княжеских дворах, а не кормясь со своих отдельных владений. Но тяга к раздроблению империй, присущая раннему феодализму, брала и у нас верх, и Киевская Русь ее не избежала. Дробление ранних феодальных империй выдает не упадок, а углубление развития, и у нас шедшее. Но обстоятельства различны. Карл Мартелл в 732 году при Пуатье остановил вторжение в Галлию уже уставших от захватов арабов, и его внук Карл Великий вскоре сам покорил Европу как повелитель первоначальной феодальной империи. А пятьсот лет спустя монгольские завоеватели, сперва в 1223 году при Калке, а потом в 1238 на Сити, разбили уже раздробленную Русь, миновавшую пик величия империи Рюриковичей.

Двухсотпятидесятилетнее колониальное рабство – первое, что по существу отличило Русь от Европы, не сломленной ни сперва арабским, ни потом турецким вторжением. Только Испания, три столетия пробыв арабской колонией, и еще пятьсот лет ведя борьбу за освобождение, реконкисту, обрела независимость лишь в конце XV века, одновременно с Русью, и не зря многим с ней схожа. Монголы затормозили развитие удельных княжеств и особенно городов, большинство которых разорили. Не интегрируя дальнюю Русь, довольствуясь ее колониальным статусом и регулярной выплатой дани, они не ломали местное устройство. Для взыскания дани централизация была удобна. Но наращивание административных структур при замедлении буржуазного развития обернулось для Руси преждевременным, чисто феодальным абсолютизмом, отличным от абсолютизма, почти одновременно утверждавшегося на западе в ходе компромисса ослабевших феодалов и набиравшей силы буржуазии, развивавшейся в городах, да и не только там. Хоть у Ивана Грозного и Генриха VIII жен было почти поровну, да и другое схоже, их страны разошлись коренным образом. Но предопределившие наше отличие монгольское завоевание и преждевременный абсолютизм – не от этнического своеобразия русского народа, а от несовпадения этапов развития при столкновениях арабов с франками и монголов с русскими.

Не от этнических особенностей пришло и ожесточение феодальной реакции, состоявшей, прежде всего, в крепостном праве, – сперва

заповедных годах, а в конце XVI века общем запрете крестьянам уйти от одного барина к другому уже и в Юрьев день. Ожесточить феодальные отношения пытались и в Англии и во Франции, в других странах это отчасти вышло. Но в Англии и Франции не вышло, поскольку абсолютизм там был компромиссным, а русский сугубо феодальным.

Жизнь под монголами, хоть и навалившимися на страну добавочный груз, еще сопоставима с внеэкономическим господством западного феодализма, только что феодалы там были собственные, во всяком случае европейские. Однако, и Русь набрала достаточно сил, чтобы Дмитрий Донской ударил по монголам на Куликовом поле, а Иван Третий в 1481 году покончил с двухсотпятидесятилетним игом. Но обретшая независимость Московская Русь, сохранив преждевременный абсолютизм, уже при Иване Грозном отличалась от западных монархий, с которыми он искал связи. Он еще ожесточил феодальный абсолютизм опричниной. Но и Петр, догоняя Европу, заводил крепостные демидовские заводы.

Западная Европа, ради преодоления феодализма, капитально пересмотрела все, на чем стояла в средневековье. Религиозная Реформация, а затем Просвещение, стали оплотом обновления. В России тоже, еще при Иване III, росли реформаторские движения, но их задавили, а основы просвещения заимствовали на Западе вместе с техникой, и они редко приносили социальный смысл, которого там были полны, и технический прогресс уживался с феодальной реакцией. Ее господство – от поражения при Калке до Освобождения крестьян, означало стойкое предпочтение внеэкономических методов хозяйствования экономическим, в способностях к которым русскому народу не откажешь, - он подтвердил их бурным развитием после отмены крепостного права, еще при феодальной системе, лишь очищенной Александром II от самых реакционных своих свойств. Соизмеряя нашу страну с другими, тоже знавшими феодальную реакцию, видишь, что она у нас пагубна тем, что не просто замедляла социальное развитие, как, скажем, в Китае, а толкала вспять от европейских начал, которые, как раз изначально были, и тем жестче подавлялись.

3

Уже при Александре II многие в России понимали, что после промышленного переворота устоять в первом ряду удастся, лишь сообразовав социальный порядок с экономическим развитием, более продуктивным, чем привычный крепостной строй. Но власть имущие, и отменив крепостное право, от былых привычек не отказывались. Свободные, но оставшиеся без земли, крестьяне давали строившимся заводам избыток дешевой рабочей силы. А новые, работающие на рынок, землевладельцы из малоземельного крестьянства выдвигались не быстро, тем более что им приходилось соперничать с помещиками, ведшими сельско-хозяйственное производство силами батраков из вчерашних крепостных.

Без политических изменений хозяйственное развитие страны после великих реформ не могло сбалансировать социальные противоречия.

Свобода по манию царя требовала дополнения общественным договором, общественным представительством, пусть еще не полноценным и не равноправным, но все же как-то вскрывающим текущие проблемы, нерешенность которых вела к кризисам. Но страной продолжала править державная воля, - уже не Александра II, а его сына и внука, долго отвергавших политические реформы. Только революция 1905 года вынудила создать представительную власть, и то лишь совещательную. Утверди царь решения Первой и Второй Думы, они могли бы снять революционное напряжение, но и ту, и другую разогнали. И неудовлетворенность крестьянского большинства, вооруженного ради войны, взорвала страну, нагонявшую ушедшее время, но заторможенную Николаем II.

Ему были в тягость даже думающие монархисты Витте и Столыпин, он и слышать не хотел кадетов Милюкова и Струве и, тем более, народных социалистов Анненского и Короленко. А поскольку юридически мыслящие политики легально ничего не могли изменить, росло влияние радикалов, подобно царям уверенным, что внеэкономическое хозяйство не помеха техническому прогрессу. В Европе феодализм преодолевали успешнее. После поражения французской революции сторонники буржуазных отношений, левые, противостояли в парламенте реставраторам феодализма, правым. Демократию на Западе крепила не маниа царя, а напор миллионов свободных собственников, в том числе собственников одной лишь своей рабочей силы.

В феврале 1917 царя в России свалили, но царской воле противопоставили не экономическую и политическую свободу, а лишь другую державную волю. Временное правительство, в котором все большую роль играли эсеры, оттягивало выборы в Учредительное собрание. и большевики, подняв новую революцию, декретами разрубали аграрные и национальные проблемы, а к концу года провели выборы Учредительного Собрания. Не стоит забывать, что на этих единственных за всю российскую историю свободных выборах народ России, который все кому не лень хулят за то, что он, якобы, до чего-то не дорос, большинство голосов отдал эсерам, поскольку хотел земли. До понимания этого он уже тогда вполне дорос. Но большевики, получившие меньшинство, Собрание разогнали, совершив контр-революционный переворот, в котором переродились из экстремистской революционной партии в реакционную, тоталитарную.

Большевиков привел к власти не марксизм, от российских реальностей далекий, а вера в бунт и доброго царя. Не так декабристы и Герцен, как пугачевщина. Вцепившись во власть, они понемногу вернули империи колонии, а двенадцать лет спустя провели насильственную коллективизацию, и, опять отняв у крестьян землю, фактически восстановили крепостное право и феодальный порядок. Они навязывали людям принудительное счастье социализма, который, как довольно быстро показала практика, на деле был новым феодализмом, лишь с другой идеологией. Партия, созданная для иной, не реальной, задачи, не очень справлялась с новой, реальной, и сотни тысяч старых партийцев и десятки миллионов свободолюбивых граждан были физически истреблены не потому, что Сталин сошел с ума, а потому что

иначе было не обратить левую партию в правую, проткнувшую страну феодально-абсолютистской вертикалью. Большевики, твердя: «Долой самодержавие!», создали новое самодержавие. Советская империя, утвердись, даже выстояла великую войну, но ее хозяйство, опиравшееся на принудительный труд, осталось неэффективным.

Подобно царям большевики строили социальную жизнь по своему усмотрению, следуя утопическим идеям и пренебрегая побуждениями разных частей общества. Волонтаризм в равной мере присущ Ивану Грозному, и Петру Великому, и Николаю I, и Ленину и Сталину. Но почва под ногами менялась. Петр еще мог своей волей, хоть и тогда непомерной ценой, толкать к плодотворным заимствованиям. Уже Николай этого не мог, поскольку подневольность труда сама подсекала промышленное производство. Тем более нелепой была осуществленная Сталиным идея Ленина превратить всю страну в единую монопольную корпорацию. Это и вызвало общую диспропорцию хозяйства, неизбежную там, где нет обратной связи, и привело к частичному развалу империи в конце 1991 года, от которого Россия, в отличие от Англии или Франции, тоже отпустивших колонии после Второй мировой войны, не много выиграла.

Не то что отчаянные усилия государства всегда бывали бесплодны, напротив, порой они давали успешные конкретные результаты, Советский Союз перед распадом стал самой могучей военной сверхдержавой, отчего многие и верят, что сгубить его могло только предательство. А сгубило его как раз избрание гонки вооружений полем для конкуренции, поскольку США, хоть порой и отступали, мирно капитулировать отказывались, а война, при бесспорной нашей способности уничтожить противника, означала бы одновременное уничтожение нашей страны, то есть национальное самоубийство.

Внеэкономическое принуждение правило Россией восемьсот без малого лет. Бескомпромиссность, отличавшая российский, а потом советский, абсолютизм от западного, опиравшегося на экономическое развитие, вызывала кризис за кризисом. После Грозного и его продолжателей Федора и Бориса пошло смутное время, после Петра – возвращение в Москву, после победы в Отечественной войне и подавления декабристов – Крымское поражение, после саботажа реформ начала XX века – Февраль и Октябрь. Когда к очередному кризису пришла так называемая советская власть, спор об общем аршине снова стал актуален

4

К 1985 году правителям стало очевидно бессилие могучей сверхдержавы, и некоторые подумывали о «революции сверху», об изменении государственного устройства и хозяйственного механизма, и даже об отказе от обанкротившихся идей. Но, не говоря о консерваторах, сами правившие «революционеры» не спешили отказываться от силового руководства. Российским властям, зовут они себя правыми или левыми, трудно одолеть восьмисотлетнее восприятие власти как самоценности. С 1917 года можно было упорно развивать экономику, и вроде развивали. Но жизнь семьдесят лет шла

вспять. Любое производство зависело от власти, требовавшей сверхрыночных и сверхналоговых услуг. А экономике хочет свободы от вертикального давления и живет горизонтальным соперничеством самостоятельных хозяйственных единиц.

Преодолеть унаследованный Россией от советского строя кризис, политические декларации и пертурбации не могли. Надо было изъять предприятия из лап единой корпорации, отделить хозяйство от государства, установить социальные гарантии и создать независимый суд. Без этого предприниматели и наемные работники, продавцы и покупатели, были неравноправны в псевдо-рыночных отношениях, что подрывало объективность рынка и прок от него. Ельцина хвалят за то что он перешел от советского абсолютизма к рыночной демократии без гражданской войны, словно Чечня не в счет. Но не видят к чему впрямь перешли.

Уничтожив независимое крестьянство, советское государство уже в 1929 году показало до чего оно реакционно, до чего коммунистическая партия правая. Не зря она замалчивает коренные метаморфозы, произошедшие за три четверти века. О внутривнутрипартийных жертвах порой вспоминают, но не сознают, чему эти жертвы принесены, куда пришло однопартийное государство, обратив хозяйство страны в единую монополию, которой, а заодно и всем прочим, оно командовало. Нынешние реформаторы не предполагали освобождать хозяйство от государственного руководства, и не просчитали наперед, как хозяйство будет жить. Но и дома и за рубежом сочли, что отрекшись от марксизма-ленинизма Россия от запада уже не отличается, и у нас тоже есть правые – реформаторы-рыночники, есть центристы - сперва Ельцин и Черномырдин с партией «Наш дом – Россия», а теперь Путин с «Единой Россией», и есть левые – коммунисты и их союзники. Но этот штамп массового сознания далек от действительности.

«Революция сверху» не упразднила, а исправляла советский новый феодализм, лишь его перестроила. Государство удлинит поводок, на котором вело хозяйство, но не слишком изменило его социальную природу, зависящую не просто от рыночной формы обмена, каковую и в СССР разыгрывали, а от реальной экономической свободы. Западная буржуазия, одолевшая феодализм, даже сдвигаясь на правый фланг, свою свободу берегла, а наши «реформаторы», советский новый феодализм не одолевшие, ее не ценили и отдали производителей на милость исполнительной власти. Рассуждая о рыночном хозяйстве, они отвлекались от главного, от рынка рабочей силы, как раз и отличающего капитализм от прежних порядков. К капитализму мы не переходили, лишь переняли отдельные его приемы.

Можно понять Горбачева, создававшего, что мгновенный переход от тоталитарного хозяйства к свободному чреват не предвосхитимым, и предложившего «перестройку», которая дала бы самостоятельность самокупаемым хозяйствам, и в новых условиях остальные тоже смогли бы как-то добиваться подобного статуса. Но, создав политические предпосылки для перехода, Горбачев к нему не приступил, возможно, опасаясь своих сторонников, которые потом составили ГКЧП.

Считается, что к реальной экономике Россию перевел Ельцин. Но всецело государственное советское хозяйство до поры функционировало лишь благодаря компенсаторному перераспределению доходов и расходов. Поскольку так называемая «либерализация цен» компенсации прекратила, предприятия, не имевшие адекватного рыночного спроса (а такие в силу военного характера советской промышленности и общей неконкурентоспособности составляли большинство), разом стали катастрофически убыточны. На произвол судьбы бросили десятки миллионов людей, вдруг потерявших оплачиваемую работу. А социальных гарантий на такой случай не предусмотрели, главную тяжесть проводимых реформ, государство свалило на граждан, и четверть населения, более сорока миллионов, живет ниже официальной черты бедности.

Уже одно это коренным образом изменило отношение людей к общественным переменам. Если 19 августа 1991 в их поддержку на улицы Москвы вышли сотни тысяч, а в поддержку ГКЧП не вышел никто, хотя город был забит войсками, то при «либерализации цен», то есть, повышении их в десятки раз, надежда на то, что государство позаботится о рядовых людях, рассеялась. В 1993 году, при споре Ельцина с Верховным Советом, не было уже и речи о народном единстве, и добрая половина избирателей голосовала за коммунистов, то есть за ГКЧП. Недолгий опыт политической жизни поверг большинство в отчаянье.

Вторым успехом Ельцина считается приватизация. Но реальная приватизация, ни как возвращение имущества прежним владельцам, ни как распределение между всеми гражданами имущества, числившегося государственным, начиная с раздачи земли крестьянам, - не имела места. Населению роздали ваучеры, которые могли бы стать ценными бумагами, но не только не стали, а были объявлены действительными лишь на короткий срок, что побуждало их сбывать, и обратило в прикрытие передачи имущества лицам, пользовавшимся доверием власти. Этот процесс именуют ограблением народа, поскольку плата ваучерами или обесценивающимися деньгами, внесенная в казну новыми владельцами не сообразна стоимости ими полученного. Стоит, однако, помнить, что народ этим имуществом не распоряжался и прежде, и, что не менее важно, новые владельцы фактически получили его не в собственность, как считается, а в распоряжение, на условиях, которые государству легко менять, поскольку их не оговорил закон.

Вчерашние коммунистические функционеры, признав единую ленинскую корпорацию неэффективной и заводя конкурентное производство, хотели его удержать в зависимости от государства. И не только, как кормушку чиновникам, но ради покорного исполнения любых требований власти, и экономических: надо делиться, говаривал тогдашний министр финансов Лифшиц, и прямо политических

Ельцин допустил экономическую свободу лишь для немногих и лишь условно, но возник миф, будто немногие, прослывшие олигархами, и правят страной. А располагая богатством, обогащаясь и подкармливая коррумпированное чиновничество, они получили свободу лишь в заданных параметрах, и стоило Гусинскому поддержать не того

преемника Ельцина, как его растоптали. Стоило Березовскому, ставившему на того, на кого нужно, пожелать за это деловой компенсации, как ему пришлось искать убежище за рубежом. Даже Ходорковского, поверившего, что невмешательством в политику и прозрачностью своей бухгалтерии он обеспечит себе деловую независимость, обвинили в неуплате налогов, хоть он лишь минимизировал их в рамках закона, а его, вопреки закону, демонстративно посадили, чтобы остальные были послушны.

Без общего перехода страны к экономической свободе наличие штучных богачей, олигархов, вызывает понятное негодование, обнажает лживость всей «приватизации», позволяющей власти запросто вступать в дела «хозяйствующих субъектов». Приватизация дурна была тем, что имущество раздавалось по усмотрению властей, а не продавалось на открытом рынке по свободным ценам, отчего оно и попало не к сотням тысяч, а едва ли даже к сотне новых владельцев, оставшихся в зависимости от государства-раздатчика. А появившись в стране сотни тысяч капиталистических хозяйств, их судьбы решались бы конкуренцией меж собой, а не их монопольным положением, охраняемым государством. От советского порядка Ельцин едва отодвинулся, передав предпринимателям текущее производство, оставленное, однако, под приглядом власти. Строй не назовешь капиталистическим, от капитализма в нем еще меньше, чем в ленинском нэпе, до поры допускаяшем реальный, а не только элитно-условный капитализм.

Новый порядок напоминает сложившееся в тридцатые годы в Италии корпоративное государство или немецкий «новый порядок», при котором крупные магнаты, порой даже «добровольно», шли на прямую зависимость от государства. Впрочем, те разбогатели еще в ходе свободной хозяйственной жизни, а не получили, как наши, богатство из рук государства, не говоря о том, что они там возвышались над множеством средних и мелких владельцев, у нас не поощряемых. Муссолини и Гитлер надстроили социалистические государства на фундаменте реального капитализма. Ельцин подвел под социалистическое государство фундамент условного капитализма.

С новым хозяйственным устройством, естественно, пришлось привести в соответствие и политическое, и это делали откровенно, даже сетовали на крах либерализма в России, словно он хоть до Путина был. С известными оговорками, либеральным можно назвать лишь политический курс Горбачева. Экономическим либерализмом ни он, ни Ельцин не грешили, да Ельцин и в политическом не виновен, - его Конституция вполне авторитарна. Неверно считать, что российский либерализм рушит лишь Путин назначающий губернаторов, сведший на нет Совет Федерации и Думу, забравший в казенные руки телевидение, ужавший свободу слова, заполнивший правительственные органы бывшими сотрудниками КГБ и т.п. Хозяйственное устройство, заведенное Ельциным, никак иначе держаться не способно, как не способно было держаться сталинское хозяйство без повседневного содействия КГБ.

Не стоит противопоставлять Путина Ельцину. Они делали одно дело, пусть и противореча лучшим статьям Конституции, которые сами

противоречат ее авторитарной сущности. Правящий класс надеется, что, придав советской системе больше гибкости, отойдя от избытка догм, став откровеннее, он сможет сохранить удобный ему порядок. Уже охотно рассуждают, что экономический либерализм не нуждается в политическом, словно политические революции в Нидерландах, Англии и Франции не имеют отношения к расцвету тамошнего хозяйства. Не только Путин, не только Ельцин, но лидер псевдо-либералов Чубайс заявил, что в Чечне возрождается наша армия и открыто призвал к созданию либеральной империи. Этот оксюморон прояснил, что притворяясь либералами правые не ждут от либерализма свободы. Чубайсу осталось лишь бросить клич к укреплению либеральной империи либеральным ГУЛАГом.

5

Если тоталитаризм предполагает стабильную власть правящего класса, волю которого воплощает правитель, то реальный либерализм, хоть и не уравнивает общественные классы, ни одному не дает господствовать всецело. На то и демократические правовые институты. Чтобы перейти от советского тоталитаризма к либеральному обществу, мало перетасовать, почистить и даже обновить номенклатуру нежеланными там прежде лицами. Надо обеспечить присутствие во власти представителей всех классов, ими свободно избранных. Они могут до поры пребывать в меньшинстве, но само звучание их требований в либеральном обществе кладет начало учету их интересов. Этим Ельцин и Путин как раз и пренебрегли, да и само общество, получавшее свободу в дар, не было этим озабочено.

В 1917 году революционная стихия выплеснула все социальные позиции, из которых народ мог выбирать и выбирал тех, от кого ждал насущных решений. Большинство населения составляли крестьяне, и в Учредительном собрании большинство получили эсеры с радикальной программой раздела земли. А в 1991 году «революция сверху» отговаривалась общими словами. Это больше походило на театр, чем на общественную жизнь. Свободные суждения, хоть не вошли еще при Ельцине в берега, сразу уперлись в один крутой берег. Допускались самые безобразные личные нападки на президента за развал СССР или антикоммунизм, но о недемократичности его политики говорить надлежало куда осмотрительней. Громко бранили Шахрая, Грачева и других зачинщиков войны в Чечне, но лишь мельком Ельцина, без которого войны бы не было. Гласность безоглядно впускала правую коммунистическую оппозицию, но демократической оппозиции был положен предел. Его осознание позволяет понять тогдашнюю расстановку сил, их общий сдвиг вправо.

Он предопределен уже тем, что страной десятилетиями правила диктатура партии, попиравшей и гражданские права и законы, божеские и человеческие. Коммунисты не были единоклассны в поисках выхода из кризиса конца семидесятых. Еще до 1991 года в партии обозначились три течения. Одно, как бы традиционно «идейное», представленное компартией РСФСР во главе с Полозковым, а потом Зюгановым, ничего не желавшее знать. Другое наметил еще Андропов, сознававший

происходящее, и сопрягавший гальванизацию пафоса революции с репрессивными мерами. Третье – реформисты, во главе с Горбачевым, решившимся на гласность. Многих потом ушли от него к Ельцину.

Ныне «идейные» коммунисты внешне в оппозиции к Путину. Его бранят за терпимость к олигархам и чуть не зависимость от них и хотят вернуть собственность в прямое распоряжение номенклатуры. Западные коммунисты и социалисты сегодня редко зовут к советским порядкам. Не захватив так быстро, как в России, власть, они в буржуазных странах так или иначе должны отстаивать социальные гарантии, которые их единомышленники, стоявшие у власти в СССР, попирали. Это давало им репутацию «левых» в старом смысле, хотя их программы в целом тоже клонятся к советско-феодальному идеалу всеобщей национализации, да и по многим актуальным вопросам, - от терроризма до антисемитизма, - позиция западных левых близка позиции крайне правых, но слова другие. Коммунисты, вкусившие власти, выступают заодно с яркими шовинистами и церковью, прежде ими гонимой. Как наследники советской диктатуры, отказывавшей трудящимся в праве бороться с тоталитарной властью, коммунисты на деле - крайне правая партия. Правей лишь «Родина» Рогозина с еще более шовинистической риторикой.

На этом фоне власть Ельцина и Черномырдина с партией «Наш дом – Россия», а ныне Путина с партией «Единая Россия», претендует слыть политическим центром. Но авторитарная власть Путина, конечно, тоже правая, хоть на фоне коммунистов кажется не крайней. Его высокий, если верить, рейтинг объясним его равной приемлемостью для враждующих правых групп. Маски партий не тождественны их реальным позициям. В то время как реально правые коммунисты звали себя «левыми», ДВР и СПС, партии ельцинских реформаторов Чубайса и Гайдара, нарочито звали себя «правыми, но СПС и впрямь «правая» партия, не случайно ее большинство поддерживает Путина, хоть чуть левей его. Еще левей «Яблоко», которое тоже относят к правым, что неверно, «Яблоко» близко к европейским левым либералам. После «либерализации цен» и «приватизации» люди, желавшие перемен, апатичны, а остальные, если не впали в отчаянье, верят в крутые меры. А партия «левая» в старом смысле, то есть, противящаяся реставрации советского порядка, как первые «левые» во Франции реставрации феодализма, за постперестроечные годы так и не объявилась.

«Яблоко», вписавшее в свою программу все «левые» принципы, робеет при власти возрожденного реакционного движения. Оно слабо обозначило свои отличия от правых, позволив верить, что они несущественны. Потому СПС их и призывает постоянно к объединению. Призыв нелепый, но придающий правым демократический глянец, а «Яблоку» клеймо раскольников. Между тем, на президентских выборах в 2000 году, когда СПС своего кандидата не выдвигал, Явлинский собрал почти столько же голосов, сколько «Яблоко» на выборах в Думу, - избиратели СПС если голосовали вообще, то не за Явлинского, а за Путина.

Но «Яблоко» и отсюда не извлекло уроков, не поняло нужды жестко противостоять правым, от Чубайса до Зюганова, не исключая Путина,

оттягивающего, как некогда российские цари, решение насущных проблем. Так или иначе, в стране нет партии, решительно отвергающей советскую систему и ее феодально-административную сущность, нет партии, отстаивающей не только куцую экономическую свободу, но и право наций на самоопределение, права человека и социальные гарантии. И помнящей, что аморальность средств борьбы за высокие цели подсекает эти цели и под левыми лозунгами сносит вправо, как некогда большевиков. Словом, существующие партии далеко не в полной мере отражают людские стремления, поскольку нет доверия, позволяющего свои стремления не таить. А экономические отношения эффективны лишь при доверии, - доверии продавцу, партнеру, милиционеру, судье, государству, когда прослыть не достойным доверия страшней лютого наказания.

6

Тютчев был европейцем больше других русских. Дипломат по профессии он двадцать два года прожил за рубежом, два раза был женат на иностранках, по-французски говорил и писал больше, чем по-русски. Он видел происходившее в Европе после революции, наполеоновских войн и промышленного переворота, и чем дальше, тем ясней различал тамошние социальные проблемы. Порядки буржуазной Европы, ему не нравились, а родная страна от них была еще далека. Но, близкий по взглядам славянофилам, он остро ощущал нужду России в свободе, понимая, что иначе за Европой не поспеть. Еще молодым человеком он знал, что «в России канцелярия и казарма» и «все движется около кнута и чина». А немолодым писал: «Над этой темною толпой Непробужденного народа Взойдешь ли ты когда, свобода, Блеснет ли луч твой золотой?»

Будущее России было тогда темно, но не легко было определиться, чего, сверх отмены крепостного права, ей желать. Европейский пример омрачали бурлившие и казавшиеся неразрешимыми социальные распри. И дипломат Тютчев сочинял сомнительные политические проекты. Но поэт думал глубже, и слова «Умом Россию не понять» обозначили не вечное свойство, как сочли потомки, но ситуацию XIX века, когда Европа становилась буржуазной, а Россия оставалась феодальной, и было не угадать, - никто и не угадал, - как преодолеть пропасть. Вот и вырвалось: «В Россию можно только верить!» «Верить» здесь означает надеяться. Надеяться, что не пропадет, а неведомо как, но уцелеет. Формула Тютчева – глас редкостного ума, бессильного пред настигшей стихией.

Преимущества современных людей не в уме и не в чуткости, где за Тютчевым не угонишься, а в опыте и информации. Не календарный двадцатый век можно начинать с Первой мировой войны, а можно с Парижской коммуны, и завершать можно падением берлинской стены, а можно бытованием персональных компьютеров. Пеплом и кровью век перечеркнул бесплодные пути, казавшиеся спасительными, и углядел ориентиры сопротивления и спасения. Несовместимость соревновательного развития с феодально-административными системами, старыми, фундаменталистскими, или новыми,

социалистическими, многим теперь очевидна, даже в Китае. После призывов не смущаться подлостью средств ради благой цели, яснее различимы дела и слова. Пришло не только ощущение противоречивости стихии, присущее Тютчеву, но и способность принять его понимание поэзии, которая «на бунтующее море льет примирительный елей».

Елей не ликования от кровавой победы и не прекраснотушия, но взаимопонимания, то есть компромисса, как условия соревновательного общества. Коль скоро общество стало сложней, ему опасно единство руководящей и направляющей силы, воплощает ли ее государь император, одна партия или авторитарный президент. Ради продуктивной жизни приходится не только отделять от исполнительной власти судебную, а от судебной законодательную, но и саму законодательную власть делить меж гражданами, давая каждому право решающего голоса по существенным делам. В этом всеобщем компромиссе, позволяющем выжить, и состоит демократия. Право наций на самоопределение, социальные гарантии и гражданские права - конкретные условия компромисса, противостоявшего внеэкономическому принуждению, доросшему в XX веке до массового террора самых разных толков. И нет ему другой альтернативы кроме публичной демократической политической борьбы, невозможной не только при советской, но и при всякой другой бескомпромиссности.

Долго считалось, что сама потребность в техническом прогрессе вынудит мир к общественному прогрессу. Но особенности собственных обстоятельств часто побуждали надеяться, что своя страна обойдет непреложный закон и без внутреннего компромисса обгонит другие. Банкротство Советского Союза тем и поучительно, что показало тщетность надежд на успехи одностороннего военного развития, «особого пути», «особенной стати». Но и это не побудило Россию всерьез следовать европейскому примеру. Хватает и других охотников, начиная с Китая, по-своему следовать, напротив, советскому, и до каких катаклизмов он дойдет, предсказать трудно. Европейский пример не обязателен и жить по своему не запретишь. Однако, вне реальной состязательности скудеет не только общество, но и хозяйство и техника, а директивная погоня за современным техническим развитием, как в СССР, ведет к банкротству.

Трагический итог перестройки предопределился тем, что, затеянная сверху, она не привела к рождению социал-либеральной партии, решительно отвергающей советскую систему с ее феодально-административной природой. Обошлись так называемой конструктивной критикой авторитарности, радуясь удачам во внешней политике и высоким ценам на нефть. Но Россия не островной султанат, повелитель которого волен назначить каждому щедрые деньги. Природной ренты на всех не хватит. Страну спасет лишь верное приложение людского труда в состязаниях за новые технические рубежи, не сводящиеся к оружию массового уничтожения, доведшего СССР до кризиса. Нужно не просто отречься от советской системы, а понять, что героические мобилизации ломают жизнь не слабей чем массовые расстрелы, и возрождать советские достижения не менее опасно, чем советские пороки. Люди тех иллюзий, некоторые даже с благими намерениями, разорили страну,

и не то теперь важно, кого Путин поставит за себя в 2008 году, или сам задержится у власти, а важно возникнет ли в России массовая антиавторитарная левая партия, будет ли возможен выбор посткоммунистической жизни, предложит ли его «Яблоко» или кто другой. Антифеодальную партию не заменить возрождением ленинской РСДРП(б), отмыв ее от преступлений РКП(б), ВКП(б) и КПСС, бесчинствовавших тоже не просто по злобе, а по готовности к аморальной практике ради утопических идеалов. Не больше сулят России и становящиеся у нас ныне откровенными фашизм и нацизм.

На вторую половину века пришелся не только кризис советского коммунизма, но и второй промышленный переворот, сильнее первого изменивший социальные структуры. Это результат борьбы не пролетариата, а ученых и изобретателей. Уровень жизни и состояние страны ныне зависят от способности производства не слишком болезненно для людей сообразоваться с новыми социальными нуждами. По второму разу это заметней, чем при Тютчеве. Прошли времена, когда Петру достаточно было ввозить из-за рубежа станки, чтобы вооружить армию. Или толпы бежавших от голода мужиков лопатами строили ДнепрогЭС. Кругом только и слышно, что Россия должна снова стать великой, словно она была великой в 1929, или 1937, или в 1949, или в 1956 в Будапеште или в 1968 в Праге. Но чтобы реализовать свой человеческий потенциал России надо прежде всего, быть свободной. Тогда, возможно, она впрямь станет великой. Если будет свободна сама и не будет лишать свободы других. В это хочется верить. Больше надеяться не на что.

СЕАНС ОКОНЧЕН

1

Главными вопросами России признаны «Что делать?» и «Кто виноват?» Они, впрочем, синонимичны. Тот обычно и виноват, кто не знал, что делать. Но знавшие потом говорят: «Хотели, как лучше, а вышло, как всегда». Отчего так вышло, - не объясняют. Но кабы не хозяйственный кризис, начавшийся до Горбачева, не охвати его бессилие пересилить, не взбрела бы ему на ум перестройка. Отчего кризис, и что делать, Горбачев не знал, но тогда никто уже толком не знал, что происходит, и не искал ответа в книгах вероучителей. Прошли времена, когда работали предписания, и люди знали, что делать.

Это Кромвель и Дантон знали, хоть попутно делали черт знает что. И Чернышевский знал, что, если не дать земли, не будет и воли. Феодальный строй рушили, поскольку нужна была иная продуктивность. Во французской палате, оппонируя севшим справа реставраторам феодализма, слева сидели буржуазные депутаты. Потом еще левее социал-демократы. Буржуазия хотела экономической свободы. Социал-демократы - социальных гарантий. Те и другие - прав человека. При всех спорах, «левые» выглядела схоже. Те и другие «левые» были против феодальных зависимостей и за свободу слова, собраний, демонстраций и многопартийные выборы. Даже за право наций на самоопределение.

Конечно, буржуев и рабочих разводят, как растолковано в «Коммунистическом манифесте», разные интересы, но ведь сводят общие. Тем, и другим важны успехи совместного производства. От сбыта произведенных товаров зависят прибыль заводчика и зарплата рабочих. Деятнадцатый век жил буржуазными идеалами. Но росло понимание, что к свободе торговли они не сводятся, и нужны социальные гарантии. Развитые страны эволюционировали в их сторону, и жизнь рабочих Англии переставала быть такой, как описал Энгельс в «Положении рабочего класса в Англии».

Но в конце века эволюцию подвергли сомнению новые коммунисты, большевики. Они объявились там, где не было буржуазной революции. Они хотели удушить едва рожденный капитализм в колыбели. Удушить, а не улучшить. Взяв в России власть в 1917, они не дали экономической и прочих свобод, даже свободы слова, ввели однопартийную систему и выборы из одного, отменили, ссылаясь на интернационализм, право наций на самоопределение и завели новое самодержавие. Место дворянства заняла номенклатура. «Левые» стали «правыми».

Так было не только в СССР, не только под знаменем марксизма-ленинизма, а под разными, даже враждебными ему знаменами. После мировых войн гибли империи, освобождались колонии, и в бывших колониях тоже утверждались «левые» авторитарные или тоталитарные режимы. Дивиться нечему, - феодальные понятия об обществе там были крепче, чем в России, а буржуазные, сложившиеся под влиянием технического и социального развития Европы, не прижились, поскольку шло не так собственное развитие, как заимствование плодов чужого.

Многие социалистические движения, не оглядываясь на английскую политэкономия и немецкую философию (даже в самой Германии) были партии откровеннее коммунистов. Тоталитарный режим не везде обрел советские формы. Но они влекли. В Германии схожий режим звали национал-социализм, в обиходе – нацизм. В Италии -- фашизм.

Слово «фашизм» идет от итальянского *fascio* – пучок. Геральдический пучок древнего Рима выразил главный принцип новейшего политического движения - единство. Он был главным и для коммунистов, - уже летом 1918 года они стали в России единственной партией, а вскоре сделали обязательным единство самой партии. И тут, и там, единству мешало социальное разнообразие, чем дальше, тем больше, нужное обществу. Фашисты, коммунисты, нацисты, эту нужду одолевали, унифицируя жизнь в тоталитарном режиме. При буржуазном плюрализме она была естественна.

Унификация охватила не только политику, но и культуру, там ее уродство бросалось в глаза. Но главным было хозяйство. Не всюду его унифицировали до советского абсолюта, когда всем владеет государство, а государством, так же безраздельно, - правящая партия. Немецкая национал-социалистическая рабочая партия, итальянская фашистская, и многие в других странах, допускали частную собственность. Но лишь при беспрекословном повиновении государству не в одних политических, но и сугубо производственных вопросах.

Немецкий предприниматель, конечно, оглядывался на еще открытый рынок (до войны режим продержался всего шесть лет, и шесть шла война). Он жил богаче, но не сильно вольней советского директора.

Разве что для иного национал-социализм был насильником, к которому надо приладиться, а советский директор сам непременно состоял в правящей партии.

Так или иначе, в разных странах на разной идеологической и политической почве складывались схожие внеэкономические системы, единые хозяйственные комплексы, объявлявшие себя социалистическими, и якобы достигшими, под управлением своих тоталитарных государств, более высокой степени развития. Но вверх подымались люди, надеявшиеся не так на свои способности, добросовестность и знания, как на примыкание к внеэкономической политической силе. По образу и подобию феодального, складывалось дворянство имперского хозяйства, номенклатура.

Не только в России коммунистическая идеология и партия все еще слывят «левыми». Не только в Азии, Африке и Латинской Америке порядки, именовавшиеся «левыми» развивались схоже. В Западной Европе, и в Соединенных Штатах «левые» движения, и не приходя к власти, порой тоже мыслят, как «правые». Они оправдывают преступления советского государства и «культурную революцию» в Китае. Пол Пот и Кастро – их любимые герои. Маркс, как утопист, часто мысля в русле Просвещения, этих волюнтаристов тяготил тем, что хотя бы теоретически признавал наличие независимой от воли объективной реальности. А миллионы убитых социалистическими диктатурами их не беспокоят.

Говорят, люди теперь не знают значения слов. Но смысл многих слов изменился, «левым» нынче именуют то, что прежде звали «правым». И прояснять, отчего меняются и что означают ныне слова, надлежит не лингвистике, а социологии.

2

Законченную форму социализму придал Сталин, покончив с НЭПом и загнав крестьян в колхозы, создав империю натурального хозяйства. Обмен ценностями заменили на их номинальное распределение, избавившись от нужды сводить концы с концами. Миллионы людей выморили голодом, расстреляли, сгноили в лагерях, лишили не то что прав человека, но элементарного уровня жизни, и за счет этого шли от победы к победе, выиграли войну, создали атомную и водородную бомбы, запустили человека в космос.

Оставив в стороне мораль, упраздненную еще Лениным, нельзя не признать, что фасад империи Сталина выглядел могучим. Но уже при нем разразился кризис, справиться с которым так и не удалось. Конечно, его углубила война, но, даже закрыв глаза на вклад Сталина в ее разжигание, трудно отрицать, что милитаризация хозяйства была частью политики и после победы усугубилась, а прочее скудело.

Кризис потом объясняли грубостью Сталина, «культом личности», и зывали к «ленинским нормам». Но Сталин не сочинил новых, он был практиком ленинских. Сама ленинская идея взять власть, не дожидаясь, покуда капитализм себя исчерпает, чужда марксистской утопической идее вызревания социализма. Эффект дали не мнимые «преимущества социализма», а насилие, которому подвергли страну.

Сталинское государство держалось тем, что, как единственное предприятие страны, не имеющее конкурентов, готовых платить больше, свело оплату труда к минимуму. Но платежеспособный спрос и при этом превышал предложение, которым государство ему отвечало, - оно удовлетворяло лишь часть нужд. Социалистическое государство вело себя по отношению к рабочим, как монопольный капиталист, по Марксу изымающий не одну прибавочную, но и необходимую стоимость. Потому иные и сочли социализм государственным капитализмом, веруя, вопреки западному опыту, что капитализм ведет к понижению оплаты рабочей силы и абсолютному обнищанию пролетариата. Советскому рабочему платили много меньше, чем западному за такую же работу, и достижения государства оплачивались бедностью его граждан.

СССР кормился и щедротами отечественной природы. Жизнь за ее счет прикрывалась тем, что Маркс не признавал ценностью дары плодородной земли ее владельцу, каким у нас было государство, хоть и пытался объяснить «свойственную этой сфере производства избыточную прибавочную стоимость». Ради этого он трижды переписал сорок седьмую главу «Капитала», но так ее и не дописал, не мог допустить, что в создании дополнительной ценности, взимаемой как дифференциальная рента, как раз и проявляется способность природы быть ценностью и создавать ценности.

Не только большее плодородие почвы при тех же усилиях и затратах дает лучший урожай, то есть создает дополнительную ценность, но и сырье становится для промышленности все значимей, а его ценность тоже не сводится к ценности рабочей силы, потраченной на его добычу, как думал Маркс. Советская эффективность выглядела плодом общественного труда, хоть и недооплачиваемого, но часто достигалась бесплатностью сырья для государства.

Почти бесплатно власти обретали и ценности, созданные умственным трудом, оплачивавшимся в СССР еще ниже физического, поскольку, теория Маркса лишь физический признала творцом материальных ценностей, отказывая умственному, как и природе, считаться соучастником их создания. Ученых числили паразитами на теле рабочего класса, удовлетворяющими собственное любопытство за его счет. Советская власть грабила и природу и людей, как физического, так и умственного труда. Все это до поры и позволяло вести огромное, преимущественно военное, производство, придавшее СССР вид великой державы. Со временем, однако, обнаружился предел таких возможностей. Если отапливать дом, бросая в печь деревянную мебель, он, рано или поздно, пустеет, да и топить становится нечем.

Все больше нехватало средств не столько даже военному производству, сколько стране, которая его вела. Добыча сырья в новых месторождениях дорожала. Требовались рабочие и ученые более высокой квалификации. Производительность труда отставала от развитых стран. Социалистическое общегосударственное натуральное хозяйство, построенное Сталиным и сбереженное его преемниками, перед лицом научно-технической революции XX века оказалось несостоятельным.

А эта революция перестроила общество. В нем уже были не только буржуа и пролетарии, да землевладельцы и крестьяне.

Социальная структура дробилась, а держава, держась на штыках, уже и забыла, что по Марксу при социализме государство должно отмирать. Разве что сам Брежнев, заметивший, что картошку не заменишь томатным соком, напоминал о бесплодии социализма.

Горбачев объявил гласность и допустил легальные проявления общественного сознания. Но, всю жизнь служа государственному натуральному хозяйству, люди не знали в чем, кроме увеличения пайки, они заинтересованы. Французский крестьянин в конце XVIII века был хозяйственно самостоятелен, почему и видел залог своего процветания в упразднении прочих зависимостей от сеньора, как в бессмертной «Женитьбе Фигаро». А советский рабочий, крестьянин, ученый, не находил в своем быту форм, в которых его жизнь стала бы лучше без государственной опеки. Он только и мог желать лучших правил опеки, замены жадных товарищей-сеньоров добрыми.

3

Ирония, однако, в том, что именно Маркс раньше других понял, что люди зависят не от доброты начальства, а от природы хозяйственной системы, вынуждающей с ними считаться или позволяющей не считаться. Маркса увлекло сравнение борьбы буржуа и пролетариев с гегельянскими антитезами, и он жаждал одноклассового пролетарского общества, принимая его за бесклассовое, и не догадываясь, что свободное общество будет дробиться и общественные классы тоже. Страдать при социализме заставлял сам ложный внеэкономический социалистический идеал, а не одни его искажения Лениным, не говоря о Сталине. Но Марксу мир обязан не только ложным идеалом, а и стремлением понять материальные основы общественного устройства, не зная которых общество не усовершенствовать, пусть по иному, чем он предполагал.

Хоть Сталин и не посягал поправлять самого Маркса, только Энгельса, реалистическая сторона их мировоззрения становилась все более чуждой советской жизни, равнявшейся на его утопическую сторону. Реалистические элементы теории Маркса опирались на опыт западно-европейского развития, а утопические – на традиции феодализма и крепостничества. Лишь видя эту внутреннюю противоречивость теоретической опоры большевизма, можно понять, что произошло в 17 году и после. Но перестройка не углублялась в мировоззренческий кризис, не выясняла отношений с основоположниками и первоустроителями.

Первоустроители, в отличие от основоположников, утверждали социализм в одной отдельно взятой стране, а не сразу во всех развитых, и притом в отсталой стране, а не в передовых. Об этом хотя бы спорили. Но еще более важное отступление даже не обсуждалось, осталось незамеченным. Между тем, Маркс, размышляя о социализме и коммунизме, предполагал, что независимые рабочие ассоциации там будут действовать во множественном числе. А Ленину виделось «превращение всех граждан в работников и служащих единого крупного «синдиката», именно, всего государства».

Маркс был убежден, что единственным создателем ценности (стоимости) является физический труд, отрицая такую роль за умственным трудом и природой. И осталось непонятным, откуда в свободных рабочих ассоциациях возьмутся инженеры, конструкторы и сырье. Маркс оказался утопистом. А Ленин, как волевой прагматик, распоряжался на феодальных началах. Но инициаторы перестройки о расхождении с Марксом и о природе ленинского мышления не думали. А сознавая они социальную природу советского кризиса, как кризиса нового феодализма, они бы вспомнили, что в советском феодализме, в отличие от старого, нет оазисов свободной экономики, и создавали бы такие оазисы.

К тому же, СССР не был уже отдельно взятой страной и не мог замедлить гонку вооружений и подтянуть отстающих, чего, возможно, хотел Горбачев. Сокращение гонки вооружений Восточная Европа поняла как слабость, росла ее тяга к высвобождению. Зашевелились и союзные республики, даже Россия, платившая за их удержание. Советская империя зашаталась, и ее первые персоны, изолировав Горбачева (по неподтвержденным слухам с его согласия), дали задний ход, хотя отступить было некуда, и Президент потерял власть.

Впрочем, инициатор перестройки и сам поддерживал создание внутри КПСС враждебной перестройке, Компартии РСФСР, отнюдь не противопоставив ей вернувшуюся к начальным, пусть утопическим, идеалам компартию, как двумя десятилетиями раньше старались Дубчек и Смирновский. Он предлагал в президенты РСФСР Полозкова, возглавившего российскую компартию, не видя, что этим помогал Ельцину, выступавшему в одеждах демократа.

Выяснилось, что КПСС не способна реально перемениться, а о критическом осмыслении ее пути, и разрыве сторонников и противников перестройки, меж которыми стране надо выбрать, и речи не было. Перестройку, как в свое время коллективизацию или большой террор, объявляли единой политикой единой партии. А когда оказалось, что армия, введенная в Москву, ведет себя там иначе, чем в Баку или Вильнюсе, и не стреляет в москвичей, заполнивших улицы, чтобы удержать перемены, власть КПСС рухнула, и Ельцин, перед тем демонстративно вышедший из партии, объявил, что вместо советского строя у нас демократия. Идеологию отменили, КПСС распустили, хоть Ельцина окружили ее функционеры среднего уровня. В мировоззрение он вникал еще меньше Горбачева.

4

Горбачев говорил о перестройке советской системы. Ельцин на словах отверг систему в целом. Казна была пуста, склады тоже, армия еще могуча, но нелепо воевать, зная, что не победить. Пришлось думать, как сводить концы с концами. После смерти Сталина номенклатура поняла, что она и есть реальный, хоть еще коллективный, владелец «общенародной» государственной собственности. Социализм дал ей привилегии, не обусловленные личным вкладом в прибыль. Но общее банкротство страны могло укоротить привилегии.

Номенклатура была не столь глупа, чтобы не понять, что экономическая свобода ее стеснит. Вышедшие из нее «реформаторы» хотели одолеть кризис, но не менять хозяйство по существу, подменить бунт революцией сверху, и не просто бескровной, но такой, чтобы не слишком многих ущемить наверху, «сладкой революцией», чтобы номенклатура уцелела и в рыночном обличье.

Революция была провозглашена, но не совершена. Переход от натурально-распределительной формы хозяйства к рыночной требовал отказа от регламентации цен. Но им дали свободу при государственной монополии производства. «Либерализация цен» позволила им свободно взвинчивать, не сообразуясь с заработной платой. Цены по отношению к зарплате попросту подняли раз в десять и, заполнив полки магазинов, создали видимость процветания, оставив без средств к существованию десятки миллионов людей. Сбережения, равно как пенсии и другие социальные выплаты, превратились в ничто. Людей ограбили. Стремись Ельцин и впрямь отойти, хотя бы отчасти, от советского феодализма, он бы сперва, по опыту НЭПа, допустил рядом с существующим независимое частное хозяйство, обеспечив его права. Но «реформаторы» не выпускали хозяйство из рук государства, попечением которого номенклатура живет.

Лишь поправив ограблением граждан финансовые дела обанкротившегося государства, вспомнили, что рынок-то живет частной собственностью и конкуренцией, и в 1993 году объявили приватизацию. Каждый получил особый чек, ваучер, адекватный доле в номинально раздаваемой части государственной собственности. Сама по себе ваучеризация, как акт признания за государством, семьдесят с лишним лет грабившим народ, хоть какого-то долга каждому лично, была бы плодотворна, котируйся ваучер на бирже, как ценная бумага. Но вскоре объявили, что ваучеры, не сданные в краткий срок государственным приватизационным фондам, учрежденным при их выпуске на предмет обмена на акции, вообще аннулируются. Поскольку и процедура этого обмена, и доходность фирм, акции которых сулили, были невнятные, разочарованные люди сбывали ваучеры за бесценок любым скупщикам, чтобы вернуть хотя бы деньги, плаченные при их получении. Ничего гражданам не дав, государство сочло, что оно с ними в расчете. Так прошло второе ельцинское ограбление. А скупившие ваучеры с помощью власти овладели крупными предприятиями и источниками сырья. Сельского хозяйства, везде и всегда служившего источником буржуазных отношений, приватизация сперва не коснулась, а сосредоточилась на крупных и добывающих предприятиях.

Старые советские законы считались как бы не действующими, а новую юридическую базу не создали. Ее отсутствие ограничило возможности мелких и даже средних предприятий, кругом зависящих от местного начальства. Но даже и переход крупных предприятий в как бы частное владение оформлялся не безупречно и однозначных законов, равно как и суда, их охранявшего, не возникло. И никакая декларация о том, что, как в 1917, имеет место революционный, - и хотя бы в силу этого законный, - акт перераспределения владений, издана не была.

На деле это была никакая не приватизация, хоть и твердили, что страна строит капитализм. Не зря в еще свободной тогда печати этот

капитализм звали бандитским или разбойничьим, оправдывая разбой нуждой в первоначальном накоплении, а был этот капитализм, по слову Юрия Буртина, номенклатурным, и возникал, чтобы жить на поводке государства. Его можно поэтому назвать и условным, поскольку у новых капиталистов нет главного – права независимо распоряжаться своей собственностью. Его юридическая необеспеченность – не плод поспешности, не упущение, а важнейшее качество. Оно позволяло потом государству в любую минуту ставить на место владельца, возмнившего себя и впрямь независимым капиталистом. Под видом демократических реформ Ельцин создал экономический порядок схожий с тем, какой создал в Германии Гитлер. Только Гитлер фактически подчинял себе существовавшие буржуазные предприятия, не закрывая ни мелких, ни средних, а у нас их наперед создавали подконтрольными, и для верности заводили не столько мелкие и средние, как огромные концерны, возглавленные десятками доверенных людей, будущих «олигархов».

В их собственности, которую государство могло в любую минуту оспорить, оказались крупнейшие добывающие компании. Без советских ограничений, при благоприятной конъюнктуре на мировом рынке, их доходы росли, государство жило ими, но население в массе богаче не стало. Однако виновниками своей нищеты люди парадоксально сочли не государство, раздавшее источники сырья, от доходов которых им, впрочем, и прежде мало перепало, а новых владельцев, обогащавшихся откровеннее, чем советские начальники.

Эти вольности в хозяйственных отношениях не изменили, однако, их советскую природу. Используемые в обиходе буржуазные формы, стыдливо именуемые рыночными, не вытеснили прежнее общегосударственное натуральное хозяйство, разве что увеличили неравенство его частей. Доходность производства, хотя бы его безубыточность, при страховых гарантиях, так и не стала в России нормой. Государство по-прежнему всевластно перераспределяет средства, субсидируя не только армию или образование, что естественно, но и электроэнергию или жилищно-коммунальную сферу. Без этого тут не выжить. А здоровая хозяйственная система, в которой большинство граждан способно из своего заработка оплатить необходимое, так и не возникла.

Поскольку лишь каждый шестой из субъектов Федерации в силах себя прокормить, власть, перераспределяя доходы, так или иначе субсидирует большую часть страны, от чего растет ее зависимость от власти и политическая жизнь становится управляемой. При советском натуральном хозяйстве многие отрасли и предприятия, объективную убыточность которых государство компенсировало, где в прямой форме, где искусственными ценами, хотя бы работали, предлагая рабочие места и производя необходимые товары. А ныне, лишившись субсидий и компенсаций, они стоят. Немногие, производящие оружие, оживляются по мере зарубежных заказов. Но оплачивать нужды российских граждан, кроме государства, некому, а оно предпочитает сберечь сверхдоходы от нефти на свои нужды да на военную промышленность. Даже по официальным данным более тридцати миллионов, то есть, больше

пятой части граждан, живут ниже официальной, заниженной, черты бедности.

Пока на мировых рынках хорошо платят за сырье, добывающие отрасли субсидируют государство. Благодаря подскочившим, во многом по политическим причинам, ценам на нефть Госбанк даже скопил немалый фонд на случай падения цен. Но государству надо бы не только платить долги и проценты зарубежным кредиторам, его долг - спасти собственное население и хозяйство. Когда цены на нефть были ниже, оно пускалось во все тяжкие, затевало крупные аферы, выпускало краткосрочные облигации с большими процентами, которые потом не могло оплатить. 17 августа 1998 года, в преддверии семилетней годовщины ГКЧП, по объективной логике вознесшего Ельцина вверх, не ползучая инфляция, а упавший рубль опять ощутимо ограбил людей.

Стало ясно: половинчатая система не работает. Надо, было определиться: единственная альтернатива волевому руководству хозяйством -- свободная экономика. Но сознание изменилось, реформам уже не верили. Люди ощутили, что под демократическими лозунгами лгут не менее беспардонно, чем прежде под коммунистическими, а правящий слой, при всех утренних разборках, все тот же и такой же.

5

При Горбачеве коммунисты стали выглядеть разными. С одной стороны Лигачев и компартия РСФСР, с другой - Горбачев, за ним Шеварднадзе, Яковлев, журнал «Огонек» и «Московские новости». Но эта другая сторона считалась как бы отошедшей от партийной линии, а демократы-диссиденты еще дальше от нее. Место им дали скромное. Вспомним хотя бы единодушную, с участием Горбачева, атаку Съезда народных депутатов на Сахарова. Но и при Ельцине, вроде порвавшем с коммунизмом, отбросившем марксизм-ленинизм, изменилось немного. Приглашенный работать для правительства экономист Явлинский предлагал проект «Пятьсот дней». Предпочли члена редколлегии журнала «Коммунист» и газеты «Правда» Гайдара. Беспартийных, да чтобы не из ГБ, подле Ельцина было не густо. Диссидент один, - уполномоченный по правам человека Сергей Ковалев.

Когда ГКЧП вывел на московские улицы войска, сотни тысяч рядовых москвичей вышли, чтобы их остановить, и никто, чтобы поддержать. У перемен было два потока сторонников. Один – внутри КПСС, более дальновидная часть которой, во главе с Горбачевым, понимала, что если не перестроиться, произойдет непредвосхитимое. И второй – рядовые граждане, прежде не высказывавшиеся, поскольку опасно и напрасно. Партийцы, окружавшие Ельцина, и заседавшие в Верховном Совете РСФСР, утверждали, что в августе 1991 произошла революция, за которой в конце года последовал распад СССР. Они верили, что и после революции страной может править власть, избранная до революции. А рядовые люди ждали, что, если была революция, жизнь пойдет по-новому. Но наверху сидела прежняя номенклатура, и уже это вызывало сомнения в смысле происходящего. А когда разразилась

«либерализация цен», сбережения обесценились, и товары в магазинах слишком вздорожали, чтобы их регулярно покупать, - сомнения выросли.

Чиновники провели революцию как переодевание, и спорили опять о том, держаться ли и в новом наряде за старые советские порядки или все же как-то их менять. В октябре 1993 года советская позиция Верховного Совета, от имени которого к телецентру шел с войском генерал Макашов была ясна, а президент и через два года после «либерализации цен» сеял иллюзии. Но разочарование в его демократизме вызывал и опыт первых двух лет, и новая Конституция, по которой гарантом широких прав и свобод стал авторитарный президент.

В выборах в Государственную Думу в 1993 и 1995 годах участвовали новые партии, как запущенные ГБ, так и возникшие независимо. Создалась видимость многопартийности, но лица партий не были определенными. В сравнении с горбачевским временем спектр не так расширился, как расслоился. Компартию не запретили, но она не переменялась. Она бранила власть за ограбление людей и нищету, но ничего, кроме реставрации прежнего порядка предложить не могла. Именуя себя левой, она оставалась крайне правой тоталитарной партией, отчего, хоть после грабительских псевдо-реформ и собирала немало голосов, демократическим путем вернуться к власти все же шансов не имела, хоть такая угроза служила Ельцину главным козырем вплоть до выборов 1996.

Но на правом фланге пребывали и другие партии. Возникла партия «сына юриста» Жириновского, назвавшаяся «либерально-демократической», но вторившая национал-социалистам. Кремль вполне ею управлял, что видно по голосованиям в Думе. А непосредственно курс власти проводили две право-центристские партии. Умеренно правая номенклатура, спрятав старые партбилеты, образовала партию «Наш дом – Россия» во главе с премьером Черномырдиным. А молодые ельцинские «реформаторы» Гайдар и Чубайс создали право-либеральную партию, именовавшуюся «Демократический выбор России», а позднее «Союз правых сил». Их демократия сводилась к самодержавию Ельцина и условному капитализму. В политике фактически участвовали одни правые.

Исключением стала партия Явлинского «Яблоко», тоже стоявшая за либеральные реформы, но с учетом социальных нужд. Однако свою программу она отстаивала робко, по-преимуществу теоретически, ни в коем случае не желая слыть «левой». Это позволяло противникам относить ее тоже к правым и валить на нее вину за последствия ельцинских «реформ», к которым она не имела отношения. А всамделишных либеральных левых партий в изначальном смысле, стоящих не за химеру всеобщего счастья в социалистическом Гулаге, а за экономическую свободу и социальные гарантии, неотделимые от прав человека, партий, отвергающих авторитарные и тоталитарные пути к демократии, на виду не было. «Союз правых сил», не говоря о «Нашем доме», твердил, что ради экономических реформ можно поступиться свободой слова, и лишь немногие возражали, что без свободы слова нет честного суда и экономической законности, что без свободы массовой информации власть действует безответственно и соблюдает закон лишь тогда, когда сама этого хочет.

Надежды на Ельцина таяли. Выборы 1996 года он выиграл лишь благодаря энергии государственного аппарата и финансовой помощи успешных условных капиталистов, тогда и получивших прозвище «олигархи». Но после победы все осталось, как было, пока дефолт 1998 не показал, что псевдо-либеральный ельцинский порядок, допущенный умеренно правой элитой, не дал никому, за вычетом этих самых олигархов, работать на благо себе и стране, а не только на благо власти. Но, усомнившись в умеренно правой политике, правящий класс видел выход лишь в дальнейшем движении вправо.

Возглавлять правительство Ельцин поручал подряд трем выходцам из спецслужб, Примакову, Степашину и Путину, который и возобновил Чеченскую войну. А за полгода до истечения своего второго президентского срока, под новый год, Ельцин вдруг объявил, что уходит в отставку, и весной 2000 Путин стал президентом. Ельцин и четыре года спустя пребывает в добром здравии, и трудно поверить, что уйти его побудила болезнь, - раньше и в крайне тяжелом состоянии он держался за власть. И вдруг выдвинул безвестного стране человека, зато из ГБ. Едва ли он спешил добровольно, но, видимо, нашли компромисс.

Путин, таким образом, баллотировался уже заняв пост президента, что дало ему заведомое преимущество перед другими кандидатами, и будучи избран, еще откровенней продолжил попятное движение, начатое Ельциным. Его речи о «вертикали власти» - знак возврата к унитарному государству. Он фактически ликвидировал Совет Федерации, как представительство ее субъектов, да и субъектов этих лишил права избирать свое руководство, губернаторов стал назначать Путин. Свободу слова на телевидении и в большинстве газет он свел на нет. Потом стал избирательно подсекать условных капиталистов, подобно Ходорковскому вообразивших, что соблюдение закона гарантирует им деловую самостоятельность. Практика суда и милиции становилась хуже, а прокуратура впрямую нарушала законы. Власть утратила даже многие косметические отличия от советской. Ее демократический наряд выцвел.

6

Альтернативой Путину могла бы стать лишь массовая левая социал-либеральная партия, которой «Яблоко» не смогло или не захотело стать. Отсутствие такой партии - результат не только усердия ГБ и политтехнологов, но и особенностей нашей истории. Хоть в феврале и октябре 1917 года произошли перемены, которые можно принять за буржуазную революцию, они, не удержались. Вскоре возникший социализм был новым феодализмом, его разновидностью. Россию не вернуть к нормальной жизни, назвав ее демократией и ставя имитационные спектакли. Надо на деле одолеть феодализм, и старый, царский, и советский, причудливо сросшиеся. А это не под силу номенклатуре, робеющей признать феодальную природу коммунизма и прочих тяготений к «единству».

Феодализм опирается на сопряженность государства и хозяйства. Там вертикаль власти естественна, поскольку частичная феодальная

собственность отличается от частной, но полной, буржуазной. Феодальная собственность знает разные уровни владения, - король, вассальный ему барон, вассальный барону рыцарь и зависимый от рыцаря крестьянин, разом владеют одной и той же землей, но в разных смыслах. Нечто подобное имело место и в советском государстве, где власть всякого уровня распоряжалась хозяйством в меру дозволенного свыше. Такое устроил и Ельцин, заводя условный, зависимый капитализм. А хозяйству надобно отделиться от государства (сохраняющего, понятно, финансовую роль), как надобно отделяться от государства церкви, и всякому мировоззрению, не только религиозному, но и светскому, не только марксизму.

Это, однако, не значит, что можно отдать абсолютную власть в прочих сферах буржуазному собственнику любого уровня. Напротив, лишь взаимная независимость государства и хозяйства в их специфических функциях позволяет эти функции выполнять. Худо не то, что государство бывает суровым, а что его суровость превышает пределы прав, ему положенных. Это тоже феодальное наследство, и большинство российских государственников мыслят государство как феодальное, что сказывается и на его экономике и, вообще, на его развитии. А для экономической свободы надобно государство, сообразное не вертикальной, как феодальная, а горизонтальной, конкурентной жизни. Судьба России зависит от того, обретет ли она горизонтальные опоры демократии или вертикаль устоит.

Сегодня Россия не просто президентская республика, - уже по Конституции президент обладает авторитарной властью. Исполнительную власть вершит его особая администрация, чиновники которой ответственны лишь перед ним лично. А правительство, назначаемое им без согласия Думы (за вычетом лишь его главы), фактически подчинено этой администрации. Представительная власть не имеет влияния на правительство и, тем более на администрацию президента. А даже и в президентском государстве администрацией президента должно быть правительство, опираясь на которое он должен править, либо прямо его возглавляя, как в США, либо вместе с премьер-министром, если, как во Франции, правительство формирует парламент. А у нас, даже не входя в характеры Ельцина или Путина, природа исполнительной власти, вознесшейся над законодательной, - феодальная. Президент России - это выборный царь.

Наша Дума не демократический парламент уже потому, что депутатов, в отличие от президента, выбирают в один тур, а теперь будут уже только по партийным спискам. А в отношениях с правительством ей недостает права повседневно контролировать министров и администрацию президента. К тому же, парламент - не только орган власти, но и орган национального самосознания. Он должен представить пестроту мнений граждан о делах страны, государства и общества, а наша Дума не главная трибуна гражданского общества, а глашатай царской воли, оформляющий угодные президенту законы.

Еще полней уцелела советская судебная система. Поправки в процессуальном кодексе не мешают прокуратуре, органу исполнительной власти, уподоблять себя суду и претендовать на независимость от кого бы то ни было. Да она еще сама и проверяет

законность своих действий, и потому систематически преступает закон. Драматизированный арест Ходорковского – антигосударственное преступление не потому, что якобы заведомо неверны подозрения против олигарха. Но, нарушая права подозреваемого, прокуратура при попустительстве, если не по инициативе, президента, обнажила односторонность государства в подходе к экономическим делам. Речь не просто о справедливости, - если Ходорковский виноват, он получил бы свое и при рассмотрении дела законным порядком. Речь о пристрастной позиции государства и его отказе от единообразия юридических норм. Наша прокуратура принимает условный капитализм, а власть отнюдь не урезает роль олигархов, а по-феодалному их делит на угодных и неугодных.

Смысл внутренней политики в обеспечении всякому права на экономическую деятельность. В продуктивности лиц и организаций залог процветания страны. А если в законе есть дыры, позволяющие Ходорковскому или другим платить налоги не полностью, то виновато государство и его органы. Отсутствие свободы слова тоже нелепо сводить к нехватке поддерживающих ее доброхотов – «хозяйствующих субъектов». Владение телеканалом или газетой - само источник прибыли, хотя бы от рекламы, если, понятно, государство не ставит внеэкономических преград. А бороться со злоупотреблениями государства, за его рациональное и открытое устройство, за разумную политику в отношении не только сильных держав, но и слабых соседей, бороться против имперских традиций, за федеративную страну, за сообщество крупных русских регионов, к которому добровольно примкнули национальные республики, связанные с Россией, и за многое еще другое, способна лишь «левая» в начальном смысле, то есть антифеодалная, партия, какой в России, увы, нет.

Нет отчасти потому, что в российском сознании, как и в сознании нынешних западных «левых», вопреки опыту, живет миф о том, что пробил или вот-вот пробьет последний час буржуазного мира. А при всех его кризисах и несовершенствах, этот мир демонстрирует самую высокую производительность труда и способность сделать сносной жизнь наибольшего количества работающих людей. Альтернативой ему все еще выступает феодальный порядок (традиционный или новый, социалистический), неконкурентоспособный ни на производстве, ни в обеспечении элементарных человеческих прав.

Говорят, капитализм увеличивает разрыв в потреблении меж Америкой и Европой с одной стороны и Африкой и Азией с другой. Но разве первые сокращают потребление вторых? И кто виноват, что одни рожают без ограничений, а другие помнят, что детей придется кормить и учить. Деторождение в Европе упало ниже уровня, простого воспроизводства населения. Почему же европейские родители, боящиеся завести ребенка, должны отказывать своим немногим детям, ради детей безответственных родителей?

Ничего хорошего в этом разрыве развитых и отстающих стран, конечно, нет, но, чтобы его преодолеть, надо не взрывать буржуазный мир, а у него учиться. И перенимать не одни технические достижения, но и обусловившие их развитие понятия о социальных отношениях. Чтобы больше стран и больше людей своим трудом создавали себе

лучшую жизнь. Дело не за тем, чтобы местные диктаторы и «элита» дружили с Америкой и Европой, а за тем, чтобы, избавясь от своих диктатур, африканцы жили в своих странах, как европейцы в своих. А к этому ведет не абстрактная «левизна» а просветительское левое сознание, выведшее развитые страны, вызывающие ныне зависть у остальных, из феодальных пут. А люди, обещавшие освободить Россию от коммунистического рабства, бесстыже звали себя «правыми», и уже это предвещало результат. Революция сверху не бывает левой. Особенно, если ею руководят товарищи из ГБ.

7

На выборах Четвертой Государственной Думы президентская партия получила две трети мест. Сочтено, что выборы показали неприязнь населения к крайностям. «Яблоко» и СПС, собрав меньше 5% голосов, в Думу не попали, а коммунисты, хоть там и остались, потеряли чуть не половину прежних мандатов. Но всякому, кто от выборов к выборам следил за распределением голосов, ясно, что проценты фальсифицированы. Обычно симпатии к «Яблоку» и СПС росли с востока на запад. На сей раз, однако, это просматривается не столь четко. Председатель Центризбиркома признал, что, к примеру, в Московской области, голосовавших было больше, чем в списках избирателей, но выборы признаны действительными.

Лишение «Яблока» и СПС жалких мест, которые у них были в Думе, именуют провалом демократов. На деле они провалились уже в 1993 году. После массового разочарования в «реформах», проведенных будущим СПС, у него осталось мало сторонников. А «Яблоко», хоть и было против таких реформ, не сумело внятно объяснить избирателям отличия своего подхода к переменам. Ныне у «Яблока» и у СПС не меньше сторонников, чем было при выборах Третьей Думы, но их слишком мало, чтобы пересилить желание власти отнять трибуну у либеральных политиков, даже из верного Путину СПС.

Смешны уверения, что им надо было, дескать, объединяться. Разные партии, выражающие интересы разных частей общества, могут, а порой и должны, выступать совместно, но, слившись, они не могут защищать противоречащие друг другу интересы своих избирателей. СПС - правая буржуазная партия, а «Яблоко» - лево-либеральная, даже социал-демократическая. Кандидатом СПС на выборах 2000 был Путин, а кандидатом «Яблока» - Явлинский. При всей слабости «Яблока», при всех претензиях к нему, это все же партия оппозиционная, хотя бы рядящаяся таковой. А СПС – партия президентская. Единственный смысл их объединения в том, чтобы оппозиционные избиратели «Яблока» голосовали за президента. Но большинство избирателей так не проголосует уже потому, что СПС все еще ратует за «либеральную империю», давящую непокорные провинции, вроде Чечни. Конечно, есть у них свои «меньшевики», критикующие Путина, но, и решив с ним соперничать за пост президента, Хакамада заявила, что «имитационная демократия – тоже демократия». Для нее сталинские выборы из одного и единогласие Верховного Совета - тоже демократия.

Спектакли Путина реалистичней. В Думе оставлены четыре партии, и есть депутаты, способные голосовать не только «за», но и «против» чего угодно. Но парламент - это инструмент обратной связи, без которой он теряет смысл. Управляемая демократия ведет к управляемому искусству, управляемому терроризму и прочему, чем Путин будет управлять еще четыре года, а потом еще.

Нелепо рассуждать и о провале коммунистов, забыв, что новая партия «Родина», активнее повторяя общие с ними шовинистические призывы, отняла у них часть голосов. Коммунисты разделились, вот и все. А «Единая Россия», напротив, объединилась, взяв голоса, которые на прежних выборах брали партии «Вся Россия» и «Отечество». На деле резких перемен во взглядах избирателей нет. Не их воля изменилась, а откровенней выражена воля власти. Попятное движение, неспешное при Ельцине, пошло с ускорением. Горбачев говаривал: «процесс пошел». Теперь он завершается. Россию вернули в единый социальный поток под единое руководство, которое Ленин объявил необходимым еще на X съезде РКП. Единство, то есть, подавление социального многообразия, восстановлено. Правящая элита - это уже новая единая партия, сегменты которой разнятся не более, чем разные тенденции в КПСС, последние годы даже не обозначавшиеся. А коммунисты проиграли тоже не на выборах. Путин обошел их, показав, что все то же самое можно делать без марксизма-ленинизма и без особого партийного аппарата, прямо через государственный.

Без нормативной идеологии власть выглядит откровенней и проще. Прежде она указывала на догматические картины марксистско-ленинского мифа, и, сколь далеко на деле ни отходила от предписанного мировоззрения, говорила его языком. Подобно теологиям мировых религий сложилась теология марксизма-ленинизма, отношения которой с его практикой были хитрыми. Но и отбросив эту теологию, удержав лишь нарощие на ней социальные приемы, власть гнет прежнюю волюнтаристскую линию. Когда «Единая Россия», не вступая в общественные дискуссии, довольствуется примитивным «Мы с президентом», она, по существу, обнажает прием, соответствующий былой позиции коммунистов, тоже шедшей от сложных сперва идеологических построений к понятному всем «Мы делу Ленина, мы Сталину верны!» А примеров имперской государственности и без марксистско-ленинской идеологии подано множество.

Круг замкнулся, правящий слой устоял без свободной экономики и без демократии, - ведь выросли цены на нефть. Население еще готово терпеть, время не истекло, как боялись Горбачев или Ельцин с Гайдаром, когда цены на нефть падали. Неудачный опыт освобождения с 1991 по 2003 занял столько же времени, сколько неудачный опыт с 1917 по 1929. Хоть уверяют, что Россия склонна к деспотизму, ей, как видим, нужны сеансы свободы, и менее чем за сто лет понадобилось даже два. Опять сеанс окончен. Опять наступает трудная пора неведомо на какой срок. За этот сеанс отпала, строго говоря, только идеология, да и то не осознано, что ушло с ней. От того, что Ходорковского и еще десяток или десятки тысяч, посадят, страна не разбогатеет. С давних пор буржуа у нас любят меньше, чем барина. Любить его, и Ходорковского в частности, не обязательно. Но

современное хозяйство работает благодаря свободе, а уверенность Путина и его команды, что можно и без нее, теснит стране дыхание. России, если не хочет стать Угандой, еще понадобятся сеансы свободы. Пока она у нас не поселится.

ДЕНЬ БЕЗ ЧИСЛА

1

Российская империя, отмечая в 1913 году трехсотлетие царствовавшего дома Романовых, еще ощущала себя третьим Римом, а в начале 1917 рухнула. Русское национальное государство стало империей еще в XVI веке, но, в отличие от Британской и Французской, закрепостило ради этого свой народ, пресекло его свободное развитие. Ни Петр I, внедрявший европейскую технику, ни даже Александр II, освободивший крестьян, крепостничество не пересилили. Крестьянам, во множестве безземельным, регламенты сельской общины мешали вращаться в экономическую жизнь и без крепостного права. Росла промышленность, но социальный строй не поспевал. На том и стояло самодержавие.

2

Его смел Февраль. Но приведшие к нему кризисы, ни военный, ни национальный, ни аграрный, не разрешились. Учредительное Собрание не созвали. Одни уповали на радикализацию революции, другие на реванш. Большинство боялось и того, и другого, но большевики, оттеснив остальные революционные партии, 25 октября силой взяли власть в Петрограде и захватывали повсеместно. Они издали Декреты о мире и о земле, Декларацию прав народов России, и провели выборы в Учредительное Собрание, где получили четверть мест. У социалистического по составу Собрания многие декреты возражений не вызывали, но оно не признало насильственный захват власти, и большевики 6 (19) января Собрание разогнали. Этот государственный переворот обратил советскую власть в новое самодержавие.

3

Еще до переворота большевики стали строить коммунизм. Потом его звали «военным» и объясняли трудностями гражданской войны, начатой, однако, после разгона Собрания. А еще до выборов большевики национализировали частную собственность, запретили частное предпринимательство и заменяли торговлю натуральным распределением. Но хозяйство, отказавшееся от ценностных отношений, было непродуктивным. Пришлось большевикам отступить. Весной 1921 года они провозгласили новую экономическую политику.

4

Фактически то было банкротство ленинского коммунизма. Но его свели к неблагоприятным обстоятельствам. Любимый российский вопрос «Кто

виноват?» не обрел наглядного ответа. Винят и самодержавие, и Маркса, и крепостничество, и продразверстку, но не берут в расчет принудительность, как царизма, так и коммунизма, тормозившую развитие и колониальных земель, и русских, не ставших, в отличие от британских и французских, метрополией своей империи. В русской державе и русские не знали свободы, - при царе куцой, при коммунизме - никакой.

5

Дозволенная новой экономической политикой куцая свобода усилила социальную дифференциацию. Наряду с реально господствующими партийными командирами и комиссарами и номинально господствующим рабочим классом, опять объявились зажиточные крестьяне и частные предприятия. Могло казаться, - иным и казалось, - что «процесс пошел» и успешная экономика, вернув на десятом году революции разрушенное войнами хозяйство к довоенному уровню, приведет к политическим переменам. Однако, год великого перелома, 1929, эти надежды развеял и восстановил коммунизм, который уже не именовали «военным», а звали первой фазой коммунизма – социализмом.

Землю, оказавшуюся у крестьян, опять отобрали и передали по преимуществу колхозам, псевдо-кооперативам, куда загнали середняков. Более крепких крестьян, - не один миллион, - сослали в дальние края, где они погибали. Промышленные и торговые частные предприятия экспроприировали. Создали единый «концерн», охвативший всю страну, - государственно-хозяйственную общность, управляемую партией. Виды управления и формы собственности, объявленные разными в сельском хозяйстве («кооперативная») и в промышленности («общенародная»), менялись, но с 1929 по 1991 всем, что было в стране, распоряжалась коммунистическая партия, извлекавшая из своего монопольного хозяйства выгоды для своей политики, своих вождей и всего правящего номенклатурного класса.

6

Советским хозяйством управляли внеэкономически. «Партийное руководство» состояло в праве партийных органов разных уровней давать хозяйству команды и указания, никакими законами не стесненные. Такой порядок подпирала государственная идеология так называемого «марксизма-ленинизма», выраженная не только трудами его основателей, но и сериями партийно-государственных постановлений. В либеральном государстве с конкурентным хозяйством политические партии состязаются за власть, и разная поддержка их населением определяет разные условия социального компромисса. Радикальное советское государство блюдет единство руководства и не ведет открытых состязаний. Оно не ищет компромисса, а действует насильем: кто ему не подчиняется, обречен. Партия, взявшая власть силой, - уже не голос части общества, но распорядитель всего и вся, а государство - не страж закона, а орудие власти. Это и есть социализм.

Хозяйство велось директивно. Провозглашая стабильность цен, государство делало ценообразование своей прерогативой, и командовало не просто заводами и колхозами, но и ценами на их продукцию, то их взвинчивая, то снижая. Цены зависели не от спроса и предложения, а от общего интереса государства, как его понимало руководство, а выгоды государства не всегда и не вполне совпадали с классовыми выгодами партийного руководства, не говоря о личных.

Цены выражались в денежной форме, но стабильность лишала эту форму смысла. Деньги - идеальный товар, эквивалентно обозначающий цены всех других свободно обращающихся товаров, но когда ими стали обозначать директивные цены, они из всеобщего эквивалента преобразились в условный показатель интереса государства к тем или иным товарам и к их реализации. Поскольку расчеты велись в таких псевдо-деньгах, распорядители страны не могли объективно видеть свое хозяйство и учесть реальные доходы и расходы. В «равноценности» товаров разной себестоимости и разного спроса люди нередко улавливали несообразность и даже извлекали из нее выгоду, но тотальное насилие и страх удерживали псевдо-денежную систему. Внеэкономическая власть, правившая индустриальным обществом, ощущая недостаток натуральных показателей, не рисковала допустить реальные денежные отношения, отражавшие объективные ценности.

7

А без них современное хозяйство теряет самосознание, ему не оценить свои владения, не сосчитать расходы, не учесть амортизацию оборудования и жилого фонда, не измерить материальные льготы, предоставляемые тем или иным категориям граждан. Без всеобщего эквивалента нет ответа на элементарные экономические вопросы, отчего и растут диспропорции, ведущие к кризисам. Но пагубнее всего стабилизация цен и заработной платы сказывается на самореализации людей, лишая смысла их состоятельность.

Идеология исключила «стоимость рабочей силы» из числа советских экономических понятий. Трудящиеся считались владельцами средств производства, - не одного своего предприятия, но всей их советской совокупности. Вклад труженика возмещался традиционной заработной платой, соответствовавшей, однако, не цене приложенной им рабочей силы, но считавшейся его персональной долей в общей доле национального дохода, шедшей на личное потребление трудящихся. Долю каждого в определяемой властью общей доле неисчислимого, за неимением объективной денежной системы, национального дохода повседневно исчислять невозможно, и она существовала лишь в теории. А на практике заработную плату, как и прочие цены, устанавливали произвольно. Ориентиром был прожиточный минимум, корректируемый социальным статусом. Порой зарплату повышали целому слою, как бы приближая его этим к правящему классу.

Трудящимся было не добиться ни улучшения условий труда, ни увеличения зарплаты, ни социальных гарантий, каких добиваются в конкурентном обществе. Там, при всех противоречиях, рабочие сознают общую с предпринимателем заинтересованность в продолжении

производства и идут на компромиссы, не посягая на свободу общества. При социализме, ее отвергшем, защита классовых интересов, классовая борьба с новым владельцем производительных сил, то есть, с правящими партией и государством, стали политическим преступлением, власть их пресекла. Коммунисты в отличие от буржуазии на компромиссы не шли, и производительность труда в советской стране была ниже, чем в буржуазных.

8

Однако, с кризисами, которые советское хозяйство регулярно испытывало, оно справлялись не только жестокостью внеэкономического принуждения. Тотальность государственного владения предоставляла правящему классу экономические ресурсы, позволявшие компенсировать неэффективность хозяйствования.

Эти ресурсы складывались из неучтенных Марксом и не признанных советской идеологией источников. Природа дарила номенклатурному государству неоплачиваемые богатства - от плодородия почвы до полезных ископаемых, в частности, нефти и газа, приносящих валютные миллионы. А сверх того ресурсы росли за счет недостаточной оплаты униженного в советском обществе умственного труда, овеществленного в технических достижениях, перенятых как у зарубежных конкурентов, так и отечественных. При безуспешных попытках придать хозяйству хоть некоторую самокупаемость тайно соперничавшие группы правящих коммунистов пачками убивали друг друга и всех попадавших под руку, но не признавали компенсаторности своего убыточного хозяйства. К восьмидесятым годам компенсаторные источники ослабели. Умственный труд все больше уходил на военное производство, мало хозяйству дававшее. Да и мирные открытия трудно внедрялись в неконкурентное хозяйство. А на мировом рынке падали цены на нефть и другие ископаемые. И кризис восьмидесятых оказался глубже предшествующих.

9

Чтобы поднять эффективность производства, надо было, если не покончить с компенсаторностью, как опорой единого хозяйства, то хотя бы сократить ее сферы. А для этого определить экономический эффект каждого отдельного производства, восстановив в какой-то форме конкурентность, отсутствующую в государственной сверхмонополии. Для этого необходимо было отказаться от стабильных цен, перейти к объективному ценообразованию и реальным деньгам. Это, в свою очередь, требовало неперменной системы гарантий, защищающих трудящихся, да и все население, в кризисных ситуациях, способных в ходе развития ущемить каждого. Номенклатуре надлежало, по опыту буржуазии, вступить в непрерывный подвижный компромисс с трудящимися, учитывать, а не игнорировать, реальную стоимость как физической рабочей силы, так и умственного труда. Западные коммунисты во многом это и имели в виду, подсказывая русским «социализм с человеческим лицом». Но ограничение партийного волюнтаризма, едва ли не первого свойства реального социализма, ничего бы от социализма не оставило.

А большевики отличались особой бескомпромиссностью, и видели в насилии не только «повивальную бабку истории», но ее кормилицу, няньку, воспитателя, учителя на вечные времена. Отсюда разгон Учредительного Собрания и потом кризис «военного коммунизма». Отсюда замена НЭПа принудительной «коллективизацией». Отсюда великий террор. А потом отступление армии до Волги. А потом кризис неполноты научно-технического скачка. Не оглядываясь на модную ныне демографию, КГБ уничтожал население, упреждая его недовольство постоянными «временными» трудностями. Советские вожди не были уверены, что завтра сами не будут на нарах. Смерть Сталина умерила их страх. Но в умах номенклатуры ее личное благополучие так и не слилось с благополучием и развитием страны. Только с ее безопасностью, да и то не вполне. И выйти из нараставшего в восьмидесятые годы кризиса ей было не просто.

Руководящие старцы Политбюро, ощутив дыхание катастрофы, в которую, гонясь за военным превосходством, они ввергли страну, выбрали генсеком Горбачева, надеясь, что он не даст катастрофе вызвать революцию. Свою программу он назвал: «перестройка». Название сулило преобразование, не скрывая намерений сохранить основы прежнего порядка. Искренность обоих стремлений нового лидера не вызывает сомнений. Его беда была в том, что они несовместимы.

10

Перестройка, как бы умерив прямую власть партии и усилив роль государства, придала советскому строю более правовую видимость, чем шестая статья брежневской Конституции о «руководящей роли КПСС», при буквальном понимании упразднявшая даже нужду в выборах. Создание президентских постов в СССР и республиках тоже имитировало демократию. Выбор из нескольких кандидатов создал предпосылки для появления в представительных органах оппозиционных голосов. Еще существенней провозглашенная Горбачевым «гласность», - право не только знать закрытую прежде информацию, но публично ее обсуждать. Номенклатура это пугало. Свободные выборы не сулили ей добра. Но за шесть лет в хозяйстве не произошло коренных перемен. Не возникло предпринимательство, конкурирующее с государственным. Не появились ни способные к нему независимые хозяйственные субъекты, ни защищающие их права независимые суды. Не изменилась денежная система. Между тем, скудевшие компенсаторные ресурсы лишь отчасти возмещались авансами западных стран, приветствовавших перемены. И увядали надежды на Горбачева, с трудом балансировавшего меж спасением советского порядка и готовностью его изменить.

Но, когда верхушка правящего класса, озабоченная спасением прежнего строя, ввела в Москву танки, москвичи противостояли возрождению советской жизни, показав, - входили танки вопреки Горбачеву или с его ведома, - что прежней жизни больше не хотят. И Ельцин, ранее всенародно избранный Президентом РСФСР, пошел на роспуск СССР, разом избавившись и от вождей так называемого путча и от Горбачева, и сосредоточив власть в своих руках.

11

С Ельциным к власти пришел не средний класс, а средний слой номенклатуры. Его приход назвали революцией. Но от большой империи, СССР, отпали окраины, а малая империя, РСФСР, уцелела и поныне дорожит державной целостью. Ее переименовали в Российскую Федерацию. Но большинство областей и краев, объявленных ее субъектами, не может себя прокормить и кругом зависит от центра. Внутри малой империи так и не выделилась демократическая русская республика с автономными правами казаков, сибиряков, уральцев, поморов, жителей Черноземья, москвичей, петербуржцев и других русских регионов. Инонациональным автономиям не дали установить с ней федеративные отношения, не говоря о независимости.

12

Не пришла и экономическая свобода. По выданным каждому ваучерам (имевшим ограниченный срок использования и не ставшим ценными бумагами), а потом через так называемые «залоговые аукционы», часть государственного имущества перешла к полусотне человек, названных «олигархами». Провозгласили капитализм. Цены освободили, оставив хозяйство монопольным, чем свели на нет заработки и сбережения граждан. Мелким и средним частным предприятиям, равно как фермерам, и после Горбачева не пособили. Но, если колхозы - псевдо-кооперативы, то «олигархи» - псевдо-капиталисты, их собственность - лишь условно «частная». Передача государству они ее лишаются. «Олигархи» - лишь порученцы российской власти по хозяйственной части, купленные ими на Западе фирмы на деле принадлежат государству, и их доход - дополнительный компенсаторный ресурс.

Мифичность российского «капитализма» стала очевидна, когда Ходорковский указал Путину на взяточничество и воровство чиновников, порочащие деловую репутацию России. Президент, не моргнув глазом, ответил: «Вы что, хотите, чтобы я вам напомнил, как приобрели свое состояние вы?» Президент увидел, что «олигарх», получивший при ельцинской раздаче государственную собственность, готов забыть, что ее давали с условием безоговорочно служить государству, ставя любые его интересы выше коммерческих интересов своей фирмы. Гусинский и Березовский подскользнулись на политике, но Ходорковский посягнул на самый сговор власти с подсадными «владельцами» частной собственности, которая доходней государственной, что и толкнуло власть декорировать государственную под частную. Он захотел, опершись на даренное богатство, стать независимым от дарителя. И его беспощадно наказали, показав, что ждет нарушителей конвенции.

13

Новая хозяйственная структура, естественно, изменила положение номенклатуры. Прежде она фактически сообща владела собственностью, именуемой общенародной. Тогда номенклатурщикам

тоже немало перепало, но не источники дохода. А теперь аппаратчикам не просто дают льготы или вручают конверты с деньгами, но наделяют собственностью, отнятой, целиком или частично, у ненадежных «олигархов». Здесь в нынешнем порядке мерцает новое экономическое содержание.

Еще трудно, конечно, судить, останутся ли перемены на этом, и смогут ли чиновники оставлять обретенные богатства детям, а не только, как в прежние времена, устраивать детям доходные места. Или процесс пойдет дальше вспять, до восстановления коллективного владения правящего класса государственной собственностью? Так или иначе, советский правящий класс, номенклатура, устоял. Поэтому права других, хоть вписаны в Конституцию, ненадежны, и свободы нет.

14

Потому и нет реальной политической жизни. Политика лишь имитируется. Страной по-прежнему правит номенклатура, пополненная и переименованная в «элиту». За всеобщим единством КПСС всегда проступали оттенки, перестройка сделала их отчетливее. Но разная тактика трех влиятельных групп не заслоняет их общности.

Правящий слой, еще не весь сплоченный в «Единую Россию», объединяет друзей и коллег Президента по работе в КГБ, и опирается на выигравших от перемен и ждущих новых выгод. Компартия РФ, возникшая внутри КПСС при Горбачеве, после 1991-93 выступает как оппозиция. Она адресуется к потерявшим при переменах и тоскующим о скудной, но регулярной пайке. Не вполне оформлена «третья партия» - скопище групп, спешащих создать на русской почве подобие немецкого нацизма или итальянского фашизма. Они тоже из КПСС и скликают желавших еще в СССР привилегий для русских. Все три течения перетекают друг в друга.

Сложилась как бы демократия тоталитаризма, взаимная терпимость его потоков, как раз и придающая ныне России квази-демократический вид. Власть потакает нацистам и коммунистам, пренебрегая изредка возражающим СПС и робко-либеральным «Яблоком», которые, поддерживая Ельцина и угождая Путину, теряют сторонников. Силловые органы и суды даже не делают вида, что пресекают противоречащую Конституции пропаганду и практику коммунистов и нацистов. Это объясняют по-разному. Говорят, как Ельцин ради победы в 1996 вскармливал коммунистическую оппозицию, так и Путин вскармливает национал-социалистическую, против которой в 2008 выступит он сам или его ставленник.

Но массовые социальные ориентации определяются не столько указаниями власти, сколько состоянием общества. Нефтяной компенсаторный ресурс позволяя хозяйствовать внеэкономически, толкает наше индустриальное общество к открытому тоталитаризму, ширмой которого выступал марксизм. Отбросив его, пост-советский режим оказался в общем ряду тоталитарных, фашистских и нацистских. Его возросшая откровенность не означает, что нынешний «авторитарный», выказавший себя в Чечне, по природе иной. Защищая в России «коренное население» от инородцев с российскими

паспортами, затеяв расистскую атаку на Грузию, простершуюся на грузин, имеющих российское гражданство, объявив над гробом Анны Политковской, что «ее влияние было минимальным», Путин указал к чему он сдвигается от советского лицемерия. То есть, третья партия – не так прикрывает нынешний строй, как выдает его перспективы и идеалы, уже известные.

15

Конечно, процесс не завершен, что-то дозволенное при Горбачеве и после 1991 еще держится. «Единая Россия» еще не перешла, как большевики, к прямому управлению. Создаются даже новые декоративные «партии». Еще выдают заграничные паспорта, и для выезда за рубеж довольно согласия принимающей страны. Еще не запрещено хранить, передавать и читать литературу любого политического толка. Еще возможны личные беседы о чем угодно. Еще дозволено поддерживать отношения с иностранцами, еще широко продаются импортные товары. Но нищета растет. Все телеканалы вещают на один лад. Постановления и действия власти не отвечают посулам 1991 года. На выборах кандидаты неравноправны, и видны лишь удобные власти. Их и «избирают».

Законности нет. Силловые органы уже не органы партии и руководившего ею Сталина или Брежнева, а сами - исполнительная власть, они формируют судебную и представительную. Открыто заявлено, что «парламент – не место для дискуссий».

16

Советская империя попирала своеобразие народов, но и равноправия им не давала, отчего испытывала постоянный национальный кризис. Горбачева винят в развале большой империи, инициированном, однако, Ельциным - и лишь ради лишения Горбачева власти. А он разве что на голове не стоял, чтобы удержать империю. Затем и применял вооруженную силу в Тбилиси, в Вильнюсе, в Риге, в Баку. Правда, войну, вроде чеченской, не затеял, - еще шла афганская. Но отверг даже литовскую идею экономической самостоятельности республик и опоры на горизонтальные связи. То есть, упустил случай обратить империю, Советский Союз, в реальный союз.

Старая русская империя, не зря именуясь «тюрьмой народов», отличала русских от инородцев лишь персонально, в целом не отграничивая колонии от метрополии. Так было и в СССР. Русские относились к неравенству наций по-разному: одни противились великодержавной политике, другим политика нравилась, но раздражало, что она не откровенна, и с «первыми среди равных» нередко обходятся не лучше, чем с инородцами. Русских тоже, хоть и не по национальному признаку, ущемляли, как евреев, и выселяли, как чеченцев, однако не поголовно. Лично они страдали от социального, но не от национального унижения. На должности, не закрепленные для показухи за ущемленными нациями, их продвигали легче. Русский человек, тоже не защищенный от общего бесправия, имел в нем свои преимущества. Но российская республика, сама включавшая в себя

огромные инациональные анклав, РСФСР, преимуществ не имела. Сетовали даже, что она не защищает русские национальные ценности, как республиканские.

У русского народа не было, по сути, своего государства, им мыслился и Советский Союз, и Российская Федерация. Слова «советский» и «русский» часто служили синонимами. Но признать СССР Русской империей с покоренными колониями власть не рискнула. Вот и не создала Русскую республику, признающую интересы других, позволяя им оставаться впрямь автономными. А без самоопределения русских, держа их на положении особого имперского народа, было не сберечь СССР и не сберечь Российскую Федерацию.

17

Чтобы дать автономным республикам недоданные права, надлежало, создав Русскую республику, уравнивать автономии РСФСР с союзными республиками. Трудно счесть справедливым положение, при котором у Автономных Татарии и Башкирии было меньше прав, даром что больше граждан, чем у Союзных Армении и Эстонии.

Но в СССР нерусских было 50%, и власть, не давая им сколько-нибудь реальной самостоятельности, пропагандировала показной интернационализм. Ныне в России нет и 20% нерусских, но их обязывают быть русскими патриотами, отчего обостряется сепаратизм и растет русофобия. Лжи меньше, но шовинизма больше.

Литовцы призывали снизить в СССР давление центра, сохранив связи. Вышло наоборот, СССР распался, а унитарность в России уцелела, но опирается уже не на показную добровольность, а на откровенное, как в Чечне, принуждение. В Беловежской пуще российское начальство предпочло отпустить территории СССР, заселенные инородцами, но не умерить власть на своей территории. Ведь хозяйственная система держалась лишь внеэкономическим принуждением.

18

Венгрия, Польша, Чехия, даже Прибалтика, одолели тоталитарность, провели десоветизацию, установили демократические порядки и буржуазные отношения. Удалось это потому, что в бывших социалистических странах стремление к свободе слилось со стремлением к национальной независимости.

России насильственное единство с номинальными автономиями все еще дороже живущих там народов и отдельных людей. Страной правит партия «Единая Россия», хотя Россия по Конституции - федерация. А слывшие национальными русские движения «обижались за державу», но не пеклись о свободе даже и русских людей. Русские шовинисты в избытке, но среди их больше державников, столпы империи, открыто настаивающие на своих экстерриториальных, имперских правах, чем буквальных националистов, пекущихся о благоденствии русского народа.

19

Говорят, перестройку начали диссиденты. Но на деле ее «начала партия». Начала в предчувствии катастрофы, спасая себя, силясь придать социализму человеческое лицо, какого природа и история ему не дали. Сахаров видел отличия стремлений власти от своих и говорил: «Мы поддерживаем Горбачева условно, в той мере, в какой он делает то, что говорит». Но Сахарова не стало за полтора года до выборов президента РСФСР. Диссидентов в избирательный бюллетень не включали, и бывший Секретарь МК КПСС Ельцин, знаменитый конфликтом с центральной властью, обрел безусловную поддержку. После победы над «путчем», объявленной революцией, сторонники демократии поддерживали Ельцина еще безусловней. А он, при всех своих свободолюбивых заявлениях, по типу и полноте власти сам был авторитарным правителем. Его размежевание с Верховным Советом два года спустя было спором двух властных групп не столько о том, как стране жить, сколько о том, кому править. Бравируя разрывом с КПСС, Ельцин отдал власть Путину из КГБ, а тот, свел на нет Совет Федерации и выборы губернаторов, возродив унитарность и вертикаль власти. Ельцин знал это наперед.

20

Самым тяжким следствием советских лет оказалась пустыня, открывшаяся за ними. Советский порядок перестраивали советские функционеры, люди волюнтаристского сознания, хоть и разного толка. Поэтому Конституция вышла авторитарной. Статьи о правах человека не защищают от грубых правовых нарушений. В Сталинской конституции тоже были статьи о правах, а пресловутой «шестой» даже и вовсе не было. Но Сталинская, не будучи законом прямого действия, стала Конституцией Большого террора, а нынешняя -- Конституцией Чеченской войны. Страну называют пост-советской, а до десоветизации, дебольшевизации, так еще и не дошло.

21

Россия и крепостничество не вполне одолела. Екатерина II уверяла, что, хоть ей крепостное право не отменить, оно через сто лет отомрет. Но сто лет спустя его еще только отменили, а пережитки держались еще шестьдесят. Потом его возродили колхозы, так и не дав крестьянам свободу. В Англии и Франции они воевали за свою землю, как добровольцы буржуазной революции. У нас их гнали на другие фронты, и результат иной.

22

Пагубность для России царской модели ясна по обилию покушений на царей, по трем революциям за пятнадцать лет, по расстрелу рабочих на Дворцовой площади, по участи крестьян, запечатленной не только Глебом Успенским и Решетниковым, но и Львом Толстым, и Чеховым и

Буниним. А пагубность ленинской модели доказана не только почти поголовной гибелью победителей от рук своей партии, но и гибелью от ее рук еще десятков миллионов беспартийных. Обе модели мешали взять верх буржуазно-демократической революции, возобладавшей в большей части Европы, установив там либеральные порядки.

Не то, что капитализм, переменившись со времен Маркса, стал прекрасен, но по его объективно-конкурентной природе ему нужна демократия, которая еще при феодализме, - с рождения английского парламента, позволившего выказывать свою волю не только королю, но и баронам, и свободным рыцарям и горожанам, - форма социального компромисса, и укрощает претензии на всевластие. Если всевластие возрождали, то ущемляя парламента, ломая социальный компромисс.

Тенденции к абсолютной власти не чужды и капитализму. Теоретически, за полной абсолютизацией сверхмонополий грядет тоталитаризм, не лучше социалистического. Но на практике государственная сверхмонополия, пресекающая объективную товарную соревновательность, стала бы самоубийством капитализма. А присущая рынку демократия, выявляющая разнообразие общественных позиций, обладает в борьбе с абсолютизмом явным преимуществом перед социализмом, чурающимся социального компромисса, опирающимся на диктатуру человека с ружьем, на команды, лагеря и танки против сограждан. Поэтому, при всех недостатках капитализма и демократии, все другое, как давно замечено, - куда страшней.

С демократией не спешили ни царь, ни Временное правительство, оттягивавшее выборы, ни большевики, насаждавшие единомыслие. Сражаясь меж собой, они сообща тормозили либеральное развитие. Если бы Учредительное Собрание избрали до Октября, - а на это было восемь месяцев, - большевики не смогли бы его разогнать и навязать стране губительный «военный коммунизм». Страну потом откачивали НЭПом и разоряли коллективизацией. Отступив до Волги, она с дугласами и тушонкой выиграла страшную войну, а конкурентного военно-технического прогресса силовая советская модель не вынесла.

23

Горбачев вел страну не к либеральной демократии, а к мифическому «социализму с человеческим лицом». Он сохранил незаконные возможности «органов безопасности», - и они смогли, хотел он того или не хотел, начать пресловутый «путч». Ельцин, казалось, шел дальше, вышел из КПСС и вторил буржуазно-демократическим лозунгам. Но отбросив советскую идеологию и власть партии, он берег «органы безопасности» и после «путча». Изменив обличье государства, Ельцин оставил его диктатурой номенклатуры, даром что сменив социальную демагогию на национальную. Отцом русской демократии не стал и он.

Горбачев в преддверии перемен допустил всенародное избрание Президента РСФСР, а Ельцин на полгода вперед назначил желанного преемника «Исполняющим обязанности Президента», обеспечив ему этим победу на выборах. Горбачев затянул решение национальных проблем, чем Ельцин воспользовался, чтобы избавиться от Союзного верховенства над РСФСР и над собой. Отпуская союзные республики,

он изображал роспуск империи, но на деле ее недораспустил. Желая быть русским национальным лидером и главой Федерации, он не признал, что, если чеченцы претендуют на самоопределение, а другие о нем мечтают, то Российская Федерация сможет мирно уцелеть лишь как союз самоопределившихся субъектов, а убыточным областям самоопределение не по силам, это общее дело русского народа, который вправе иметь в составе Федерации демократическую Русскую республику, где края и области сами себя кормят. Считая свой народ, по советскому примеру, имперским и экстерриториальным, Ельцин начал войну с Чечней, уведшую Россию от мелькнувшей было демократии. Власть перешла от партийной верхушки к «органам безопасности», не подконтрольным уже даже партии, как еще при Горбачеве, не говоря о Брежнев и Хрущеве. Да и при Сталине чекисты незаконно действовали по указаниям и под личным контролем генсека партии. Чекистские «тройки» расстреливали безвинных, но Сталин и чекистов легко стрелял. А Ельцин, поставив Путина президентом, сделал чекистскую власть абсолютной и бесконтрольной, и она беззастенчиво повлекла страну вспять.

24

Пути президентов определялись и размерами компенсаторных ресурсов, без которых советский строй нежизнеспособен. Будь в 1985 цены на нефть нынешними, Горбачев мог бы и не стать генеральным секретарем, да и став, мог бы о перестройке не думать. А держись ныне те цены, и Путин вел бы себя иначе. Беда не в том, что выросли цены на нефть, а в том, что советский строй перестраивали коммунисты и чекисты, желавшие его спасти, а не одолеть.

Пора признать, что основу они спасли. Империя, хоть и уменьшилась, опять хочет быть сверхдержавой и вернуть потерянное. Убив каждого четвертого чеченца, она развеяла надежды сепаратистов на освобождение своих народов. У русских тоже по-прежнему нет права на самоопределение. По-прежнему централизована власть, не только политическая, но и экономическая, «олигархи» ей подконтрольны. Контрасты в уровне жизни растут, более трети за пределом бедности. Чуть не десять миллионов жителей РСФСР уехало за рубеж, хотя евреев и немцев меж них меньше миллиона. Власть сетует на спад рождаемости, для развитой страны обычный, но молчит, что мужчины не доживают до пенсии. Социальная помощь государства скудней даже нищей советской. Главное событие минувших лет - отказ от лицемерной советской идеологии. Поэтому больше бесстыдства и цинизма. Но свобода слова и печати, реальность выборов или социальных гарантий не выжили. Система устояла, - пока росли цены на нефть, чекисты не теряли времени.

25

Обвал коммунистического миража, несообразного с развитием науки и производства, не вывел Россию на либеральный путь, но поверг в растерянность. Марксистско-ленинский камуфляж, в котором большевики брали власть, давно тяготил заведенный ими

тоталитарный режим. Советская идеология не давала ему альтернатив, хозяйственные реформы возвращались к внеэкономическому давлению. Но и сбросив старую идеологию новая номенклатура не ушла от старых привычек. А люди, потеряли иллюзию осмысленности своей жизни, и наблюдая реальность, видят, что пошли, как у Гоголя, дни без чисел, которые лишь бы прожить. Порой всплывает наше вечное: «Что делать?» Но и решив, что ничего не поделаешь, можно лишь, по давнему слову поэта, смеяться и понимать.

ЗАБЫТАЯ АЗБУКА

1

Двадцатый век был схваткой капитализма и социализма. Но мало кто замечал, что доводы социализма (и сталинского, и гитлеровского) против капитализма вторят доводам феодальной реакции, тормозившей его приход, мало кто различал в тоталитарном социализме черты феодального абсолютизма, Многие выводили борьбу за социализм из борьбы за социальные гарантии. Но победивший социализм гарантии сокращал. Числимое в XIX веке левым, стало в XX веке зеркально схоже с числимым правым. В борьбу с Западной Европой и Северной Америкой вступали все новые и новые феодальные движения, надеявшиеся, разжившись техникой, взять реванш.

Падение берлинской стены назвали концом холодной войны. Но, не зная, что сказать об 11 сентября, «международный терроризм» осуждали, не пытаясь сыскать его социальные корни. Так вели войну. Даже не холодную, но не выяснив за что, какую и с кем.

2

Капитализм возник, как свобода. Как свобода частного владения и полной собственности, не частичной, как при феодализме. Свобода прекратила внеэкономические зависимости, понуждавшие работать на того, от кого зависишь. Свобода дала ощутить личную рабочую силу и силу своей частной собственности, право продать ее кому хочешь. Принудительный труд был обязанностью, а наемный - возможностью. Рынок рабочей силы – образ капитализма. На рынке рабов и крепостных их продают и покупают, как чужую рабочую силу, на буржуазном – свою.

Наемным трудом, наряду с подневольным, пользовались и прежде. Но стоимости подневольной и свободной рабочей силы не адекватны ценностям, созданным той и другой. Свободный рабочий, как правило, жил и работал лучше, чем платящий оброк, не говоря о закрепощенном. Свобода давала рабочей силе правовое равенство.

Но свободу и равенство, не устроишь разом на всей земле, они возникают в разных краях с их рынками, на которых сплачиваются в единые народы и национальные государства. Свобода (то есть, уважение к личности и частной собственности), равенство (то есть, правовой порядок и независимый суд) и братство (то есть, национальное государство и представительная система) -- основа развитого капитализма. Но это вовсе не царство божие на земле. В силу

частного характера отношений его стабильность нуждается в гарантиях, в страховке. Черчилль говорил, что демократия - плохая организация общества, но остальные еще хуже. Так и с капитализмом. Это, конечно, плохой общественный строй. Но другие еще хуже и менее продуктивны.

3

Давно возник соблазн создать «хороший» строй. Феодал подчинял работника своему хозяйству и государству. А капиталист распоряжался лишь хозяйством, но не государством. Маркс ошибся, решив, что капитализм ведет рабочих к полному обнищанию, подрывающему развитие. Потому и звал рабочих взять власть и отменить частную собственность, но не уточнил, кто хозяин всеобщего хозяйства.

4

Наемному работнику не сразу очевиден прок от свободы, равенства и братства. Можно продать рабочую силу, но спрос не беспределен. Ленин отверг мысль Маркса, что революция произойдет разом во всех высокоразвитых странах. Он считал феодализм «слабым звеном», которое легче прорвать. Прилагая утопию Маркса к реальности Ленин не оглядывался на уровень капиталистического развития. И скромное оно казалось ему залогом капитализма который он одновременно считал возможным пресечь, не дожидаясь его торжества. Отвергнув феодальную империю, он сменил феодалов и капиталистов на партийных комиссаров и командиров, ни при нем, ни при Сталине, не отвергавших, а крепивших государство. Верхушка партии, номенклатура, стала правящим классом, распорядителем имущества страны. Люди попали в круговую зависимость от колхозного крепостного права и прописки по месту жительства. Да еще каждого приписали к какой-то нации, закрепив национальное неравенство.

Лениным двигал не злой умысел, он хотел, как лучше. Но свои понятия о воле и власти он перенял у самодержавия. Да и российская буржуазия после отречения царя не спешила созвать Учредительное собрание. Восемь месяцев Временному правительству было недосуг. Захватив власть, большевики провозгласили Декрет о земле и Декларацию прав народов России, отвечавшие давним массовым требованиям, и провели выборы. Но, получив в Учредительном собрании лишь четверть мест, в январе 1918, едва оно собралось, совершили контр-революционный переворот и сразу его разогнали.. Иллюзии Маркса и воля Ленина обернулись советским тоталитарным строем, отнявшим у людей право на себя. В застрявшем феодализме так бывает нередко. Не только под знаменем марксизма и коммунизма.

5

Спорят, обрекала ли сама внеэкономическая, волюнтаристская природа новофеодальный абсолютизм стать тоталитарным, или просто «ошибочка вышла», номенклатура зарвалась с гонкой вооружений. Пора, дескать, исправить ошибки и «строить коммунизм» дальше.

Горбачев, пришедший уже при кризисе, тоже не вышел за пределы признания ошибок, не завел даже новый НЭП и больше дал политических, чем экономических вольностей. Его соратники, рассудив, что советской власти гласность не менее опасна, чем реальный рынок, вывели на московские улицы танки. Но открытая стычка с заполнившим столицу народом не дала удержать страну в советской форме.

6

Президент РСФСР Ельцин, на съезде КПСС публично из нее вышедший, изобразил антисоветчика. По его инициативе расторгли договор 1922 года о Союзе советских республик. Они стали независимы, и в автономиях РСФСР тоже возникла тяга к самоопределению. В национальных автономиях власть хозяйствовала, как в колониях, и культуру ограничивала. Но в самоопределении нуждались и русские.

Утраты русской культуры при всеобщей насильственной русификации – кажутся парадоксом. Насажение русского языка обернулось его обеднением. А отсечение властью неугодных ей слоев культуры сильно сказалось и на русской, имевшей что терять. Культура, в XIX и начале XX века догнавшая европейскую, теряла больше, чем обретшие письменность лишь при советской власти.

Сказалось и переустройство хозяйства. Крестьянство, - при царях его основу, - в СССР ликвидировали «как класс», обратив в колхозных батраков и вытолкнув на заводы. А военную промышленность не увязывали с внутренними нуждами страны, вот ее поныне и кормят больше добывающие, чем наукоемкие отрасли. В советской империи русские числились «первыми среди равных», но русские края и области ни вместе, ни порознь, не стали метрополиями, ею была растущая столица. «Титульный» народ геноциду не подвергали, но в хозяйственной сфере он терпел не меньше «автономий».

Поскольку время империй прошло, жила надежда, что и автономии обретут реальное самоуправление, и русские смогут создать демократическое национальное государство. Эта надежда сперва придала Ельцину популярность. Он привлекал самой своей фигурой обаятельного русского мужика.

7

Но надежда не сбылась. Власть не различала целостность империи и целостность национального государства. Она смотрела на бывшую РСФСР, удержавшую множество автономий, как на уцелевшее ядро СССР, и под предлогом целостности еще упрямей Советской власти считала Россию унитарной и, тем самым, самодержавной. Она противилась отделению русского демократического национального государства, которым была беременна еще революция 1917. А получив самостоятельность, автономии вряд ли бросились бы врассыпную, -- в обозримое время большинству их такое вряд ли выгодно, -- и охотно вошли бы в Российскую федерацию вместе с национальным русским государством. Но для этого ему самому надлежало приблизить свои порядки и отношения с бывшими колониями к либеральным нормам, и,

не оставшись опорой феодального и новофеодального сознания, возродить не просто Советский Союз, а русскую свободу. .

Ельцин, хоть и говорил республикам: «Берите столько суверенитета, сколько проглотите», демократическое самоопределение не совершилось. Учредительное собрание на деле не созвали. Ни президента, ни Верховный Совет, наново не выбрали. Никаких принципиально новых институтов, кроме разве Конституционного Суда, не завели. Явочно отпали иные запреты, но власть осталась у прежней номенклатуры. Новая Конституция, дав безмерные полномочия президенту, записала, правда, и за гражданами права, но они были и в сталинской Конституции. Покуда власть бесконтрольна, Конституция - лишь листовка и фиговый лист, и законной силы не имеет.

Управление осталось двойным: администрация президента из здания ЦК КПСС правит напрямую, наряду с Советом министров. Представительные органы сладили так, что Путин в два приема смог произвести государственный переворот: разрушил Совет Федерации и назначает глав ее субъектов, чем федеративность фактически сведена на нет. Федеральное собрание после последних выборов не отличить от Верховного Совета. Уходят и гражданские свободы, еще дозволено читать и ездить за рубеж, но это пресечь не трудно.

8

Сперва Запад, закрывая глаза на «пережитки социализма» нарушающие права человека, охотно подпевал мифу о демократии в России. Но ожидавшиеся с 1991 года демократические порядки у нас не только не установились, но были вывернуты вспять и в сторону. Страна шумно повернулась на другой бок, и осталась на прежнем месте. В ней по-прежнему новофеодальный режим, только другой. Цены на нефть, к счастью для него, выросли. Но чтобы выйти из кризиса, этого мало, А, поскольку в российском сознании «демократия» и «запад» -- синонимы, власть во главе с президентом, как в былые годы, оправдывает свой отказ от демократии антизападной риторикой.

Но Запад и это не смущает. В декабре Николае Кристоф писал в «Нью-Йорк Таймс», что фашистская Россия гораздо лучше коммунистической, поскольку коммунистическая экономика обречена, а фашистская, дескать, была эффективна и при Франко в Испании, и при Пиночете в Чили. Но при Тито в Югославии и коммунистическая была эффективна. Стоит помнить, что правило, по которому экономика при демократии развивается все же успешнее, чем при тоталитаризме, все они обошли за чужой счет. Чуть осторожней, именуя российский порядок лишь «полу-авторитарным», в январской книжке «Форин полиси» его хвалит Анатолий Ливен, да и другие хвалят. Но нам демократия нужна не напоказ, а чтобы власть не зарывалась.

Внезапное западное сочувствие пренебрежению России демократией можно, конечно, объяснять надеждой заручиться поддержкой ее властей на международной арене. В свое время Запад закрывал глаза и на внутренние дела Германии, с которой пришлось потом воевать. Но беда не только в стратегической наивности подобных расчетов. Россия уже вела тоталитарную игру, на ней доселе

сказывающуюся. Опять упустив шанс перейти к экономическому образу жизни, она выпадает из круга развитых стран. Власть, подобно советской, озабоченная лишь вооружением, на это готова. Но стране это грозит обвалом. Сменить коммунизм на фашизм не лучше, чем его сохранить. На «оранжевую» революцию надежд немного. Чекисты президента способны с ней совладать. Или пойти на компромисс с другими слоями правящего класса, -- с певцами либеральной империи при чеченской войне, со старыми бюрократами и с открытыми российскими нацистами. Но едва ли то или иное обойдется без крови.

9

Говорят, в России капитализм. Его возводят к «либерализации цен», проведенной, чтобы вынудить граждан оплатить своими сбережениями многолетние непродуктивные расходы обедневшего государства. А она даже на показной слом государственной монополии производства не посягала. Но ввела «приватизацию», названную «разгосударствление», в ходе которого государственное имущество, числившееся общенародным, хоть не народ им распоряжался, объявили частным. Если раньше номенклатура была коллективным владельцем имущества, но распоряжалось им руководство, теперь владельцами могли стать отдельные лица, получившие право распоряжаться, но под контролем все того же руководства.

На Западе капитализм рос из массовой частной собственности, преимущественно крестьянской, и гигантские корпорации возобладали лишь в XX веке. Когда разразился кризис иррациональной советской монополии, наши «приватизаторы» начали с конца. Распродать убыточные предприятия за деньги, в них некогда вложенные, нечего было и думать. Иностранцы покупали плохо, ввиду отсутствия надежных законов. Крупные производства за бесценок раздавали людям, названным потом «олигархами». Ждали, что они наладят производство и умножат рабочие места. А для создания и защиты массовой крестьянской или средней промышленной собственности не сделали ничего. Не было установки на живую стихию капитализма. Говорили: «Революция!», но не признавались, в чем она состоит. Лишь веселый министр финансов улыбался: «Надо делиться!»

Картину прояснил Путин. Гусинского, не поддержавшего его назначения президентом, посадили в Бутырки, лишили миллионов, и он уехал. Березовскому, стоявшему за Путина, в надежде направлять его политику, тоже пришлось уехать. А Ходорковского, поверившего в приватизацию, в то, что собственность, объявленная принадлежащей ему, действительно, принадлежит ему, обвинили в недоплате налогов, имущество отобрали и дали срок. А послушные «олигархи» -- в порядке.

«Олигархи» числятся частными собственниками, но остаются таковыми, пока угождают власти. Их собственность -- условна, а на деле принадлежит власти. Понятно, в феодальном, а не буржуазном смысле. Они не капиталисты, а откупщики! Их сделки с государством не рыночные! А фермерам и средним предпринимателям так и не дали быть капиталистами, опасаясь, что это укрепит местные и региональные

центры. А у нас и в советские времена все решала столица. На то и империя, то бишь, вертикаль.

10

Советское монопольное производство определял не платежеспособный спрос, а решения партии. Смотрели не на доход одного предприятия, а на общую сбалансированность всех. Ее удерживали искусственные тарифы, и цены и зарплаты, ниже прожиточного минимума. Прекращение компенсаций убыточных производств, не выдерживающих конкуренции импорта, лишило этого минимума большинство. Империя перестала выполнять обязательства перед людьми.

А о социальных гарантиях, опоре современного капитализма, и не думала. Привыкла, что карательный социализм ими пренебрегал. При Сталине пенсии были ниже нынешних, и безработные не получали пособий. Бесплатный проезд старикам дала лишь перестройка. Ныне жалкие льготы срезает монетизирование и дополнительно срезает инфляция. Сносно оплачиваемая работа – у немногих. Такое хозяйство обогатило 10-15% жителей, помимо государственных аппаратчиков, остальные обеднели.

То, что за пятнадцать лет не начался промышленный бум, показало, что к капитализму мы не перешли. У большинства пропала надежда на себя. Осталась лишь на доброго царя, на патернализм. Возвращается феодальное сознание, которым держалась советская власть. А смену порядка мыслят очередной катастрофой или, очередной революцией.

11

Условная собственность, дающая реальные дивиденды, объявилась еще в СССР. Должность в партийно-государственном аппарате дает доход не хуже поместья. Доход идет правящему классу из партийно-государственной казны. При Сталине парт-аппаратчикам порой давали конверты с деньгами без расписки. Порой номенклатура сама брала. Но за самовольную коррупцию могли и наказать. А ныне на то и должность, чтобы чиновник себя обеспечил.

Но не только себя. На Западе иной чиновник тоже поставляет армии не лучшие товары, а той фирмы, которая платит ему. Но наш часто и не может поступать иначе. Ему тоже «надо делиться». И такие доходы правящего класса подпирают власть не слабей, чем прямые налоги. То есть, государство у нас по-прежнему не правовое, оно распоряжается, пренебрегая правом. При демократии коррупция – опухоль на его теле, но при авторитарном правлении она не нарост, а хребет. На Западе действует коррупция подкупа, а в России – коррупция вымогательства. Вертикаль казенных учреждений тоже «приватизируется», должности служат личным нуждам. Но пока права зависят от благоволения свыше, невозможен объективный суд, способный выяснить, соблюдается ли закон. Считать такой порядок капитализмом нелепо. Видимости частной собственности для этого недостаточно. Гласная демократическая защита права такому порядку -- помеха. Он провозглашает «диктатуру закона», то есть бесконтрольную вертикальную власть над всем

происходящим. При этом вертикаль государственных учреждений на деле, хоть и не формально, приватизирована, и ее служащие могут действовать, как вздумают, лишь помня о вышестоящих.

Теперь государство «приватизирует» даже идеологические программы, которые не хочет излагать открыто. На демократическое слово смотрят косо. Но клевета свободна. Пропаганде незаконных действий препоны нет. Говорят, к примеру, что больше нет государственного антисемитизма. Но антисемитизм «приватизирован». А газетные киоски свободны. И ни продавцов разоблаченной фальшивки «Протоколы сионских мудрецов», ни вторящих ей депутатов, генералов и журналистов в клевете не обвиняют. Ведь они союзники власти в сопротивлении русской демократии. Они любят ее противоположность, -- империю, чем и пленяют. Хоть антисемитизм формально уже не государственный, вес его в государстве растет. Государство оформлено демократически, но его тоталитарная натура цела.

12

Говорят, русская власть поддерживает тоталитарные институты, опасаясь распада страны. Но Советский Союз распался не оттого, что был союзом, а, напротив, оттого, что союзом не был, а был унитарной империей, включавшей покоренные земли в единое государство. Народы Европы предпочли не создавать единую европейскую империю, но остаться Европейским союзом. А нам от имперского командирства никак не отказаться, вот мы и не становимся союзом, реальной федерацией. Хотим удержать Россию империей. Но, как признавались еще цари: у Российской империи нет союзников. Лишь армия и флот, да покоренные народы. На наши требования безоговорочно подчиняться они и отвечают сепаратизмом, и вне России, и внутри России. А компромисса власть не хочет. Иначе русофобия самозащиты бы ушла, и росло сотрудничество.

Между тем, чем глобальней мир, тем важнее ему терпимость к сепаратизму. Власть СССР и РФ норовит держать союзные и автономные республики на коротком поводке, не понимая, что он и вел к распаду СССР и чреват распадом России. У союзничества есть пределы за которыми оно рушится. Они проступают даже в Евросоюзе, явно улучшающем положение его участников. Но уже общая валюта увеличила взаимное напряжение, которое не всем посылно. Тем более оно растет при тоталитарном режиме.

13

Победив на поле боя Германию, а потом в холодной войне Советский Союз, Запад победил не немцев, и не русских, а новый феодализм, - не разные цивилизации, а единый тоталитарный социалистический тип общественного порядка. Схожий тип сложился и у исламских народов. Но и его корни не в самом исламе. Можно прикинуть, что произошло бы в христианской Европе XII века, еще не знавшей ни Реформации, ни Просвещения, обрети она вдруг на стороне мощное оружие, изобретенное другими. Великий кризис феодализма, из которого Нидерланды, Англия, Франция вышли успешно, Италия и Германия

через катаклизмы, а Россия не очень-то и вышла, охватил остальной мир, в частности арабский. В Ираке и Сирии партия БААС построила социалистический феодализм, а бок о бок с ними - фундаменталистские государства средневекового образца. Арабы, как в свое время русские, выбирают меж тем и другим, но не демократию, не капитализм.

Россия осуждает исламских террористов в Беслане и выгораживает своих, убивших в Катаре бывшего президента Чечни. Единого «исламского врага» явно нет. Масхадов и Бен Ладен не близнецы. В России у сепаратизма отечественные корни, -- нежелание власти преодолеть свой имперский синдром и стать на деле федеративной. Запад не видит, что под флагом ислама его атакуют нефеодалские силы, как в XX веке под флагами нацизма, фашизма и коммунизма. России это понятней потому, что она сама эти силы выкармливала и учила террору в советские годы. Но угроза ей не меньше, чем Западу.

14

Смены вывесок недостаточно! Мало издать закон, разрешающий свободное предпринимательство. Чтобы он работал, нужны свобода, равенство и братство, да еще и социальные гарантии. Нужны коренные перемены в общественном строе и образе жизни, которые под влиянием Реформации и Просвещения совершил Запад. Он оплатил свое развитие жестким самоограничением, начиная с падения рождаемости. Его клеймят за потребительство, забыв, что он-то первым и наладил массовое производство. Исламскому миру, как и России, для этого надо измениться не меньше. Понадобится своя Реформация и свое Просвещение, светский суд вместо шариатского, равноправие женщин, всеобщее образование, и сотни других перемен, делающих человека полноправным участником производства и рынка.

Феодалский порядок, старый или новый, мешает всестороннему развитию. Его правителям, как некогда советским вождям, нравится держать мир на прицеле, вынуждая себе угождать. Но прежние ракеты давали эффект уже наводкой на цель, а террористы по целям бьют. Раньше существовал взаимный контроль и ответ на маневры советских маршалов упреждающий удар, а ныне стратеги гадают, где террористы. Ситуация стала опасней холодной войны.

15

Чтобы пресечь зло, мало персонифицировать его в Бин Ладене. Надо помочь стремящимся перейти от феодализма к современному капитализму. В ООН, законодательнице мира, большинство голосов у феодальных и новофеодальных, часто диктаторских, режимов. Она и тормозит преобразование мира и поддерживает реакционные режимы, кормящие своих вельмож. Но помогать надо тем, кто сами стараются развиваться в экономическом пространстве, а проедающих помощь и с угрозами требующих добавки, предоставить их собственной участи.

Европейский союз не взял в свои ряды исламскую Турцию с начатым Мустафой Кемалем ее европейским развитием. Чудовищна история с приемом Северного (турецкого) Кипра при объединении острова.

Объявили, что обе общины примут вместе, а если турки на объединение не пойдут, примут лишь Южный (греческий) Кипр. На референдуме турки голосовали за объединение, греки – против, и в Евросоюз приняли греков, противников объединения. А кроме того, что они православные, а не мусульмане, нет причин. Вот мусульмане и не верят, что их сочтут равными, даже если они европеизируются.

Вроде бы в XX веке расизм, внушавший, что все инородцы плохи, заменили политкорректностью, по которой все хороши. Но и расизм, и политкорректность далеки от правового равноправия, различающего хорошее и дурное независимо от происхождения. Европа не глядит, отходят дальние страны от феодализма, старого или нового, или держатся за него. Ее не заботит, кому помочь, кому противостоять. Она не сознает перемен, конца которым не будет, пока продолжается жизнь.

Продолжается и русская история. Неведомо, как долго и куда поведет нынешний возврат к тоталитарным порядкам. Но чем он будет дольше, тем меньше шансов, что с новым кризисом страна совладеет лучше. Россия еще не определилась, но ее спасет не место в восьмерке, как сочли западные дипломаты, и не готовность убивать сограждан, как сочли российские силовики, а прощание с империей. Ей нужны реальная федеративность, если не конфедеративность, экономическая свобода, правовой порядок и социальные гарантии. А покамест пропасть меж властью и народом растет, и разговорами не обойтись.

ГАЙДАР И ЕГО КОМАНДА

1

Ельцин не сразу решил, какой станет РСФСР, названная Россией, и позвал править Гайдара, автора книги «Государство и эволюция».

2

Гайдар пишет: «начались «пожарные реформы» и была призвана команда «камикадзе». Нас позвали в момент выбора» (163*). Не сказано, правда, какой пожар тушили, какой выбор совершали, и что спасали. В этом российское общество, как и в понимании причин распада СССР, разошлось. Гайдар не был диссидентом, но считал, что кризис государственного, именуемого общенародным, хозяйства вызван внутренней борьбой правящей номенклатуры за свои доходные доли. Такая борьба и впрямь шла, поскольку «общенародное» хозяйство на деле было лишь общеноменклатурным, и номенклатура, как общий владелец общего целого и частных долей, распоряжалась скорей в своих коллективных и личных интересах, чем в государственных и, тем более, общенародных. Отстаивая в своем коллективном интересе примат частных долей, номенклатура, конечно, подтачивала хозяйство, но к катастрофе, вынудившей Политбюро ЦК КПСС выдвинуть Горбачева, вело не только это. Было еще иллюзорное представление

*цифры в скобках здесь и далее в статье обозначают страницы книги Гайдара.

номенклатуры об армии и военном производстве, толкавшее к подрыву других опор государства. Уже после Сталина Хрущев и Косыгин, пытались преодолеть неэффективность общего хозяйствования. Нужда в перестройке обострилась в конце семидесятых.

Явлинский и Шаталин разработали при Горбачеве программу «500 дней», предполагавшую за полтора года сделать советское хозяйство эффективным и обеспечить социальные гарантии. Поддержав на словах программу, Горбачев и Ельцин с ней не спешили. Они не были уверены, что планы экономистов не подорвут политическую систему и не лишат правящий слой власти. Возглавив позднее независимую РСФСР, Ельцин Явлинского обратно не звал.

3

В российском государстве на душу населения оказалось даже больше нефти и газа, чем в СССР, но распад хозяйственных связей грозил крушением. Нужны были чрезвычайные меры, чтобы удержать власть. Затем и позвали Гайдара. Он ввел свободу цен. Но, поскольку хозяйство оставалось монопольным, конкуренции в нем быть не могло.

Гайдару говорили, что при монополии производства свободе цен не сделать хозяйство рыночным. И он резонно спрашивал: «как они представляют себе демонополизацию, когда нет никакой рыночной среды, не действуют вообще никакие законы, ни административные, ни экономические?» (165) Но свободу цен без демонополизации разрешили. И пошел дикий рост цен с инфляцией более чем на 2000%.

Обесценивая деньги граждан, их вынуждали вторично оплачивать государственные просчеты, а государство своих долгов людям не платило. Взвинтив цены оно поставляло товары, по ценам, доступным немногим. Рядовых людей разорили, но власть разбогатела. В этом и был смысл гайдаровской реформ, сознавал это Гайдар или не сознавал. Но хозяйство не стало рыночным.

4

Чтобы стать, не хватало не либерализации цен, а хозяйственного плюрализма, демонополизации. Древность и средневековье вели обмен сработанного рабами и крепостными в хозяйствах еще не рыночных.

Хозяйство стало на деле рыночным лишь с распространением нового товара – рабочей силы, и появлением рынка рабочей силы, а не просто хлеба и даже рынка рабов. Капитализм начался не с «первоначального накопления» и гигантских компаний, а с найма богатым крестьянином батрака или богатым ремесленником подмастерья. Свободные люди, продавая свою рабочую силу, участвовали в рыночном хозяйстве наравне с их нанимателями, хоть в другой роли. Гайдар, однако, не заметил их общности. Он лишь восклицал: «Но ведь зарплату-то рабочим платить желательно» (166). А власть не стыдилась своего противоположного капитализму желания иметь рабочую силу, ее не оплачивая. Она не признавала что суть рыночных отношений -- взаимность, и задерживала зарплату.

5

Капитализм и либеральная демократия не могли пренебречь ни рабочей силой, ни надежностью сбережений, Они все отчетливей сознавали, что без компромисса ни капиталисту, ни рабочим, не устоять. А где не сознавали, вырастал тоталитарный режим.

6

Уже в XVIII веке рабочая сила выступала не только как физическая сила своего носителя, живого человека. В новых средствах производства действовала умственная рабочая сила. Паровая машина, электромотор, и компьютер, велели пересмотреть взгляд на трудящегося. Как источник энергии его заменял не только рабочий скот, но и уголь, и нефть, и атом. Но как обладателя умений и навыков – не только станки, а и компьютерные программы. Производительность труда ныне часто растет не так от физического напряжения или совершенствования навыков, как от овеществляемых в средствах производства научных разработок. Изменились социальные отношения.

Пока рабочий продавал предпринимателю лишь рабочую силу лишь для физического труда, предприниматель, оплачивал ему прожиточный минимум, доход от прибавочного труда. Но по мере того как рабочий все чаще «снимает» с оборудования овеществленную там чужую умственную рабочую силу, питаемую к тому же в ходе производства не личной энергией, а паром или электричеством, его личный вклад в производство преобразуется, и предприниматель готов оплатить его рабочую силу не только полностью, но и с избытком, поскольку получит лишний доход от овеществленной рабочей силы. Пророчество Маркса о неизбежном обнищании пролетариата явно не вполне сбывается.

7

Гайдара осуждали за равнодушие к социальным проблемам, за то, что он проводил реформы как сугубый экономист. Это не совсем так. Именно экономика прояснила социальные отношения. Поскольку рабочая сила, живая она или овеществленная, принадлежит человеку, обществу не дано им пренебречь в хозяйстве. Об этом забыл не один Гайдар, но все советское хозяйство, что и вело его к банкротству. А Маркс как раз понимал взаимозависимость хозяйственных и социальных отношений. Его ученики из социал-демократов потому и отстаивали право рабочих на социальные гарантии. А Гайдар про зарплату помнил, а гарантий дать не мог. Их дает буржуазное общество, а в советском лишь воля партии.

8

Как монополизировать хозяйство – давно известно. Это сделали буржуазные революции, освободившие крестьян, даже если без земли, от личных, поземельных, судебных и других феодальных зависимостей. Одни стали предпринимателями, другие – наемными рабочими. Кто

предлагал рынку товары, кто – рабочую силу, образуя рыночное хозяйство. Капиталистическое.

При том уровне производства и науки, которого СССР достиг, пусть в немногих и чисто военных, но важных областях производства, переход к рыночным отношениям мог быть не так и сложен. Преимущество «революции сверху» перед стихийным взрывом в том и состоит, что поддерживаются порядок и законность, под сенью которых возможны независимые научные, производственные, практические организации, способные прибыльно конкурировать с государственными, успевая в своей стране и за рубежом тоже. Демонополизация равняет частника с государственным, что и спасает его от монополии государства.

9

Этого-то и не хочет российская власть, никого не желающая освободить от своего руководства. Поэтому, как заметил сам Гайдар, и не действуют наши законы. Под видом перемен власть формально обновила хозяйственные и политические формы советского порядка. Строй как бы уже не советский, поскольку не декларированы вмешательство партии и государственной идеологии. Но объявив частную собственность неприкосновенной, ей не дали реальной юридической защиты. Чубайс как бы уступил в частные руки крупнейшие предприятия и даже целые отрасли, но с условием, что новые владельцы подчинены государству. Нарушающих указания лишают права вести хозяйство. Строй, хоть не вполне советский, остается тоталитарным.

10

Егор Гайдар искренне хотел установить в России иные отношения, но номенклатура, из которой он вышел, хотела другого, а власть была у нее. Досадно даже не то, что молодой обаятельный интеллигент дал власти использовать себя как ширму, а то, что и задним числом он не увидел, что его старания не привели к свободным рыночным отношениям. И в итоге он поддержал передачу власти Путину, четко свернувшему права собственности, не то что либеральную демократию,

МЕТАМОРФОЗА

1

Иные сетуют, что обманулись в коммунизме, поверив Брежневу и Хрущеву, Сталину и Ленину, Энгельсу и Марксу. Еще Гамлет говорил Офелии: «А не надо было верить». Но вера сперва не была слепа. Многим не хватало внятных объяснений устройства общества. Да сперва и не обманывали. Маркс заблуждался, то есть, сам обманывался. Да и Ленин до революции и даже в Октябре – еще не обманывал, еще верил тому, что говорил. Еще не ощутил смятения, схваченного Петровым-Водкиным. Настаивая на своих заблуждениях, взяв власть, и, конечно, обманывал. Но Маркс и власти не брал.

Общественное сознание хочет правды, но обретает ее не в чистом виде, а в смеси с заблуждениями, которым тоже искренне верит. Правда проясняется в ходе постоянных споров и в меру того, как на деле конкретизируется. Религия и общественная теория живут частичной правдой, а разоблачать, как обман, их начинают, когда, став шаблонами мышления на все случаи и времена, они обнажают бессилие. Руссо точнее других обозначил принципы буржуазного общества, но, видимо, ужаснулся бы его несходству со своими стремлениями. Маркс серьезней других говорил о переходе к коммунизму, но и он бы испугался на Лубянке и в Гулаге. Мыслитель не властен предусмотреть, как его перетолкуют.

2

По рассадке депутатов во французском Национальном собрании, слова «левый» и «правый» обрели политический смысл. В XVI – XVIII шла самая коренная перестройка человеческого общества. Насаждая наемный труд вместо подневольного, буржуазия изменила социальные отношения, и центром общественной жизни сделала рынок труда. «Левыми» слыли сторонники свободного рынка, равенства и братства, а «правыми» сторонники зависимостей, присущих феодализму, то есть, насилия и запретов. Левых звали либералами, правых – консерваторами

3

Буржуазный строй не воплощение справедливости. Продавцу рабочей силы грозит безработица. Рабочие и предприниматель сообща производят доходный товар, но доход идет предпринимателю, а рабочему лишь оплата рабочего времени. Еще никакой Маркс не додумался до прибавочного рабочего времени и прибавочной стоимости, которую создавал рабочий и удерживал предприниматель. Но уже то, что положение соучастников в общем деле различалось не одним размером оплаты, но разной мерой ее надежности, породило рабочее движение за социальные гарантии. Это движение за полную оплату рабочей силы считали даже более левым, чем буржуазное за свободу.

4

В социал-демократическом рабочем движении обозначились два крыла. Одни были за социальные гарантии, за короткий рабочий день, за полную и высокую заработную плату. Они хотели преобразить буржуазный строй. Другие хотели его уничтожить, и были против наемного труда и частной собственности, хотели, чтобы все было общим, а общество коммунистическим. Они звали себя коммунистами. Они считали себя более левыми, чем социал-демократы.

5

О справедливом обществе мечтали издавна. Библия рисует эту мечту, как царствие небесное. Люди считали, что столь же справедливой

можно сделать земную жизнь. Нередко это были хорошие люди, они обличали реальное зло, нищету и несправедливость человека, еще в древности, как библейские пророки и Иисус из Назарета, еще в феодальном и потом в буржуазном мире. Долгое время жила мечта о коммунистическом обществе. Но в 1917 коммунисты захватили власть в России. Потом, где с ее помощью, а где и самостоятельно, коммунисты пришли к власти, -- в Китае, в странах Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Еще сегодня множество партий и движений этого хочет. Однако теперь видны практические результаты этой мечты.

6

Либералы, защищали буржуазное общество от феодального реванша, внедряли в него новые представления о свободе и законности и способствовали развитию частного хозяйства. Они определили пути эволюции буржуазного общества, и их противники, консерваторы, понемногу отступали. Ныне либеральные партии не самые влиятельные на Западе, но общество в целом стало либеральней.

Социал-демократы, выступали как критики буржуазного общества. Отстаивая интересы миллионов рабочих, они внедрились понимание того, что производство – общее дело всех его участников, а не только владельца, и должно служить не только ему одному, а всем, сообразно с ценностью трудового вклада каждого, которую не вполне компенсирует почасовая оплата.

Многочисленные риски предпринимателя смягчает страховая система. Социальные гарантии, распространяющие страховые по сути обязательства на всех участников производства, а не только на его собственников, отвечают природе буржуазного общества, и не рушат, а укрепляют буржуазный строй, расширяя возможности всех граждан. Социал-демократы научили общество видеть не только противоположные, но и общие интересы капиталиста и рабочего, соотносить одни с другими. Отсюда и двухпартийные системы: партия владельцев производства и партия наемного труда полемизируют о компромиссах.

7

Коммунисты упраздняют буржуазное общество, его свободы, его законы и его компромиссы. Но выходит не то, что обещано. Собственность отбирают, но не раздают рабочим, а поручают распоряжаться производством обезличенному государству. Оно становится гигантской сверхмонополией, в которой нет уже буржуазной конкуренции за то, чтобы товар был лучше и дешевле, чтобы его охотней покупали и он принес больше дохода. Стихия уходит, наступает порядок, при котором все определяет начальство, даже не просто заводское, но государственное. Соответственно и люди должны, прежде всего, соблюдать предписанный режим. Будучи в оппозиции, коммунисты ратуют за демократию, но придя с ее помощью к власти, насаждают не свободу, а ограничения, не равенство, а зависимость, не братство, а насилие. Но все еще слывут «левыми», хоть от прежних «правых»

отличаются лишь лексикой. А поскольку они имеют успех преимущественно в еще полуфеодальных странах, проясняется, что они на деле строят под именем коммунизма.

8

Кризис феодализма в Нидерландах, в Англии, во Франции, привел к буржуазным революциям и расцвету буржуазного хозяйства. В Германии, или в России или в Китае вышло иначе. Происходившее там толковали как плод общего кризиса капитализма, и тогда не преобладавшего, хоть и владевшего колониями. Ныне вчерашние колонии сами вышли на мировую арену и видно, что на деле это всеобщий кризис феодализма. Когда из него выросли Нидерланды, Англия, Франция «левые», либералы и социал-демократы, при всех их различиях, отстаивали там либеральную демократию и участие рабочего класса в буржуазных «отношениях, как правомочной стороны. А Ленина бесило «обуржуазивание», И коммунисты, «еще более левые», по-новому реставрировали феодальные порядки, их ожесточая.

Они вернули наемный труд к уровню подневольного, упразднили рынок рабочей силы, остановили свободное ее перемещение по стране туда, где в ней спрос, широко практикуя так называемый «оргнабор» и активно используя труд заключенных. Но не меньшее значение они придали техническому перевооружению, заимствуя у западных стран машины и оборудование и внедряя их в давних традициях насилия, зависимостей и ограничений. В тех же традициях ищут выхода из кризиса возникшие рядом схожие движения в других странах, ныне в арабских и в Латинской Америке. «Еще более левые» верят в торжество нефеодальной системы и силятся не вырваться из нее к буржуазному развитию, а придать ей техническую мощь капитализма, и угрозой войны одолеть буржуазный мир.

9

Утверждая, что технический прогресс создает возможности социального прогресса, марксисты правы,. Но они забывают, что надо и социальному прогрессу поспевать, как в тех же Нидерландах, Англии и Франции. А феодальный порядок, перенимая технику, внедрял ее привычным насилием и, - отчасти даже с ее помощью, - тормозил социальный прогресс. Сама по себе техника – еще не социальный прогресс. Петровская крепостническая Россия перенимала машинное производство, но лишь полтора-два десятилетия спустя, в Крымскую войну, обнаружилось, что русское и англо-французское вооружение не равноценны, и виной тому крепостное право. Социальные препоны мешают всецело овладеть техническим прогрессом, но до поры внедрять его можно, и вооруженные им тоталитарные режимы дают прогресс социальный. Так оно выходит под «левым» знаменем.

10

О социальном порядке судят по тому, кто владеет средствами производства. Ими владели и Демидов и Форд, но порядки были разные. Хоть и важно, кто владеет машиной, еще важнее, кто владеет рабочей силой. Демидов вполне ею владел, рабочая сила его крепостных принадлежала ему, а не им. А Форд покупал рабочую силу у рабочих, которые ее продавали на время и на определенных условиях. К тому же, за Демидовым была милость государя и до поры - монополия, а Форда раздражали конкуренты. На вершине успеха, он даже симпатизировал Гитлеру, но ему бы не добиться успеха, не будь свободного буржуазного хозяйства. А Демидов не думал об ином, чем феодальное.

11

Буржуазный строй утвердился до машины, но она его изменила. Она, во-первых, умножила ценностный вклад природы в производимый товар. Долгое время главным творцом его ценности, считалась физическая сила рабочего. Не то что, используемых богатств природы не замечали. Земля, как признавал Маркс, современ собирательства служила всеобщим предметом труда. Но Маркс не учитывал природный материал, входивший в товар как ценность. И точно так же не брал в расчет традицию, вносившую в сельское хозяйство и в ремесло умственные наказы, равно как и сообразительность самого капиталиста. А в машине, во-вторых, руки рабочего направляла уже не традиция, шедшая из уст в уста, а сам механизм делал добрую половину того, что должно. В нем овеялся умственный труд его изобретателя, умственный источник ценности.

12

Производительность машинного труда все меньше зависит от физического напряжения и даже совершенствования навыков рабочего. Ее повышают научные открытия, овеяваемые в средствах производства, умственные источники ценности. Они повысили и природный вклад в энергетику, умерив паровой машиной и электромотором долю физической силы рабочего, как источника ценности. А по Марксу ценность энергетического и прочего, сырья сводилась к оплате труда по его добыче, словно, где трубу ни воткни, хлынет черное золото. Но нефть дорожает, показывая ограниченность природных источников ценности.

13

Не сбылось и «обнищание пролетариата». В промышленных странах рабочие стали жить лучше. Теперь не так рабочий физически создает товарную ценность, как питаемая природной энергией машина, овеявшая умственную рабочую силу, а «физический» рабочий лишь «снимает» ею создаваемое. Без него еще долго будет не обойтись, но его доля в сотворении ценности сокращается, и капиталист,

располагая природными ценностями и овеянным умственным трудом, может платить рабочему столько, чего Маркс не предполагал.

14

Но машина вышла за пределы буржуазных стран. Феодальные ее покупали, перенося в свои социальные обстоятельства, где и предприниматель и рабочий кругом зависимы, а свободной конкуренции нет. Такой феодально-промышленный уклад именуют «переходным», «временным», хотя ныне он распространен едва ли не на большей части планеты. Отношения источников ценности меж собой и сами их возможности там иные. Там и монополистом стать легче. И природа, которой распоряжается властитель-покровитель, доступнее. И умственный труд почти бесплатен, если науку творят в отечественных казенных учреждениях. И можно купить зарубежную машину, не тратясь на фундаментальные и прикладные исследования. И платят рабочему заведомо меньше, чем в буржуазных странах, поскольку при распаде феодализма предложение рабочей силы выше спроса.

Отсюда - периоды бурного развития, какое в России наблюдалось в начале XX века. Однако, в отличие от первых буржуазных стран, дороживших внутренним рынком, феодальная промышленность ориентирована на спрос государства. Капиталисту тут важна платежеспособность не граждан, а государства, и нет ему нужды «судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет». Он не простой продукт производит, его дело – военное производство, которое и делает феодально-промышленные державы не слабей буржуазных.

15

Но их внутренние противоречия удваиваются. Свободный буржуазный строй укрепляют социальные гарантии и развитие науки. Было бы сырье да спрос на товары. А при полуфеодальном порядке сельское производство остается внеэкономическим, бедствующие массы крестьян в избытке предлагают промышленности рабочую силу и там, соответственно, снижают заработную плату. Кажется, что и рабочие и крестьяне страдали от буржуазных отношений, а на деле от того, что эти отношения утверждались в русской деревне слишком медленно, под бременем крепостного права и навязанной сельской общины.

У «правых», отстаивающих феодальные преимущества дворянства, нет выхода из такой ситуации, но его нет и у «еще более левых», отвергших буржуазное развитие. Они учреждают колхоз как дворянское поместье с барщиной, и административно регулируют отток крестьян, чтобы не повышать зарплату в городе. Как бы воскрешают феодальные отношения, называя их социалистическими. Меняется разве что персональный состав привилегированного класса.

16

Наш новофеодальный порядок пленял «левых» в разных странах. Нам подражали не только под социалистическим, но и под националистическим флагом. В диктатурах Муссолини и Гитлера жили оба мотива. Да и в России партийно-государственный шовинизм прорезался, уже с образованием СССР. Но и в западных демократиях советский порядок неадекватно оценили не только «еще более левые», но и многие просто «левые» интеллектуалы.

17

Неприязнь к буржуазности отвлекает «левых» от феодальной природы социализма и мешает им, хотя бы следуя Марксу, отдать должное заведенным буржуазией общественным институтам. «Левая» интеллигенция ощущает, что обделена, - в производстве растет доля ее умственного труда, но не его компенсация. В куда большей мере, чем рабочий класс, она числит капиталиста грабителем, и часто обосновано. Но ей трудней, чем рабочему домашних времен схватить его за руку. Наука и технология создаются множеством людей и точно оценить вклад каждого при существующей системе оплаты труда невозможно. Для этого надо менять систему, надо фиксировать каждое открытие, и за каждую копию, воспроизведенную в машине или технологическом процессе, платить авторские. Тогда ученый, или часто коллектив ученых, наряду с капиталистом и рабочим, тоже станет участником рыночных отношений. А иначе ему симпатичней порядок, где отвлеченный научный труд оплачивает щедрый правитель. Феодализм успешно паразитирует на робости буржуазного развития. И «левое» движение, противостоявшее феодализму, ныне его укрепляет.

18

Но довольно ли обществу и хозяйству принципа «все на продажу»? Хватит ли ему социальных и страховых гарантий? Наивно надеяться, что можно все наперед просчитать, и общество способно работать, как часы, которые не переводят в марте и в сентябре. Сторонники инвестиций и сторонники гарантий обречены спорить. Ратуя за гарантии в буржуазном обществе, «левые» полезны. Но важно, чтобы решение, поддержать ли ныне партию гарантий или партию инвестиций, оставалось за гражданами, а не за «левыми» комитетами, грезящими социалистической диктатурой, даже и гарантии сводящей на нет.

Важно и другое. Человек не сводим к корысти, иначе он - уже не вполне человек. Но к ней вынуждает потребность выжить, вырастить детей. Все ли силы и способности корысть при этом отнимает, и можно ли, хотя бы отчасти, быть собой при полном бескорыстии? Ни рабу, ни крепостному, на это не хватало сил. А феодальный социализм не позволяет быть собой. Выходит, терпимая перспектива сохраняется лишь в буржуазной свободе, защищенной законом.

Когда-то путь к ней проложили «левые». Но ныне они, не слабей оголтело «правых», строят людей в шеренги, вытаптывающие будущее. Крайности сошлись. Сталин и Гитлер побыли союзниками, товарищами. Война и вероломство это не зачеркнули. Да и крушение СССР не вызвало переоценки ценностей. А пора, простясь с феодальным наследством, различать расстановку социальных сил. Слова «левый» и «правый» о ней не говорят, они уравнились, потеряв смысл. Различие заметно лишь тем, что консерватизм и реакционность «правых» - откровенно бесстыжи, а консерватизм и реакционность «левых» прикрыты демагогией и ложью, само понятие «левый» обращающими в обман. Между тем, общество нуждается в новых «левых» в старом смысле. Но их нет, и неизвестно, как их обозначать.

ТЕХНИКА И СВОБОДА

1

Толерантность – всего лишь вежливость, корректность в обхождении, признание достоинства и неотъемлемых прав другого. Права перечислены во Всеобщей декларации прав человека и прочих декларациях. Можно их оспорить в деталях, но не в принципе. Хуже с неотъемлемостью прав. Разные общности, обволакивающие человека, и более всего – государство, лишают его неотъемлемых прав.

Лишает не только консервативная власть, но часто и зовущая себя прогрессивной. Поступки определяются не декларациями, а укладом жизни. К примеру, Международная организация труда возражает против принудительного труда заключенных, справедливо считая, что они наказаны уже лишением свободы. Но там, где к труду запросто принуждают свободных, такой довод не воспринимается.

Толерантность прививают не гувернеры, а потребности хозяйственной жизни, осознание нужды в другом человеке и, вообще, в людях, не только выполняющих приказы. Там, где люди бесправны, действует принцип: ты - начальник, я – дурак, я - начальник, ты – дурак. Насилию толерантность не нужна. А науке без нее никак: верные суждения необходимо доказать, а неверные опровергнуть. Политическая форма толерантности – либерализм, но его осаждают радикалы, и правые, и левые

2

С первобытных времен хозяйство жило внеэкономическим принуждением. Лишь менее тысячи лет назад возникло иное хозяйство, где принуждение заменила вынужденность, а место принудительного труда занял наемный. Нормой жизни стала торговая сделка о временной продаже своей рабочей силы, о сдаче ее в аренду. Взаимно-добровольный обмен труда на деньги -- важный шаг к всеобщей толерантности.

С развитием обменного уклада, поздней названного капиталистическим, в ходе коллективных усилий рабочих, начатых во

Флоренции в XIV веке, стали складываться социальные гарантии, своего рода страховка наемного труда. Это второй шаг к толерантности. В XX веке развитое обменное общество ввело социальную защиту в норму.

А уклад продолжает трансформироваться. Сперва большинство наемных работников трудилось физически, но чем дальше, тем больше в производстве значил умственный труд. Он подымал производительность оборудования, в котором овеществлялся, и станки уже десятилетиями не стояли, их пришлось обновлять. Сокращалась нужда в физическом труде. Все больше рабочих переходило от работы за станком к контролю и наладке станка. Квалифицированных рабочих сразу не заменишь, им не сразу дашь равноценную работу. Это тоже вынуждало к росту толерантности.

3

XIX век жил иллюзией непрерывного прогресса. Ее сеяло развитие Нидерландов, Англии, Франции, передовых стран с колониальными империями. Казалось, порядки метрополий возобладают в колониях и в остальном мире. Но не во всех империях метрополии были столь прогрессивны, были и раздробленные страны, и отсталые. Прыгнуть в прогресс они не могли, - и власти опасались, и народы не рвались.

Прогресс понимался как заимствование техники. Но и Петр I, размышлявший об Академии Наук и университете, отягощал принудительный труд и не создал социальных условий для обменного строя. Конечно, его заимствования принесли в Россию определенный технический прогресс. Но не социальный! Напротив, крепостное принуждение ожесточалось. А к техническому прогрессу ведет наемный, а не рабский, труд. Ему нужна свобода не только от крепостной зависимости, но и от нужды в прописке по месту жительства. Свобода порой приходит раньше техники, порой в ответ на нее. Но, так или иначе, социальный прогресс состоит в росте толерантности, отвечающей спросу технического прогресса. Социальный и технический прогресс - взаимозависимые, но разные процессы. Без технического социальный скудеет, а без социального технический буксует. Вот развитие мира и шло неравномерно, и распространение толерантности тоже.

4

В XIX веке широкое тиражирование однородных изобретений позволяло пренебрегать ролью умственного труда в создании ценности и уходить от сравнения его вклада в производство с вкладом физического труда. Сперва в общем зачете обильного производства вклад умственного труда был и впрямь невелик, но Маркс вывел отсюда, что он и, вообще, никакой роли в создании ценности не играет. Оттого и предпринимателя объявили паразитом, хоть на деле он лишь завывал свой вклад. Оттого и частное производство сочли несправедливым и грезил коммунистической утопией, где средства производства, отобранные у предпринимателей, перейдут в исключительное распоряжение коллективов физического труда. Нигде, однако, это не произошло, они стали государственной собственностью.

Но утопию объявляли осуществленной не только в России. Толерантности это не прибавило, а насилие умножило.

5

С марксистской утопией обходились непринужденно. Ленин объявил, что к коммунизму могут двинуться не только все развитые страны разом, как учил Маркс, но и одна, «отдельно взятая», и шансы на это есть не только, как учил Маркс, на вершинах капитализма, но и при совершенной отсталости, где зато легче «прорвать цепь». Сталин говорил: «есть марксизм догматический, и есть творческий. Я стою на почве последнего». Догма утопии впрямь не предусматривала убийств десятков миллионов сограждан. Это было коммунистическое творчество.

И все же в ГУЛАГе ощутима основная ошибка Маркса, -- абсолютизация физического труда и пренебрежение к умственному. Потому коммунисты и пренебрегали свободой, необходимой умственному труду. Они даже в ГУЛАГе, создавали лаборатории (шарашки), поощряли образование и науку, но обходилась с ними, словно знали истину наперед, и одергивали любую свежую мысль, не укладывавшуюся в их представления. Верховенство власти над умственным трудом и наукой нанесло ущерб даже военной сфере, для которой шли на все, поступались кадровыми принципами, создать атомную бомбу допустили еврея Харитона, а водородную -- беспартийного Сахарова. Но кибернетику объявили неправильной наукой, со всеми вытекавшими последствиями.

Это не случайный промах. В США работы Винера кому-то тоже казались вздором. Но соблюдение толерантности в умственном труде позволяло Винеру и другим работать, покуда их мысли не принесли плодов. А русские математики, думавшие схоже и, возможно, способные придти к схожим результатам, жили в иной атмосфере.

Физический труд, ради плодотворности, все же сделали из принудительного наемным. А умственный труд, чтобы в полной мере быть плодотворным, нуждается в интеллектуальной свободе, не сводящейся к отсутствию цензуры. Ему нужна толерантность, как всеобщий закон.

6

Ныне бросается в глаза тяготение к экономическим союзам и глобализации, и, одновременно, если не к полной независимости, то к реальной автономии. Это не столько противоречие, сколько отражение одновременной нужды развития техники и в сотрудничестве и в самостоятельности.

Оглянувшись на параллельно происходившее на западе и на востоке Европы, можно увидеть, что страны, не желавшие быть в Третьем Рейхе, укрепили Европейское сообщество, затеянное еще де Голлем и Аденауэром, сразу ориентировавшимися не на господство, а на союз государств, где каждое удерживает лицо и голос. А Советский Союз, фактически уже вобравший было в себя даже страны Варшавского договора, едва советская господская рука ослабела, распался оттого, что не был союзом, а был державой. В России дивятся его распаду,

забыв, что другие державы распались еще раньше. Если и Российской Федерации грозит распад, то потому, что и она на деле не стала федерацией. Если Европейский союз будет натягивать вожжи единства, распад грозит и ему. Тенденция к глобальности объективна, ведь наука и технический прогресс едины, но и тяга к автономизму объективна, поскольку единству перечат различия культур и историй народов. Не антропологические, не этнические, а социальные.

7

Ленин утверждал, что коммунизм это советская власть плюс электрификация всей страны. В этой формуле можно заменить электрификацию индустриализацией или химизацией, что постоянно и делали. Важно, однако, что, определяя желанный порядок, вождь не назвал столь же четко его социальные черты. В СССР верили, что электрификация или индустриализация – это и есть строительство коммунизма, и главное – настроить побольше электростанций и заводов, ликвидируя крестьянство и умножая пролетариат. Но социально рабочие государственных заводов не очень отличались от служивших еще на Петровских государевых или Демидовских. Советские рабочие не были свободны уже потому, что не могли сменить место работы. Даже когда запретительные законы слабели, недостаток свободы передвижения и рынка жилья мешал перейти на лучшее место в другом городе, наемный труд упирался в тупик, и социальный порядок оставался реакционным. Но хоть СССР догонял Америку, а не наоборот, не только по автомобилям, а и по мясу и молоку, у нас царил вера, что советский строй, -- на деле новофеодальный,-- прогрессивней американского.

8

Сведя социальные свободы и гарантии к минимуму, в СССР ждали, что академические институты и шарашки дадут военные открытия круче западных. Верили, что буржуазный мир можно победить развивая технику. А тем временем новофеодальный социальный порядок вел СССР к распаду.

. Но чужой урок не впрок. В других регионах верят, что возьмут верх над Европой и Америкой и отнимут их богатства. На то и террор. Да и Россия, отказавшись от искореженного марксизма, держится за налаженное коммунистами консервативное производство, как за опору развития техники. Модный политобозреватель объясняет: «консерватор – это сторонник бескризисного развития», словно таковым себя не объявляла уже советская власть, ни коллективизацию, ни казни, ни войну, не сочтя за кризисы, и все же в итоге рухнув.

Как раз российский опыт показал, что для серьезных технических новаций нужны социальные, иначе общество попадает в противоречие со своей техникой и застревает. Можно воспевать бесспорно умных Витте и Столыпина, желавших вывести страну из кризиса, но консервативная политика Николая II, не давая социальных ответов на бурное промышленное развитие, лишь обостряла кризис ведя к 1917 году. А и Витте и Столыпин монархии были верны. Другое дело, что

надлежало делать, сбросив монархию, вопреки своим манифестам, не желавшую стать конституционной.

9

В живом обществе неизбежны всё новые противоречия техники и социального строя. Революции сметали феодальный порядок, тем более, что за ними проступал более прогрессивный, обменный. При обменном строе революции влетают в копеечку, а главное, если смести обменный, вернется феодальный. Обменный строй нуждается в совершенствовании, но более прогрессивного пока впереди не видать. Но гражданские войны – плоды не просто злых воль, а социальных катастроф, и чаще всего - упрямой неспособности к компромиссам.

Демократия - и есть непрерывный общественный компромисс, в котором все слои общества идут на частные и временные потери ради преодоления пагубного для всех кризиса. Демократия не гарантирует наилучшие решения, но дает им больше шансов, чем диктатура, преодолевающая кризис лишь за счет других. А этот счет приходится вновь и вновь уравнивать, чего российская «элита», прежде звавшаяся номенклатурой, делать никогда не хотела. А неудачные реформы прошли бы лучше, осознавай она свой опыт, как нужду в более точной социальной ориентации и в ответственности, которой у нее нет.

10

Между тем, наступает новый этап обменного строя, от наращивания наукоемкости станков он переходит к обновлению их программного обеспечения. Билл Гейтс не зря разбогател. Программы, своих команд, руководящие производственным процессом, делают овеществление умственного труда наглядным.

Человек и тут не вовсе уходит из производства, но все меньше занят физическим трудом, доля которого в создании ценности сокращается. Человек уже не просто исполнитель, а все больше сочинитель конкретного дела, так сказать, не скрипач, а композитор. Умственный труд над конкретной программой - это авторская работа, и ценить ее надо по авторскому праву, в спорах о котором ныне ловят за руку весь мир, «скачивающий» не только любимую музыку, но и компьютерные программы. Осознание роли авторства и его правовая охрана лишь начинаются. Здесь угрожают и силовые споры конкурентов, и монополизм советского типа. Но сам рост числа людей, принимающих на своих местах важные другим решения, требует демократизации общественной жизни и обретения ею политических форм для непрерывных компромиссов, начинаемых толерантностью.

Эти политические формы призваны защищать общество от унитарного диктата не только Москвы, Вашингтона, Брюсселя, Пекина и других. Судьбы союзов, не только глобальных, но даже Европейского, определяются, в частности, тем, в какой мере демократическая эволюция автономных стран возобладает над внутрисоюзным диктатом. Без политической автономии не уравновесить местные несоответствия, но и без совместной эволюции не наверстать упущения развития.

Ложная альтернатива: либо глобальность, либо независимость, лишь замедляет приобщение отставших к возможностям науки. Ни антиамериканизм, ни антиевропеизм, не сводятся к политическому противостоянию, они противостоят и развитию, которое открыли Европа и Америка, а другого нет.

Повсеместный прогресс технического и социального развития не неизбежен. И в России, и в мусульманских странах, и, вообще, в мире, зреет консервативный реванш и в левых, и в правых формах, теряющих былые различия. Европе и Америке, если они останутся либеральными, предстоят атаки нового тоталитаризма. Смешны предсказания Фукуямы о либеральном конце истории. Но опыт обменного строя, былые победы над тоталитарными режимами, не позволяют отказаться и от некоторого оптимизма.

НЕ ЗА СОВЕСТЬ, А ЗА СТРАХ

Считается, что холодная война окончилась в 1989 году, с падением берлинской стены. Самолеты сторон перестали летать над чужими землями и водами. Российским гражданам позволили ездить за границу и читать книги, за которые прежде давали срок. Эти книги даже стали печатать. А в Америке Френсис Фукуяма выпустил книгу «Конец истории», где объяснял, что противостояние кончилось, и навеки восторжествовал всеобщий либерализм.

Поначалу так и мерещилось, да длилось не долго и вскоре пошло вспять. Опять российские самолеты летают у британских и датских берегов. Российский президент грозит навести ракеты на прежние цели. А главное, не только телевидение и печать, но государственные органы России возобновили анти-западную пропаганду. Говоря Запад, в России имеют в виду не просто Европу и Америку. К этому Западу Россия и сама принадлежит, на что справедливо указуют на Востоке. Но западным у нас зовут либерально-демократический порядок, какого в России никогда не было. Анти-западную пропаганду ведут, против него.

В СССР это было понятно. Советский порядок отличался от других тем, что они, какие ни есть, *сложились* как бы произвольно, в соперничестве и противоборстве разных социальных сил. А наш *построен* по великому замыслу. Его строила коммунистическая партия, так или иначе вовлекая в строительство все население, уверяя, что жизнь станет лучше, и применяя силу к непонятливым. Коммунизм от века был благим пожеланием, не имевшим реальной почвы, царством божьим, утопией, и чем дальше, тем больше, обрастал ложью, сперва прикрывавшей его несообразность с реальностью, потом его классовую природу. Тоталитарность делала его впрямь иным, чем другие порядки, его правящий класс мыслил иначе, а пропаганда и агитация непрерывно заверяли в его преимуществах.

Трудно допустить, что при Брежневе, чтобы не сказать при Сталине, советские чиновники, отнюдь не идиоты, верили в утопию, но они повторяли наборы утопических слов не только за деньги. Мертвые слова обозначали выгодный им порядок, и они надеялись удержать народ в узде. Пропаганда была не просто ложью к случаю, а постоянным маскарадом. Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС

держал ухо остро и порой даже спорил с отделом культуры того же ЦК, чаще натывавшимся на реальность.

В 1991 году идеологию отбросили. Лицемерие утратило опору, и нынешние начальники выглядят честней прежних. Когда Грызлов говорит: «Парламент не место для дискуссий!», он в самом деле так думает, и не побуждает оболыщаться. Коммунисты запросто бранили Запад, как царство капитализма. Бранили частную собственность, свободу наемного труда и конкурентность производства, ведущие там к техническому прогрессу, который мы все время догоняли. Нынче мы заявляем, что перешли к капитализму и рыночному хозяйству, ввели частную собственность. И антизападная пропаганда теряет опору.

Власть ищет иную. Хватается за религию, но отношения православия, как и католичества или мусульманства, с капитализмом не просты. Без Реформации их тянет к социализму на том свете. Сулившие создать его на этом считали религию соперником, почему ее и преследовали. А ныне мало кто верит, что бешеные цены на нефть нам послал промысел божий.

Хватается государство и за национализм, но особенный. Еще в 1480 году, сбросив монгольское иго, Русь стала независимым национальным государством, но уже в следующем веке Иван Грозный обратил ее в империю, зачем и укрепостил русских крестьян. Пока империя держалась, идеалом правящего класса оставалась крепостная покорность, несовместимая с гражданским обществом, оттого у нас и не сложившимся. И эта разобщенность русского народа, расточение русской метрополии, не только замедлили национальное самоопределение, но стерли грань меж национальным и имперским. Хоть национальное русское государство, и отпустив автономии, осталось бы самым большим на свете, сильно побольше Московского государства Ивана III, уверяют, что Россия без империи не может. И официальная Россия твердит, что она -- ведущий мировой лидер и должна вести прочие страны за собой. У коммунистов такая риторика понятна, она из утопии мировой революции. А из какой нынешняя?

Волюнтаристский ход мысли, владевший не кучкой чудаков, но немалой частью национальной элиты задолго до утраты империей в 1991 половины подданных, не случаен. Его держались все массовые мировоззрения России, и русское христианство, и русский марксизм. Вера в социальную технологию, неприятие объективности общественных процессов, дурные стороны которых, конечно, можно и должно одолевать, но лишь считаясь с реальностью, а не по принципу: «разрушим до основанья», а после «новый мир построим». Абсолютизм феодального самодержавия, и абсолютизм советского, выражали волю правящего класса, но даже им случалось в тяжелые минуты озираться на объективную реальность. Переход абсолютной власти к КГБ (ныне ФСБ), с его особым миропониманием, пресек недомолвки. Пропаганда из плода заблуждений обратилась в заведомую ложь.

Не так давно по Первому каналу прошел якобы документальный фильм «Ударная сила. Невидимая война», долго потом висевший в интернете.

Ведущий сказал, что в 1959 году сенат США принял резолюцию о поработанных народах, и подчеркнул, что от России отошло

четырнадцать союзных республик, а всего в резолюции были названы двадцать два народа, и, якобы, США хотели разделить Россию на 8 частей. Резолюция впрямь называла 22 региона, даже добавляя: «и другие», но в числе двадцати двух были названы Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Восточная Германия, Китай, Северный Вьетнам и Северная Корея. Прибавив эти восемь стран к четырнадцати союзным республикам, получаем 22, и видно, что намерение США расчленить Россию на восемь частей, авторы фильма просто сочинили. Не говоря о том, что во время Чеченской войны президент Клинтон в Стамбуле поддержал президента Ельцина и отказал Чечне в независимости. А фильмы вроде «Ударной силы» на российском телевидении не редкость.

Пропаганда лжет русским людям об их истории и, в частности, об истории холодной войны. Внушает, что ее начал Запад. И ни слова о том, что Запад вступил в нее только после того, как мы отказались вывести свои войска из стран, куда вошли в ходе войны, то есть, освобождения этих стран от нацизма, и сами их поработили. Этим порабощением восточно-европейских народов, о котором Черчилль говорил в знаменитой фултонской речи, Сталин и начал холодную войну против вчерашних союзников по горячей войне с гитлеровской Германией. А забвение того как было дело, мешает российским гражданам понять почему наши соседи, не только Венгрия, Чехия или Польша, не только Литва и Эстония, но даже Грузия и Украина хотят в НАТО. Помнят, как с ними обходились!

Опорой начавших новую холодную войну речей Путина после Беслана, в Мюнхене и в Лужниках, стали цены на нефть, сулившие, что зависимости от нас не одолеть ни миру, ни Европе. Но, разрушая ее хозяйство мы сами собьем спрос и цены на нефть. Конечно, есть еще необъятный китайский рынок, но уж Китай-то, в десять раз превосходящий нас по населению и схожий с нами ходом мыслей, не упустит случая построить отношения с Россией, как некогда Чингис-хан. Трудно допустить, что в Кремле это не ясно. Откуда же тогда нынешняя агрессивная антизападная пропаганда и истерические вопли, что России надо быть сильнее всех и подчинить всех?

Зачем поощрять в международных отношениях культ силы? Ведь даже потенциально опасный Китай в близком будущем нам грозить не будет. От опасных южных соседей ограждают тюркские государства. Мысленно посягающий на Россию знает, что мы – вторая, если не первая, ядерная держава, и наш ответ смертелен. А мы забываем, что и ответ на наши посягательства будет роковым.

Внешней угрозы России практически долго не может быть. Но зачем тогда наращивать силы и пугать других? Конечно, у нас издавна принято компенсировать внутренние трудности внешнеполитическими успехами, и власти стараются, чтобы Россия выглядела столь же сильной, как Советский Союз. Но будь он впрямь силен, едва ли бы развалился. Силен он был лишь тем, что мог уничтожить жизнь на земле, и тратил на это все свои силы и богатства. Но советские начальники все же сознавали, что огонь, испепеляющий землю, не минует Россию и их самих, и перебарывали жажду применить грозное оружие, чтобы весь мир сделать русским. Не спешили следовать

советам маршалов нанести «упреждающий удар». Но вероятность такого удара сеяла страх, толкала на всякий случай уступать и помогла без сопротивления оттянуть треть мира, ценой утраты половины населения Союза. Сделать так, чтобы Россию все опять боялись и ей во всем подчинялись, по мнению новых начальников означает поднять ее с колен. Но обстоятельства переменялись и ныне могут обернуться хуже, чем могли до падения берлинской стены. Не стоит начальникам терять самообладание.

ОГЛЯДКА

Обвинение в холодной войне предъявлены обеим сторонам. Однако, спасавшие свои жизни бежали в одну. Про это не вспоминают.

1

Россия, как неотъемлемая часть Европы, отличается от других ее частей, главным образом, тем, что там личная зависимость слабела уже в Средневековье, преобладали поземельная и судебная, а у нас росла личная, и после Ивана Грозного возобладало крепостное право, венец феодальной реакции. Петр, перенимая на Западе технику без социальной политики, продлил крепостничество на полтора века. Его отменило лишь поражение в Крыму, и в Российской империи начался капитализм, в Европе давно взявший верх.

При Иване III, почти день в день за 437 лет до Октября, скинули монгольское иго, четверть тысячелетия правившее Русью. А крепостничество отменили всего за 56 лет, лишь за 10 разрешили выход из общины. Личная несвобода, тягло, вошли в привычку. А национальной русской метрополии, какие были на Западе, в Российской империи не было. Выступая, как единая страна, она считала крепость строя за его силу, словно есть лишь внешние противники, а в стране все заодно.

2

Смена общественного строя -- это революция. Но даже по Марксу революция приводит к новой общественной формации, когда исчерпаны потенции прежней. Революция - это катастрофа, крушение отжившего свой век. Россия могла, не касаясь давних времен, смягчить катастрофу если не в 1825 или 1861, то в 1905 или в феврале 1917, -- сменить внеэкономический режим на правовую систему. Но даже Временное правительство не спешило, и буржуазную революцию не совершило. Ленин и Троцкий, понимали, что победит тот, кто ее совершит, решит национальный и аграрный вопросы, проведет выборы в Учредительное собрание. Взяв власть они провозгласили Декрет о земле, три дня спустя - Декларацию прав народов России, и провели выборы, Временным правительством оттягивавшиеся.

Но для большевиков то была лишь тактика, лишь подступ к стратегии. Они подняли революцию не ради экономической свободы и буржуазного строя, предпосылки которого назрели. И не только они, но весь могучий тогда «левый» фланг России презирал буржуазность, даром, что революция сперва походила на крушившие в Европе

феодализм, да и Маркс считал буржуазную революцию против феодализма демократической, прогрессивной. Но буржуазная партия кадетов собрала на выборах в Учредительное собрание 5%. После 1861 Россия была больше антибуржуазной, чем антифеодальной. .

3

«Демократия» по-гречески означает «власть народа». Это понятие возводят к древним Афинам. Там народом считали свободных мужчин, местных уроженцев. Ни многочисленные рабы, ни выходцы из других полисов, ни женщины, народом не считались. То была демократия для немногих. Потом это понятие перетолковывали. Англия в XIII веке завела парламент, представлявший разные социальные слои и местности. Зависимых крестьян в нем не было, но заседали не одни бароны, а и посланцы рыцарей, и горожан. Депутаты вступали меж собой и с правившим королем в социальные компромиссы. Не все были удовлетворены, но понимали неудовлетворенные нужды.

В самодержавной России, ни прежде, ни в 1917 году, социальных компромиссов не искали. Получив в Учредительном собрании лишь около четверти мест, в январе 1918 большевики его разогнали, не назначив новых выборов, и стали решать за всех. Разгон Собрания сорвал провозглашенную декретами аграрную и национальную политику. Хоть крестьяне землю получили, но установленный коммунизм, именованный «военным», требовал согласно подразверстке сдавать государству хлеб и другие продукты. Хоть колонии стали звать республиками, выйти из империи, преобразованной в СССР, им не дали. большевики тоже называли свою власть демократией, хотя она выражала не волю местных уроженцев, как в Афинах, и не, как в Англии, компромисс сословий и областей. Большевики объявили демократией свою опеку над страной и ее народами, их не спрашивая. Официально власть выполняла волю не народа, не пролетариата, но партии большевиков, уверенной, что она лучше знает, в чем благо народа, и выполнявшей волю Ленина и Сталина. Не большевики такой порядок придумали. Их диктатура, установленная советским государством, не слишком отличалась от самодержавной царской воли, разве что была еще жестче, и люди России, колеблясь, кого поддержать в Гражданской войне, гадали не так о будущем, как о том, при ком больше шансов выжить.

Разгон Собрания в январе 1918 открыл новую эпоху. Исчерпанный царский порядок боялся уступить буржуазии, но и прижать ее уже не смел. А Ленин учредил новый абсолютизм, тоталитарный строй, не предусмотренный ни позитивистской социологией, ни утопией Маркса. Практически его воплотил Сталин. Но Ленин -- его пророк.

4

Большевики звали себя марксистами, но не слишком были верны первоучителю, сулившему рабочую революцию на высшем уровне капитализма разом во всех развитых странах. Они взяли власть в «отдельно взятой» крестьянской России, но ждали от «мировой

революции» помощи. Умами миллионов овладела дорогая еще Пугачеву утопия, тоже далекая от буржуазных идеалов, - благополучие без собственности на землю, пугавшей крепостных, не имевших понятия о праве.

А большевики, и Ленин – первый, понимали, что обретших свободу крестьян захватит буржуазность, и вперед пресекая такой поворот, сразу устанавливали военный коммунизм, особенно рьяно по окончании Гражданской войны. Запретили частную собственность и предпринимательство, а торговлю заменили распределением. Но хозяйство без ценностных отношений разоряло страну и грозило власти. Большевики отступили и объявили Новую Экономическую Политику.

5

Фактически то было банкротство ленинского коммунизма. НЭП его отсрочил. Буржуазная стихия оживилась, могло казаться, что успехи экономики, на десятом году революции вернув разрушенное войнами хозяйство к довоенному уровню, поведут к политической нормализации. Но, прожив нэповские годы, хоть и номинальными, но землевладельцами, крестьяне, шедшие с большевиками ради земли, обнаружили, что коллективизация, не говоря о массовых выселках, возрождает крепостное право. Ленин уже в 1922 сказал: «Мы год отступали, достаточно!» В 1929 верный ленинец Сталин провел контрнаступление, покончил с НЭПом и возродил «военный коммунизм». С одним, но существенным отличием.

Коммунизм Ленина и Троцкого держался па'йками и пайка'ми, не то, что честным, но открытым распределением натуральных продуктов. Но революционная откровенность прошла. Установив монополию производства и цен, Сталин закрепил за коммунизмом денежную форму, сохранил видимость денежных отношений города и деревни, предприятия и рабочего, и людей меж собой. Торговля при этом долго шла по карточкам на продовольствие и промтовары. Сами деньги, возрожденные НЭПом, отражали уже не так рыночную ценность конкретного продукта, как оценку партийным руководством массовой надобности в нем.

Ценообразование стало директивным. Открытый рынок умер. Землю у крестьян отобрали, передав по преимуществу псевдо-кооперативным колхозам, куда загнали середняков. Более крепких крестьян, -- не один миллион, -- загнали в дальние края, где большая их часть погибла. Частные предприятия экспроприировали. Создали по ленинскому замыслу «концерн», единое государственное хозяйство на всю страну. Управление и разные формы собственности, объявленные в сельском хозяйстве («кооперативная») и промышленности (государственная»), видоизменялись, но с 1929 по 1991 всем, что было в стране внеэкономически распоряжалась партия большевиков, формальными законами не стесненная, опиравшаяся на государственную идеологию так называемого «марксизма-ленинизма». Не только на труды «классиков», но и на серии партийно-государственных постановлений. Военный коммунизм называли социализмом.

6

В тридцатые годы его считали сбывающейся марксистской утопией. Сам изгнанный Троцкий утверждал, что Советский Союз – это пролетарское государство, пусть с извращениями. Постоянно звучало: «мировая революция», «коммунизм», «классовые интересы». Где было выяснять социальный смысл того, что на деле создал Ленин? А он, не сознавая того, все же создал государство «номенклатуры», а не рабочего класса.

В лице государства ей сообща принадлежала вся собственность страны, объявленная социалистической. Цены не стали стабильными. Государство их то взвинчивало, то снижало, но распоряжалось ценообразованием. Стихийность, как реакция на спрос или предложение, роли не играла. Главенствовал общий интерес государства, как его понимала номенклатура, от толкования государственности имевшая свои выгоды. Цены выражались в денежной форме, но административное ценообразование вне рыночного, было бессодержательно, поскольку цены, хоть и в единицах всеобщего эквивалента, служили лишь условным показателем интереса государства к данному товару. Вне рыночные деньги лишь условно соотносились с реальной ценностью, и никто не мог объективно судить о состоянии хозяйства и учитывать его реальные доходы и расходы. Тотальное насилие и страх вынуждали большинство жить минутными данностями псевдо-денежной системы. Внеэкономическому, и уже поэтому тоталитарному, социализму, натуральных показателей было мало, а объективных он избегал.

Полвека спустя несбалансированность системы завела СССР в тупик. Гайдар был прав, считая, что сперва надо освобождать цены. Но при государственной монополии производства это лишь усиливало волюнтаризм, тем паче, что слабели другие ограничения. Вот реформа и дала только бесстыжее взвинчивание цен. А для реальной их либерализации надобна была одновременная либерализация производства и собственности. Но позднейшая раздаточная приватизация этого не могла, да и не хотела.

7

Самым резким разрывом социализма с экономическими критериями стало исключение из его понятий стоимости рабочей силы. Официально трудящиеся считались в СССР владельцами не своего предприятия, а всей совокупности средств производства советского хозяйства, его единого концерна. Зарплату рабочий получал не как компенсацию потраченной им конкретной рабочей силы, но как персональную долю общего национального дохода, той его части, что отведена на его личное потребление, как трудящегося. А фактически государственная собственность, захваченная номенклатурой была, если брать всерьез провозглашенную национализацию, экспроприирована у трудящихся да еще вместе с их прибыльной частной собственностью – их рабочей силой. К тому же, повседневно исчислять долю каждого в национальном доходе, да и доход в целом, при отсутствии объективной

денежной системы, невозможно, и практически заработная плата, как и прочие цены, устанавливалась произвольно. Ориентировались на прожиточный минимум. Зарплату устанавливали выше или ниже его, согласно нужде государства в том или ином производстве и работниках той или иной категории. Борьбу за более высокую оплату труда, лучшие его условия и социальные гарантии запретили. Защита классовых интересов, классовая борьба с номенклатурой правящей партии, как владельцем производительных сил, стала политическим преступлением.

8

Преодолевать регулярные кризисы советскому хозяйству позволяло не только жестокое внеэкономическое принуждение. Тотальность государственного владения давала правящему классу ресурсы, позволявшие восполнять неэффективность хозяйствования. Их давали и упущенные Марксом, не признанные советской идеологией источники.

Природа дарила социалистическому государству неоплачиваемые богатства – от плодородия почвы до полезных ископаемых, включая нефть и газ, приносившие валютные миллионы. Сверх того ресурсы росли за счет недостаточной оплаты, как физического труда, так и особо униженного в СССР умственного, овеянного в технических достижениях, как отечественных, так и перенятых у зарубежных конкурентов. Коммунисты не признавали что их хозяйство живет этими компенсациями, хоть придать ему хоть вид самокупаемости без них не удавалось. С годами компенсаторные источники слабели. Умственный труд все больше шел на военное производство, а относительно умеренная продажа и обильная бесплатная передача его плодов за рубеж, давала не так много. Да и мирные открытия плохо внедрялись в неконкурентное хозяйство. А на мировом рынке цены нередко падали. И кризис конца семидесятых оказался глубже предшествующих.

9

Отсюда и перестройка. Признали, что надо изменить хозяйственный механизм, а для этого изменить взаимную зависимость экономических, социальных и политических сторон общественного хозяйства. Горбачеву это было не по силам уже от внутренней невозможности порвать с коммунизмом, ленинизмом и партией. Но невозможно изменить хозяйственный механизм, не изменив общественный строй. То ли Горбачев это не вполне понимал, то ли допускал, что притворные перемены сработают не хуже реальных. Он далеко заходил в осуждении советских конкретностей, критикуя «ошибки» предшественников, но берег знамя партии, как оплот волюнтаристских, директивных действий, продолжавшихся и самой перестройкой.

Именуя себя марксистами, коммунисты смутно себе представляли даже прямую, и, тем более, обратную зависимость политической системы и экономического устройства. Еще в 1917 коммунисты воображали, что, взяв власть, устроят жизнь, как хотят, своими приказами, и не входили в то, что стихийно складывалось в результате. Если Маркс верил в самодеятельность рабочего класса, то Ленин во

власть руководящей партии. Рабочий класс самостоятельно, не раз и не два добивался удовлетворения своих требований, правомерных в его отношениях с буржуазией, в единстве и борьбе с которой он создал буржуазное общество. А Коммунистическая партия и ее номенклатура держались за исключительную руководящую роль и отличались особой бескомпромиссностью.

Они видели в насилии не только «повивальную бабку истории», но ее кормилицу, няньку, воспитателя, учителя на вечные времена. Отсюда разгон Учредительного Собрания и потом кризис «военного коммунизма». Отсюда замена принудительной «коллективизацией» НЭПа.. Отсюда великий террор. А потом критическое отступление до Волги. И сведение научно-технического скачка к военным нуждам.

Чтобы поднять эффективность производства, надо было, определить экономический эффект каждого отдельного производства, восстановив в какой-то форме конкурентность, отсутствующую в государственной сверхмонополии. А для этого перейти к объективному ценообразованию и реальным деньгам. Это, в свою очередь, требовало неперменной системы гарантий, защищающих трудящихся, да и все население, в кризисных ситуациях, способных в ходе развития ущемить каждого. Номенклатуре надлежало, по опыту буржуазии, вступить в непрерывный подвижный компромисс с трудящимися, учитывать, а не игнорировать, реальную стоимость как физической рабочей силы, так и умственного труда. Западные коммунисты во многом это и имели в виду, подсказывая русским «социализм с человеческим лицом». Но ограничить волюнтаризм партии, едва ли не первое свойство социализма, чтобы удержать социализм было недостаточно..

Руководящие старцы Политбюро, ощутив дыхание катастрофы, в которую, гонясь за военным превосходством, ввергли страну, выбрали генсеком Горбачева, надеясь, что он не даст катастрофе перейти в революцию. Он назвал свою программу: «перестройка». Название сулило преобразование, не скрывая намерений сохранить основы прежнего порядка. Оба стремления были без сомнений искренни. Беда Горбачева была в их несовместимости.

10

Перестройка создала видимость окончания прямой власти партии и усиления роли государства. Она придала советскому строю более правовую форму, чем шестая статья брежневской Конституции о «руководящей роли КПСС», при адекватном понимании упразднявшая нужду в выборах. Создание президентских постов в СССР и республиках тоже имитировало демократию. Но все же выбор из нескольких кандидатов создал предпосылки явлению в представительных органах оппозиционных голосов. Существенна стала провозглашенная Горбачевым «гласность», - право не только знать закрытую прежде информацию, но публично ее обсуждать. Номенклатуру это пугало. Свободные выборы не сулили ей добра. Но за шесть лет в хозяйстве не произошло коренных перемен. Не возникло предпринимательство, конкурирующее с государственным. Не появились ни способные к нему независимые хозяйственные субъекты, ни защищающие их права

независимые суды. Не изменилась денежная система. Между тем, скудевшие компенсаторные ресурсы лишь отчасти возмещались авансами западных стран, приветствовавших перемены в России. Надежды на Горбачева, с трудом балансировавшего меж спасением советского порядка и готовностью его изменить, увядали.

Но, когда верхушка правящего класса, спасавшая прежний строй, ввела в Москву танки,-- вопреки Горбачеву или с его ведома, -- москвичи противостояли возрождению прежней советской жизни, показав, что такой больше не хотят. И ранее всенародно избранный Президентом РСФСР Ельцин, пошел на роспуск СССР, разом избавясь и от вождей так называемого путча и от Горбачева, и взяв власть в свои руки.

11

С Ельциным к власти пришел, однако, не средний класс, а средний слой номенклатуры. Его приход назвали революцией. От большой империи, СССР, отпали окраины, но как бы малая империя, РСФСР, уцелела и дорожила своей державной целостью. Ее переименовали в Российскую Федерацию. Но большинство областей и краев, объявленных ее субъектами, по-прежнему не может себя прокормить и кругом зависит от центра. Внутри малой империи так и не выделилась демократическая русская республика с автономными правами казаков, сибиряков, уральцев, поморов, жителей Черноземья, москвичей, петербуржцев и других русских регионов. Она не дала другим своим народам ни федеративных отношений, ни автономности, ни независимости.

Ельцин отказался от коммунистической идеологии, то есть, от предписанного мировоззрения и государственной экономики, но экономической свободы не установил. По выданным каждому ваучерам (имевшим ограниченный срок пользования и не ставшим ценными бумагами), а потом через так называемые «залоговые аукционы», часть государственного имущества перешла к полусотне человек, названных «олигархами». Провозгласили капитализм. Цены освободили, оставив государству высшее руководство хозяйством, чем не говоря о ценах, свели на нет заработки и сбережения граждан. Мелким и средним частным предприятиям, равно как фермерам, и после Горбачева не помогали. Но, если колхозы - псевдо-кооперативы, то «олигархи» - псевдо-капиталисты, их собственность «частная» - условно. Они лишь «держат» ее от государства, но перечисляя ему ее теряют. «Олигархи» - лишь порученцы российской власти по хозяйственной части, купленные ими на Западе фирмы на деле государственные, и их доход - дополнительный компенсаторный ресурс.

Мифичность российского «капитализма» стала очевидна, когда Ходорковский указал Путину на взяточничество и воровство чиновников, порочащие деловую репутацию России. Президент, не моргнув глазом, ответил: «Вы что, хотите, чтобы я вам напомнил, как приобрели свое состояние вы?» Президента возмутило, что «олигарх», получивший при ельцинской раздаче государственную собственность, готов забыть, что ее давали с условием безоговорочно служить, ставя любые интересы государства выше коммерческих интересов своей фирмы. Гусинский и Березовский подскользнулись на политике, а

Ходорковский посягнул на самый сговор власти с подсадными «владельцами» частной собственности, что доходней государственной, почему власть и декорировала государственную под частную. Он хотел, опершись на даренное богатство, стать независимым от дарителя. И его беспощадно наказали, показав, что ждет нарушителей конвенции.

12

Установленный Ельциным общественный строй Российской Федерации отмывали от коммунистического абсолютизма. Его вводили под либеральными лозунгами, но оформившись он напомнил о другом своем родстве. Строй, во многом схожий с установленным Лениным, на пять лет позднее установил в Италии игравший на Социалистических конгрессах с Лениным в шахматы Муссолини. Тот строй назвали «фашизмом» от итальянского *fascio* - «пучок», «единение». Коммунисты звали к единению социальному, а фашисты - и к национальному тоже. Но и те, и другие, не оглядываясь на прочие части общества, требовали единства. В Германии национал-социалистическое движение, взявшее власть позднее, тоже насаждало единение. В СССР немецких национал-социалистов называли не по-немецки: «наци», «нацисты», а по-итальянски - «фашисты», хоть этому слову есть отличный русский перевод: «заединщики». Немецкие, как и русские, заединщики фашистами себя не звали, считая себя социалистами, партия Гитлера звалась «немецкая национал-социалистическая рабочая партия». В Китае строили «социализм с китайской спецификой», в арабских странах - «исламский социализм». Заединщики не были одинаковы, в каждой стране возникал свой тоталитарный порядок. В СССР его прикрывал отказ от частной собственности и рынка, «левые» лозунги и марксистско-ленинская идеология.

Эти разные социализмы росли из разнообразных источников. Но, когда они побеждали, их практика нежданно для многих обнаружила схожие, тоталитарные склонности, вопреки частным расхождениям. Коммунизм и нацизм, коммунизм и фашизм, перед войной выступали как противоположности, и разом являясь в одной стране, соперничали в одних аудиториях, как коммунизм с нацизмом в Германии и с фашизмом в Италии. Но на фоне общего противостояния капиталистическим странам, державшимся, при всех упреках, относительно демократических порядков, тоталитарные режимы сближались.

Это сближение, в связи с Советско-германским договором о дружбе, трактовавшееся потом, как оборонительное и тактическое, в печати обеих стран выплеснулось, обнажив глубокое родство двух режимов. В силу взаимного недоверия, не долго продержавшееся, оно по-новому обозначило глобальную политическую расстановку. Если в XIX и начале XX века главным в мире было противостояние капитализма и коммунизма, взаимодействующего с борьбой колоний за освобождение, то в августе 1939 на первый план вышло противоборство буржуазной демократии и социалистических тоталитаризмов. Тоталитарные режимы, искавшие союза, кто с Германией, кто с СССР, возникали и в освободившихся колониях. Буржуазные страны страшились тоталитарной угрозы. Опасаясь одновременной активизации СССР и

Германии на мировой арене, они в Мюнхене, уступили Гитлеру Чехословакию, что справедливо потом было осуждено. Но когда Гитлер, подружившись с СССР, напал на Польшу, Запад объявил ему войну, в которой Франция была разбита, а Британия выстояла жестокую атаку.

После нападения Германии на СССР и Второй мировой войны противостояние демократии и тоталитаризма возобновилось, как холодная война. СССР еще рядился в одежды рабочего движения, но захват им половины Европы и установление там тоже тоталитарных режимов, проясняли его истинное лицо и притворность его знамен. Когда же Ельцин идеологическую ширму отбросил, но уберег государственное владычество, различие коммунистических (уже без утопии Маркса), нацистских и фашистских порядков стало незаметно.

Эти тоталитарные движения, начиная с ленинского, были ответами на кризисы местного капитализма, отсталого и не справлявшегося с феодальным наследством. Феодализм жил принуждением, но «волю лорда» надлежало увязывать с «обычаем манора». Заединщики – коммунисты, фашисты, нацисты и прочие, сами сделали лордами, номенклатурой, и с обычаями манора, не только колхоза, но и любого завода, научного института или театра, не считались, отстаивая безграничность силового внеэкономического принуждения и мощь всеобщего единства. Муссолини точнее всех определил их общий принцип: «Все в государстве, ничего вне государства». На практике его полнее всех осуществляли Ленин, Троцкий и Сталин, пресекавшие независимые индивидуальные начинания не только в экономике. И в Италии, и в Германии, и, вскоре после революции 1949 года в Китае частный сектор был допущен, как подспорье, но правила, как и в СССР, заединщина тоталитаризма. Она росла в крайних позициях общественного спектра: советский социализм -- с «левой» стороны, а национал-социализм -- с «правой».

13

Как известно, понятия «правый» и «левый» отразили расклад общественных сил рассадкой депутатов французского национального собрания в начале XIX века. «Правый» стал значить «феодальный», «реакционный», «левый» - «буржуазный», «передовой». Потом справа садились консерваторы, в центре – либералы, слева – социал-демократы. К XX веку «правый» уже значил - «буржуазный», а «левый» - «социалистический». Но когда от социал-демократов откололись левые заединщики, коммунисты, а от консерваторов – фашисты, нацисты, стало не вполне ясно, кто есть кто. Пользуясь привычными словами, политики затуманивали суть дела, поскольку сами слова «правый» и «левый» не имеют прямого политического смысла.

Перетолковывали даже слово «консерватор». Консерватор обычно защищал существовавший порядок, попавший в кризис. На политической арене консерватору противостоял «либерал», признававший нужду в дальнейших социальных переменах. В Англии, начиная с XVII века противостояли консерваторы («тори») и либералы («виги»). В царской России правление, за вычетом «великих реформ», было сугубо консервативным и реальность замечали лишь при

катастрофах. С.Ю.Витте еще в 1903 году предложил аграрную реформу, освобождавшую крестьян от общины и ускорявшую капитализм в деревне, но царь ее отверг и лишь в ходе революции 1905-7 годов позволил П.А.Столыпину. А либералы доступа к власти, вообще, не имели. Право-радикальное самодержавие не шло дальше отдельных либеральных шагов. А еще либерализму, никогда не бывшему в России у власти, противопоставляли демократию, тоже не имевшую места.

Говорят, что это «либералы», робея созвать в 1917 Учредительное Собрание, не решили аграрную и национальную проблемы. Но нелепо звать либералами политиков, полагающихся на генералов-консерваторов, борющихся за возвращение царя и отменяющих разделы земли, показывая, что ничему они не научились. Вот власть и взяли заединщики-большевики. Само свержение абсолютной власти царя к демократии не повело, да и с чего бы, когда большевистская «партийная демократия», была абсолютнее царской, и противостояла не то что робкому либерализму, а свободе, как таковой. Большевики были до того радикальны, что отвергали реальную демократию и лишь меняли консерватизм дворянства на новый консерватизм.

Российский консерватизм ничему не научился доселе. Даже после того, как советские консерваторы, не спешившие заменить заединщину относительно-либеральным порядком, довели кризис до распада СССР, мать и дочь Латынины, твердили, что консерватор – «это сторонник бескризисного развития общества». Консерватор, учили они, - это и есть реформатор. И объясняли, что Ришелье, Мазарини, Кольбер, крепившие абсолютизм, не в пример приятней террористов-якобинцев. Они только забыли, что радикал Робеспьер пришел к власти потому, что консерваторы выжили Тюрго, призванного королем провести экономические реформы. Закрыв глаза на консерваторов-фундаменталистов, державших власть в России, дамы склонны к «либеральному консерватизму», минуя Вольтера с Дидро, и либерализм Просвещения, составлявший главную надежду эпохи.

14

Капитализму присущи три неперенных свойства. Во-первых, конечно, частная собственность, превзошедшая своей полнотой феодальные «держание» и ленное владение. Во-вторых, рыночная конкуренция множества относительно независимых соперников. Еще Ленин видел, что, когда их давит монополия, капитализм вянет. А государство бывает капиталистом лишь покуда в стране есть капиталисты, от него независимые. Чуть их изъяли, государственный капитализм уже не капитализм. И главная черта капитализма,-- свободный рабочий. Его рабочая сила, в отличие от рабской, не принадлежит предпринимателю, и тот вынужден ее покупать на время и на определенных условиях. Конечно, капиталист трактовал условия в свою пользу. Но на это на Западе отвечали не так восстания, подобные рабским, как возникшее в русле либерализма постоянно действующее легальное рабочее движение, вошедшее там в экономическую и политическую жизнь.

Буржуазия, хоть сперва и нехотя, взаимодействовала с ним, да и не могла иначе, поскольку отношения меж предпринимателем и рабочим

вполне буржуазны. Отдача рабочей силы производству, как ценностный вклад, подобна любому вкладу, включая капитал предпринимателя, вносимый в иной форме, и предполагает получение доли прибыли. В идеале, она должна бы и выплачиваться не как зарплата, а как прибыль миноритного акционера, с учетом производственных и прочих расходов. Да и трудовой вклад должен бы страховаться всей системой гарантий, какие в обществе есть, на пропорциональных началах. В сперва сложившейся системе социальная справедливость оплаты труда часто нарушалась, что отмечали многие, Маркс не первый. В ответ, не так даже этому, как борьбе профсоюзов, возникали законы в защиту рабочих и социальные гарантии.

Маркс, однако, считал, что при частной собственности, конкуренции, наемном труде и, вообще, товарно-денежных отношениях никакой справедливости не может быть. Она, дескать, возможна лишь при ином общественном строе, - коммунизме (социализме), где ничего такого не будет. Так сказано в «Коммунистическом манифесте» более чем полтораста лет назад и подхвачено в разных концах земли. Но, отрицая ценность рабочей силы, ее рынок и самую покупку при найме, коммунисты платили рабочим несопоставимо меньше, чем капиталисты. Относительно благополучные периоды в жизни СССР, Китая и других соцстран, как правило, наступали при их «отступлении к капитализму». В капиталистических странах возникают кооперативные предприятия, имеющие там, особенно в наукоемком производстве, недурные перспективы. Но, опять же, лишь при товарно-денежных отношениях, позволяющих видеть «где начет, где вычет». А в СССР кооперативное (колхозное) строительство, отвергая товарно-денежные отношения (даже в ужатом нэповском виде), сгубило русское крестьянство. Социалистическая заединщина не терпя горизонтальных отношений ни предприятий, ни людей, сажает страну и мир на штык своей вертикали.

15

В преображениях теории Маркса есть глубокая ирония. Не оправдалась уверенность, что буржуазное развитие приведет пролетариат к преобладанию в обществе, и в странах такого промышленного уровня, как Англия и США, достаточно, дескать, будет даже и вовсе бескровных перемен, чтобы настал коммунизм, а в остальных -- революция будет кровавой лишь для сугубого меньшинства. Утопия отвлекала Маркса от материалистического понимания истории.

Он верил в неисчерпаемость природы. Ему казалось, что для добычи сырья достаточно приложить руки. Он не задумывался о возможной нехватке даров природы для пропитания растущего человечества, не то что его развития. Упускал, что природная ценность этих даров, которую он отрицал, будет все весомей в ценности творимого из них.

Он недооценивал роль умственного труда, как создателя ценности, признавая ее лишь за физическим, и потому навеки отвел лидирующую роль в обществе людям физического труда. Между тем, еще при его жизни развитие науки и поток изобретений изменили эту казавшуюся сперва правдивой картину. А XX век наглядно показал роль умственного труда, как создателя ценности, и значение науки для производства.

Вера, что физический труд – единственный источник ценности, все резче перечила реальности развивавшегося капитализма, подрывая перспективы марксистской революции в развитых странах. Пролетарских революций, кроме Парижской Коммуны и не было, хоть рабочие участвовали в буржуазно-демократических и повседневно отстаивали подходящие условия труда и социальные гарантии.

Ленинизм, высоко ценя утопию марксизма, повернулся спиной к его реалистической стороне. Социальная философия Маркса, едва ли не первой вглядевшаяся в связь хозяйства, позволяющего жить людям и их обществам, с характером жизни этих людей и обществ, увы, не нашла дороги, кроме сугубо утопической, к поправке несовершенств жизни, вызываемых как внеэкономическим принуждением, так и товарно-денежными отношениями. Но и никто другой за протекшие полтора десятилетия ее не сыскал, и приходится думать, что, кроме системы гарантий, лекарства тут нет. Маркс не случайно искал спасение от пороков буржуазности на гребне буржуазности. Он ощущал, что товарно-денежные отношения вывели человечество к более высокому уровню самосознания, чем натуральные, внеэкономические, что они продвинули к демократии, пусть ограниченной. Отказ от их общественного опыта сулит лишь прежние пороки и несовершенства.

Ленина такие опасения не терзали и, усвоив неприязнь к товарно-денежным отношениям, он менее всего заботился об их демократических плодах, да они и были в России невелики. К тому же, при всем своем влиянии на социал-демократические партии, ни Маркс, ни Энгельс, не были практическими политиками. А Ленин был, и талантлив был именно к политике. Марксистская утопия витала над рабочим движением, то сбивая с толку, то проясняя социальные проблемы. Она будоражила умы, но не подчиняла практику целиком. Она утопична от недостаточного понимания реалий, при Марксе, к тому же, еще не вполне проступивших. Нет ничего более далекого от истины, чем обозначая советскую систему как «утопию у власти», подразумевать марксистскую утопию. Но Ленин принес утопию другого толка, в ней утопична вера в возможность обманом и силой вынудить людей выполнять требования утопии. Не думай люди о себе и своих близких, заботься лишь о ленинских заветах, скудное и отнюдь не добровольное будущее по Ленину, могло бы сбыться. Сталин добился многого. Убей он еще вдвое или втрое больше людей, и ленинский порядок возможно бы работал. Другое дело, какой это был бы порядок, и как бы люди жили. Но это ни Ленина, ни Сталина не занимало. Ленинцы-заединщики практиковали все, что шло, как им казалось, на пользу их власти, идейные и нравственные соображения их не останавливали. Ленин четко сказал, что нравственно все, что служит делу социализма, чем наперед оправдал все преступления Сталина. Так же потом вели себя гитлеровцы-заединщики. Конечно, Ленину пришлось ревизовать марксистскую утопию, да и марксизм в целом, но он это сознавал. Он был человек вполне практичный. Зло было не в его злодейских намерениях, а в его надежде одолеть зло злодейством, которое на деле это зло лишь поощряло, и пресекало все, что делало зло бессильным.

Полицейские государства коммунистов-заединщиков не сразу копировали феодально-абсолютистские, «правые» режимы, но и уподобившись им и даже став еще страшней, хотели слыть «левыми».

Но и «правые» заединщики не вовсе чурались маскировки. В странах, наверстывавших хозяйственную отсталость, они ломали либеральное государство и тоже «строили социализм», национал-социализм. «Левых» близнецов от «правых» сперва декларативно отличал интернационализм. Но потом и «левые» диктатуры перешли к шовинизму. «Правые» и «левые» заединческие системы различались сперва тем, что в «правых» сохранялась, а в «левых» упразднялась частная собственность. Но лишь в «чистой», советской, форме производство полностью числилось государственным, уже в Китае было иначе. Но и в «правых» диктатурах хозяйством руководило тоталитарное государство. Его опорой при «правом» тоталитаризме были хозяйственные монополии. А «левые» диктатуры сами стали такими монополиями. Владельцы предприятий в «правых» служили власти не хуже красных директоров в «левых». Различия тираний и до войны слабели. А в колониях, обративших независимость в местную диктатуру, совсем сходили на нет.

Буржуазия утвердила **либеральную**, свободную государственность, считающуюся с гражданами, хоть не больше, чем рынок с покупателями и продавцами. Одинокие голоса и там нередко вопиют в пустыне. Но если число их растет, власти приходится уступать. Либеральное государство не поляна для пикника, но поле для состязаний. А заединщики, и «правые», и «левые», подчиняют общество государству всецело и все откровенней насаждают **радикальную**, абсолютистскую государственность, ставя государство, монопольно ведомое правящим классом, выше граждан, которым слова не дают. А когда недовольных прибавляется, власть их атакует, убивая сотни тысяч и отправляя в лагеря миллионы. Полемики с властью здесь не допускают, и кто палку взял, тот и капрал. Отсюда иные экономические перспективы. Радикалы держат хозяйство на более тугом и коротком поводке, чем либералы, дорожащие экономической свободой. Она весомей различия «правых» и «левых» идеологий.

Поэт сказал: «Власть отвратительна, как руки брадобрея». Но, не говоря о разбойных идеалах анархистов, отмирание государственной власти и в марксизме было самым броским посулом утопии, обанкротившимся быстрее других. Увы, без государства не обойтись, как оно ни отвратительно. Дело, однако, за мерой его отчуждения от общества, мерой присвоенной им независимости от граждан. Она же полнее всего видна по тому, может ли большинство сменить власть не бунтом, не революцией, а поддающимся проверке подсчетом голосов при равных возможностях излагать свои взгляды. Это и отличает либеральную демократию от демократии немногих и от попечительской, управляемой.

4 ноября 2005 года движение «Против нелегальной эмиграции» и другие, жаждущие удержать «Россию для русских», «Москву для москвичей» и, логически продолжая, «Кремль для кремлевских»,

провели в столице шествие, которое наша печать назвала «правым маршем» Но «правыми» она обычно зовет партии СПС и «Яблоко», в шествии не участвовавшие и, вообще, стоявшие по другую сторону. А понятия, разом значащие разное, - лишены смысла. После семидесяти четырех лет советского «левого нацизма» уже никто в России не знает, где право, где лево.

17

Поныне доказывают, что меж социализмом и национал-социализмом нет ничего общего, но ссылаются не на схожие жизненные черты, а на войну (словно не было договора о дружбе, не только о ненападении), на пропаганду и на различие идейных истоков. Но даже истоки не столь различны. Маркса взрастила не одна немецкая классическая философия, но и немецкий романтизм (Он сам написал целый том романтических стихов.), противостоявший французской революции, но не всецело ей враждебный. В ответ на вести из Парижа, Гёльдерлин, Шеллинг и Гегель сажали дерево свободы. Классическая философия, даже Гегель, не говоря о романтиках Шеллинге и Фихте, совпала с романтизмом не только по времени, и Маркс черпал из обоих отечественных источников. Но идеология Розенберга и Геббельса тоже питалась потом романтической утопией, хоть и других толков. На немецкой почве корни красной и коричневой заединщин росли рядом.

Немецкая буржуазия в Крестьянской войне поднялась, подобно нидерландской, но, в отличие от нее, феодализм не одолела. Не встала она и потом вместе с французами. Но не по равнодушию. Феодализм задержался не только в Германии, а и в России, и в странах Востока. Причиной задержки была неразвитость социальных отношений, классовой борьбы, противодействием которой и служила заединщина, как идеология правящего класса, классовую борьбу глушившего и противоречия замалчивавшего, требуя от подданных, принявших романтическую утопию, единства.

Заединщники, даже выдающегося ума, как Ленин, зная, что сами единство навязывают, ждали его добровольности. Унифицирующее насилие росло и, соответственно, рос аппарат насилия. Государство больше служило насилию, чем взаимным уступкам, согласованиям и компромиссам. От общества требовали насиловать самое себя. В заединческом идеале оно и живет идейным насилием над собой, в перспективе более существенным, чем производство.

Заединщники не просто лгут и изменяют провозглашенным целям. Внемля призыву «Вся власть Советам», мало кто думал, что сосредоточение власти в одном месте перечит разделению властей, только и обеспечивающему их взаимный контроль, и заведомо делает власть безответственной. Ленин едва ли хотел перебить свою партию. Но, разогнав сперва Учредительное Собрание, а потом проведя на X съезде резолюцию о единстве партии, он обратил партию в машину, способную выполнить любое задание, но не обсудить в какой мере оно ведет к желанной цели. Узурпировав право решать, да еще без открытой информации и учета мнений хоть своей партии, Ленин был обречен поступать неверно.

Из того, что большинство делегатов XVII съезда, а затем большинство избранного ими Центрального Комитета, были репрессированы, как враги народа, справедливо или нет, следует, что избранные ими Политбюро и Генеральный Секретарь были навязаны народу его врагами, то есть, узурпировали власть. Но ни в докладе Хрущева о культе личности, ни в ходе процесса над КПСС при Ельцине, не вспоминали, что, как избранник «врагов народа», подлинных или мнимых, Сталин занимал свой пост неправомерно, а партия не возражала. Не вспоминают об этом и ныне. А законность и порядок достигаются лишь соблюдением процедур. Не в том беда, что наверх попадают дурные люди, а в том, что наверху они свободны от процедур закона. Это плод насильственной заединщины. Говорят, Сталина избрали по ошибке. Но получение им возможности убить, кого хочет, порочит не так Сталина, -- мало ли убийц, -- как партию, сделавшую убийство товарищей нормой внутренней жизни.

18

Согласно советской идеологии, феодализм, капитализм и коммунизм - неотвратимые ступени исторического прогресса. На всех углах висели плакаты: «Победа коммунизма неизбежна», хотя к наступлению неизбежного вроде нет нужды призывать, да и язык зовет неизбежными несчастьями, а не радости. В Германии тоже строили «тысячелетний Рейх». Но торжество заединщины не неизбежно и не повсеместно. Там, где буржуа и пролетарии, не отступая в своей повседневной борьбе, не забывали об экономическом смысле своего одновременного единства, диктаторство заединщины слабело. Где буржуазные отношения, закрепясь в хозяйстве, обретали адекватный политический строй, их защищающий, то есть либеральное правление, заединщики - коммунисты, фашисты, нацисты, - оставались маргиналами.

Но в странах неразвитого хозяйства они брала верх. Особенно, если отставание наверстывали внеэкономически и, по примеру Петра, внедряли технические открытия буржуазного производства на феодальных началах. К машинам, созданным для наемного труда, ставили крепостных. Это стирало социальное самосознание. Общая покорность выглядела как общая воля. Не столь важно, сулила ли сперва эта воля рабочим земной рай или арийской расе превосходство, простиралась она на Россию и Германию с их достижениями в науках и искусстве, или на Китай и арабские страны с их древностями или только на Венесуэлу и Нигерию с их нефтью, -- главное, она вверяла судьбы народов вождям заединщины.

Подрывая представление об истории человечества как о социальном прогрессе, его обращали вспять. Нелепости и преступления, совершаемые общественными группами, вызывает соотношение сил, а не просто глупость и подлость. Заединщина, тоталитаризм (коммунизм, нацизм, фашизм), изменяют это соотношение политическим насилием.

Но научно-техническое развитие дифференцирует социальные позиции и интересы. Общество делится не только на буржуа и пролетариев, общественные классы дробятся и пополняются все новыми социальными слоями, начиная с работников умственного труда.

Оно идет не к однородности людей, а к их дифференциации, надобной производству. Потому и растет потребность в социальном компромиссе, в демократии, учитывающей каждый голос, допускающей социальное разнообразие. Свободное товарно-денежное общество позволяет завести новые социальные формы, требуемые новорожденной техникой. А заединщина, как демократия приказа, свободных инициатив не допускает.

Товарно-денежные отношения, ориентированные не только на экспорт, но и на собственную жизнь и жизнь своего общества, своей страны, потому и не сводят все ценности к ценам, и не жаждут социальной однородности, а позволяют выразить особенное, поскольку нуждаются в нем, а заединщина силой навязывает однородность, подчиняя дробное общество диктату партийно-правящего класса, тормозящего, -- понятно, не желая того, -- промышленное развитие. Насилию, не дающему дробности повседневно питать политическую жизнь, не возместить утрат свободного развития. Иначе феодализм был бы вечен. Марксу возражают, что рыночному хозяйству равно пригодны и демократический, и тоталитарный политический режим. Но с чего бы тогда англичане и французы рубили головы королям?

19

Маркс считал, что оплата рабочего занижена тем, что предприниматель крадет прибавочный труд. Перебарывая свое юношеское гегельянство, он упустил, что рабочий и предприниматель, ведя борьбу за оплату труда, остаются единством противоположностей, без которого производство не эффективно. Капиталист может недоплатить потому, что при крушении феодализма, повергшем крестьянство в нищету, рабочая сила была в избытке и от нее не требовали высокой квалификации. Когда же рынок рабочей силы сократился, а требования к квалификации выросли, капиталисты отдавали немалую долю прибылей на социальное страхование рабочих, оберегая единство производительных противоположностей.

Легко назвать предпринимателя экспроприатором, которого надлежит экспроприировать. (Ленин по-русски призывал: «Грабь награбленное!»). Но в СССР ликвидация частного предпринимательства привела к государственной монополии производства. А государство грабит людей смелее частника. Силы слишком неравны, у государства-предпринимателя и КГБ была, и армия, готовая, как в Новочеркасске, стрелять в рабочих, кругом зависящих от государства, грабящего их не только как власть, но и как работодатель. Или надо в ответ и государство грабить? Об этом Ленин промолчал.

Здесь понятия «правый» и «консервативный» расширились. Они вобрали в себя не только феодальный реваншизм и буржуазный консерватизм, но и коммунистическую заединщину, правившую государством и его монополиями, продолжая демагогически именовать рабочих, в которых сама при случае стреляла, избранным, мессианским классом, глашатаем не только своих законных, но и всеобщих интересов, словно конкретных нет. Тут заединщина и не стала

признавать единство и борьбу противоположностей Гегеля, уничтожила их взаимосвязь и врозь лишила смысла.

20

Общепризнано, что буржуазное хозяйство с наемным трудом, частной собственностью, и производством на продажу продуктивней феодального. Буржуазные революции, а точнее, феодальные катастрофы, позволили частному человеку создавать производство, владеть им, и наниматься на работу, то есть, не зависеть от «своего» феодала, а работать, где выгодней. Производство при капитализме сперва по-прежнему опиралось на рабочего с подсобными орудиями, но уже с XVIII века внедряется машина, и машинное производство меняет ситуацию. Марксистская схема не прояснила социальную роль машин. Но машины, обновляясь, непрерывно изменяли условия труда.

А машину создал не физический труд рабочих соседней фабрики, а ум инженера-изобретателя, взвалившего на нее часть трудовых процессов, сняв их с рабочего. Овеществив умственный труд изобретателя, машина все больше заменяла живой труд рабочего. Овеществленный ум работал в производственных процессах, которые она выполняла, но Маркс не признал, что уже этим умственный труд участвует в создании ценности, и рабочий обильно переносит ее с машины на продукт труда, а не всегда создает сам.

Ценностного соотношения овеществленного умственного и живого физического труда в продукте производства марксизм не установил, не определил, что числить в овеществленном труде изобретателя необходимым, а что «прибавочным», и как мерить эти понятия в приложении к умственному труду. Не вполне ясно, и как считать создаваемые тут ценности - по затраченному изобретателем времени или, что, видимо, все же верней, по общему времени работы всего тиража машины? А конструкция машины, подобно художественному тексту, - предмет авторского права изобретателя, обычно оплачивается без учета этого права.

21

Теория Маркса, считающая физический труд рабочего единственным источником ценности, но предполагающая развитие производства, то есть его научно-техническое, а значит умственное, совершенствование, внутренне противоречива. Ее запутал уже отказ считать источником ценности природу, даже землю, служащую производству хлеба. Маркс трижды переписал, но так и не написал начисто главу «Капитала» о земельной ренте. Это, конечно, знак его научной честности, но и бессилия объяснить что к чему.

Между тем, без понимания источников ценности продукта производства, невозможно судить, кто на деле эти ценности создает и кто экспроприирует. Пусть даже предприниматель деля на первых порах с рабочим созданный продукт, по Марксу несправедливо посягал на прибавочный продукт рабочего. Но при машине они еще делят меж собой созданное овеществленным умственным трудом изобретателя и

ученого корпуса, на труды которого изобретатель опирался. Экспроприатором, забирающим немалую долю ценности, созданной умственным трудом, тут выступает уже не только предприниматель, но и рабочий коллектив. И в ответ на грабёж отнюдь не награбленного, тут часто «левым» радикалом выступает изобретатель, а рабочий, вместе с предпринимателем, выступают как «правые» грабители.

Опять же, при машинном производстве, рабочие, начиная с луддитов, хотят снизить технический уровень, а буржуазия его повысить. Она потому и поощряет изобретателя, и субсидирует науку, что, пока есть конкуренция, развитие прибыльно, и ради прибыли она готова стать «левой», а пролетариату часто выгодней тормозить развитие и быть «правым», консервативным. Это происходит и в политической жизни, когда рабочие, довольные зарплатой, на нищих крестьян не оглядываются и поддерживают номенклатурных заединщиков. А большевики демагогически провозглашают заведомо прогрессивной политику рабочих партий и диктаторов тоталитарных социалистических государств .

22

Еще твердят, что ценностные отношения нужны не рабочему классу, а лишь буржуазии. Но не видят, что рабочий класс нового времени свободен лишь в буржуазном обществе, а чуть буржуазию смели и построили социализм, рабочий класс попадает в круговую внеэкономическую зависимость от государства-монополиста и принадлежит иному, чем в буржуазном мире, воистину подневольному классу. Он лишь сперва в буржуазном мире бурно растёт, а с середины XX века сокращается при продолжающем расти производстве. Если не цепляться за рост занятости в сфере обслуживания, говорящей скорее об общем подъеме уровня жизни, трудно оспорить, что число промышленных рабочих, в сравнении с научными работниками и инженерами-изобретателями, сокращается. Всё меньше и срок службы машин, всё чаще заменяемых новыми, в которых всё больше овеществленного умственного труда. Рабочий класс, существуя и при буржуазном производстве, «как класс», продолжает производить товары и создавать ценности, но вопреки Марксу, не один, а вместе с другими классами, и без них бессилён, как и они без него.

Миф о мессианстве рабочего класса рухнул. Разумное устройство общества видится иным. Поскольку наперед неизвестно, какие тенденции науки и производства позволят решить социальные и другие проблемы, гибкий либеральный общественный порядок заведомо благоприятней жесткого радикального, пусть даже способного порой сосредоточить больше сил, но, по своему волюнтаризму, нередко упускающего самое перспективное, как Сталин кибернетику.

Либеральный порядок зовут «западным», как грипп, первая эпидемия которого вспыхнула в Испании, «испанкой». Но болезнь вызвали не свойства испанцев. Либеральная экономика расцвела в Западной Европе, когда там возникло буржуазное хозяйство. Когда его завела Япония, она и там возникла. Дело не в этнографии, а в характере производства. В других странах продолжали волевое хозяйство. Стараясь не отставать, перенимали у «презренного» Запада

его технические открытия без его социальных реформ. Но советский опыт показал, что эффект недолог.

Сталин и его преемники легко жертвовали Россией ради химеры завоевания мира, мыслившегося Лениным и Троцким как «мировая революция» и глобальное единение под единой волей. Но в развитых странах катастрофы были не столь разрушительны и революция не шла, да и в России и других отсталых странах она разошлась с теорией, и мировую революцию заменила вторая мировая война. Соответственно, интернационализм Ленина и Троцкого перерастал у их преемников в шовинизм. Уже не говорили, что западные страны, совершив революцию, еще будут учить социализму, опять оказавшуюся отстающей Россию, как сулил Ленин, „. Речь пошла о превосходстве Российской социалистической империи над «прогнившим» Западом.

23

Неверно, однако, искать причину тупика СССР, его нужды в перестройке и его развала, в холодной войне. Скорее причиной холодной войны был социализм, внеэкономический строй, не допускавший общего развития производства и мирного сосуществования. Даром, что перед второй мировой главным еще считали различие левых и правых, уже стало ощутимо противостояние заединщины и буржуазного индивидуализма, И росло число общественных классов и групп. Научно-техническая интеллигенция, в СССР числимая «прослойкой», на деле оказалась ведущим классом развития, а крестьяне рабочими не стали, но явились социальные группы, существования которых коммунисты не признавали, и официально причисляли интеллигенцию к рабочим.

В XX веке рабочее движение раскололось на том, что в полуфеодальных странах его лидеры, и прозорливей всех Ленин, сообразили, что по лестнице марксистской утопии миру в обозримое время не подняться, и захватывали власть, не дожидаясь, пока общество взберется наверх, обещая наверхстать чисто хозяйственные, как им казалось, упущения. План этот, правда, не сопрягался с сущностным положением Маркса о зависимости «надстройки», то есть, политических и прочих проявлений общества, от «базиса», то есть, хозяйственного состояния. По Марксу полуфеодальная экономика «базиса» заведомо должна была корезить навязанную «социалистическую надстройку», как оно и вышло. Но ленинская радикальная часть рабочего движения, верившая в силовой переход к следующей «формации», все упорней его форсировала, опираясь на принуждение к единству партии, единству рабочего класса, единству трудящихся, единству мира, чем и положила начало заединщине коммунистов и всем возникавшим по ее образцу.

«Учение Маркса» слыло фундаментом русской революции и советской власти. Его противники уверяли, что России, ради демократии, надо рвать с утопией Маркса. Лишь немногие сознавали, что большевики с ней изначально порвали уже разгоняя Учредительное Собрание, что сочинения Маркса и Энгельса и сама их утопия исполняли в СССР декоративную роль, а под именем марксизма в России практиковался преобразивший его ленинизм, почему их и писали

через дефис. Надежда дожидаться осуществления социалистической утопии могла прельщать повседневно борющихся за улучшение жизни при капитализме. Но надежда заменить его земным раем опиралась лишь на веру, что «артелью и батьку хорошо бить». Миллионы еще не предвидели, как их единством раздавят их особенное и их отдельное, сотрут многообразие и подорвут источники и стимулы развития.

24

Нынешняя организация хозяйства изменила положение номенклатуры. Прежде она фактически сообщала владела собственностью, именуемой общенародной. Тогда номенклатурщикам перепало немало, но не источники дохода. А теперь аппаратчикам не просто дают льготы или вручают конверты с деньгами, но наделяют собственностью, отнятой, целиком или частью, у ненадежных «олигархов». В новом порядке мерцает новое экономическое содержание.

Еще трудно, конечно, судить, остановятся ли перемены на этом, и смогут ли чиновники оставлять обретенные богатства детям, а не только, как в прежние времена, устраивать детям доходные места. Или процесс пойдет дальше вспять, до восстановления коллективного владения правящего класса государственной собственностью? Но правящий класс, номенклатура, устоял, а, значит, права других, хоть и записанные в Конституции, ненадежны, и свободы нет.

Процесс не завершен, что-то дозволенное Горбачевым держится и после 1991. «Единая Россия» еще не перешла, как большевики, к прямому управлению. Создаются даже новые декоративные «партии». Еще выдают загранпаспорта, и для выезда за рубеж довольно согласия принимающей страны. Еще не запрещено хранить, передавать и читать литературу любого политического толка. Еще возможны личные беседы о чем угодно. Еще дозволено поддерживать отношения с иностранцами, еще продаются импортные товары. Но бедность растет. Все телеканалы вещают на один лад. Постановления и действия власти не отвечают посулам 1991 года. На выборах кандидаты неравноправны, удобным власти легче. Их и «избирают».

Законности нет. Силловые органы уже не органы партии и лично Сталина, но прямая исполнительная власть, они формируют судебную и представительную. Объявлено, что «парламент – не место для дискуссий». Потому и нет реальной политической жизни. Политика лишь имитируется. Номенклатура пополнена и названа «элитой». Под маской всеобщего единства в КПСС всегда были оттенки, перестройка сделала их отчетливее. Но разная тактика трех влиятельных групп не заслоняет их общности.

Правящий слой, еще не весь сплоченный в «Единую Россию», объединяет друзей и коллег Президента по работе в КГБ, и опирается на выигравших от перемен и ждущих новых выгод. Компартия РФ, возникшая внутри КПСС при Горбачеве, после 1991-93 выступает как оппозиция. Она адресуется к потерявшим при переменах и тоскующим о скудной, но регулярной пайке. Не вполне оформлена «третья партия» - скопище групп, спешащих создать на русской почве тоталитарное подобие немецкого нацизма или итальянского фашизма. Они тоже из

КПСС и еще в СССР скликали желавших привилегий для русских. Все три течения перетекают друг в друга.

Сложилась как бы демократия тоталитаризма, взаимная терпимость его потоков, как раз и придающая ныне России квази-демократический вид. Власть потакает нацистам и коммунистам, пренебрегая изредка возражающим СПС и робко-либеральным «Яблоком», которые, поддерживая Ельцина и угождая Путину, теряли сторонников. Силловые органы и суды даже не делают вида, что пресекают противоречащую Конституции пропаганду и практику коммунистов и нацистов. Это объясняют по-разному. Говорят, Ельцин в 1996 ради победы взращивал коммунистическую оппозицию, а Путин -- национал-социалистическую, против которой в 2008 выступит сам или его ставленник.

Но массовые социальные ориентации заданы не только указаниями власти, но и состоянием общества. Нефтяной компенсаторный ресурс, дав хозяйствовать внеэкономически, толкает наше индустриальное общество к тоталитаризму, которому не обязательно быть марксистско-ленинским. Наличие в истории более откровенных режимов, не означает, что советский или нынешний «авторитарный», выказавший себя в Чечне, по природе иные. Защищая «коренное население» от инородцев с российскими паспортами, затеяв расистскую атаку на Грузию и даже грузин, имеющих российское гражданство, объявив над гробом Анны Политковской, что «ее влияние было минимальным», Путин указал куда сдвигается от советского лицемерия. Третья партия – не так противница нынешнего порядка, как выразительница его перспектив и идеалов.

25

Советская империя попирала своеобразие народов и не давала им равноправия, отчего испытывала постоянный национальный кризис. В ее развале винят Горбачева хотя он разве что на голове не стоял, чтобы империю удержать. Затем и вооруженную силу применял в Тбилиси, в Вильнюсе, в Риге, в Баку. Правда, войну, вроде чеченской, не затеял, - уже шла афганская. Но даже литовскую идею экономической самостоятельности республик и опоры на горизонтальные связи, отверг. То есть, упустил случай обратить Советский Союз, в реальный союз.

Старая русская империя, не зря именуясь «тюрьмой народов», отличала русских от инородцев лишь персонально, в целом не различая колонии и метрополию. Так было и в СССР. Русские относились к неравенству наций по-разному: одни противились великодержавной политике, другим политика нравилась, но раздражало, что она не откровенна, и с «первыми среди равных» нередко обходятся не лучше, чем с инородцами. Русских тоже, хоть и не по национальности, как евреев, ущемляли, и, как чеченцев, выселяли, однако не поголовно. Как прежние крепостные, они страдали от социального, а не национального унижения. На должности, не закрепленные для показухи за ущемленными нациями, их продвигали легче. Русский человек, тоже не защищенный от общего бесправия, имел в нем свои преимущества. Но российская республика, РСФСР,

сама включавшая в себя огромные инациональные анклав, не имела преимуществ. И не слишком берегла русские национальные ценности, как республиканские.

У русского народа после монгольского завоевания да полувек Ивана III с сыном Василием, не было, по сути, своего государства, потом им мыслили Советский Союз. Слова «советский» и «русский» служили почти синонимами. Но признать СССР Русской империей с покоренными колониями власть не рискнула. Вот и не рискнула создать в СССР Русскую республику, признающую интересы других, позволяя им оставаться впрямь автономными. А без самоопределения русских, держа их на положении особого имперского, но не полноправного народа, не сберечь не только СССР, но и Российскую Федерацию.

26

Чтобы дать автономным республикам недоданные права, надлежит дать автономным республикам РСФСР права союзных. Трудно счесть справедливым положение, когда в автономных Татарии и Башкирии больше граждан, но меньше прав, чем у союзных Армении и Эстонии.

Но в СССР нерусских было 50%, и власть, не дав им хоть в чем-то реальной самостоятельности, декларировала свой интернационализм. Ныне в России нет и 20% нерусских (то есть около тридцати миллионов), но их уже обязывают быть русскими патриотами, отчего обостряется сепаратизм и растет русофобия. Лжи меньше, но шовинизма больше.

Литовцы призывали снизить в СССР давление центра, сохранив связи. Вышло наоборот, СССР распался, а унитаризм в России уцелел, но опирается уже не на показную добровольность, а на откровенное, как в Чечне, принуждение. В Беловежской пуще Ельцину, было предпочтительней отпустить территории СССР, заселенные инородцами, чем умалить власть на своей территории. А эта власть держалась лишь внеэкономическим принуждением, и оно власти все еще дороже живущих там народов и отдельных людей. Страной правит партия «Единая Россия», хотя Россия по Конституции - федеративна. А слывшие национальными русские движения «обижаются за державу», но не пекутся о свободе русских людей. Русские шовинисты в избытке, но они – не русские националисты, а державники, столпы империи, открыто требующие экстерриториальных, имперских прав, не пекущиеся о благоденствии своего народа.

А и за пределами СССР национальные проблемы разрешались лишь вместе с социальными. Венгрия, Польша, Чехия, даже Прибалтика, обрели независимость, когда провели десоветизацию, установили демократические порядки и буржуазные отношения. Это удалось потому, что в бывших социалистических странах стремление к свободе совмещалось со стремлением к национальной независимости.

27

Но и национальные, и другие проблемы, вошедшие в повестку перестроечного дня, хоть и обсуждались в публичных дебатах, к решениям не вели уже потому, что перестройку впрямь начало

руководство КПСС, как тогда говорили «начала партия». Начала предчувствуя катастрофу, спасая себя, силясь придать социализму человеческое лицо, какого природа и история ему не дали. Сахаров видел отличия стремлений власти от своих и говорил: «Мы поддерживаем Горбачева условно, в той мере, в какой он делает то, что говорит». Но Сахарова не стало за полтора года до выборов президента РСФСР. Диссидентов в избирательный бюллетень не включали, и бывший Секретарь МК КПСС Ельцин, знаменитый конфликтом с центральной властью, обрел безусловную поддержку. После победы над «путчем», объявленной революцией, сторонники перемен поддержали Ельцина еще безусловней. А первый секретарь Обкома, при всех своих свободолюбивых заявлениях, по типу понимания власти, сам был авторитарным правителем. Его размежевание с Верховным Советом два года спустя было спором двух властных групп не столько о том, как стране жить, сколько о том, кому страной править. Бравируя разрывом с КПСС, Ельцин отдал власть Путину из КГБ, а тот, сведя на нет Совет Федерации и выборы губернаторов, возродил унитарную вертикаль власти. Ельцин так хотел.

28

Самым тяжким следствием советских лет оказалась пустыня, открывшаяся за ними. Советский порядок перестраивали советские функционеры, люди волюнтаристского сознания. Поэтому Конституция вышла авторитарной. Статьи о правах человека не заслоняют ее противостояние демократии. В Сталинской конституции статьи о правах тоже были, а «шестой» даже и вовсе не было. Но Сталинская, не будучи законом прямого действия, стала Конституцией Большого террора, а нынешняя -- Конституцией Чеченской войны. Россию называют пост-советской, хоть десоветизация, дебольшевизация, так еще и не состоялась. Да и крепостничество Россия не вполне еще сбросила. Екатерина II уверяла, что, хоть ей не отменить крепостное право, оно через сто лет отомрет. Но сто лет спустя его еще только отменили, а пережитки жили еще шестьдесят. Потом его возродили колхозы, а крестьян истребили с роковыми для страны последствиями. В Англии и Франции они воевали за свою землю, как добровольцы буржуазной революции. У нас их гнали на иные фронты, и финал иной.

Пагубность для России царской модели ясна по обилию покушений на царей, по трем революциям за пятнадцать лет, по расстрелу рабочих на Дворцовой площади, по участи крестьян, запечатленной не только Глебом Успенским и Решетниковым, но и Львом Толстым, и Чеховым и Буниным. А пагубность ленинской модели доказана не только почти поголовной гибелью победителей от рук своей партии, но и гибелью от ее рук еще десятков миллионов беспартийных. Обе модели мешали взять верх буржуазно-демократической революции, возобладавшей в большей части Европы, установив там либеральные порядки.

Не то, что капитализм, даже и ощутимо переменявшийся со времен Маркса, сам по себе так уж хорош, но по своей объективно-соревновательной природе он требует демократии, которая еще при феодализме, - с рождения английского парламента, позволившего

выказывать свою волю не только королю, но и баронам, и свободным рыцарям и даже горожанам, - форма социального компромисса, укрощение претензий на всевластие и единомыслие. А возрождавшие всевластие ущемляли парламент, отвергали социальный компромисс.

Тенденции к абсолютной власти не чужды и капитализму. Теоретически, идущий за полной абсолютизацией сверхмонополий тоталитаризм, не лучше социалистического. Но государственная сверхмонополия, пресекающая объективную товарную конкурентность, для капитализма практически самоубийственна. А присущая рынку демократия, выявляя разнообразие общественных позиций, в борьбе с абсолютизмом обладает явным преимуществом перед социализмом, враждебным социальному компромиссу, стоящим за диктатуру человека с ружьем, за команды, лагеря и танки против сограждан. Оттого, при всех недостатках капитализма и демократии, все другое, как давно видно, - куда страшней.

С демократией не спешили ни царь, ни Временное правительство, оттягивавшее выборы, ни большевики, насаждавшие единство. Сражаясь меж собой, они сообща тормозили либеральное развитие. Если бы Учредительное Собрание избрали до Октября, - а на это было восемь месяцев, - большевики не смогли бы его разогнать и навязать стране губительный «военный коммунизм». Страну потом откачивали НЭПом и разоряли коллективизацией. Отступив до Волги, она с дугласами и тушонкой выиграла страшную войну, но конкурентный военно-технический прогресс советской силовой модели был труден.

29

Горбачев звал не к либеральной демократии, а к мифу о «социализме с человеческим лицом». Ельцин пошел дальше, вышел из КПСС, вторя буржуазно-демократическим лозунгам, но, отвергнув советскую идеологию и власть партии, страна Ельцина осталась диктатурой номенклатуры, и клонилась к национальной демагогии больше, чем к социальной. В этом направлении Путин и пошел, и так Россию удержал.

Горбачев в преддверии перемен допустил всенародное избрание Президента РСФСР, а Ельцин на полгода вперед поставил желанного преемника «Исполняющим обязанности Президента», обеспечив ему этим победу на выборах. Горбачев затянул решение национальных проблем, и Ельцин использовал это, чтобы избавиться от Союзной власти над РСФСР и над собой. Отпуская союзные республики, он делал вид, что распускает империю, но ее недораспустил. Стремясь быть русским национальным лидером и главой Федерации, он не признал права чеченцев на самоопределение, и дал Российской Федерации право уцелеть лишь как союзу самоопределившихся субъектов. Но русские области, никуда не выходившие, в любом случае были вправе создать в составе Федерации демократическую Русскую республику, края и области которой сами себя кормят. Но Ельцин, считая свой народ имперским и экстерриториальным, и русским такой возможности не дал, но начал войну с Чечней, опять уведшую Россию от мелькнувшей было демократии, отцом которой он так и не стал.

Россия Ельцина, хоть и уменьшилась, явно жалела потерянное Убив каждого четвертого чеченца, она развеяла надежды сепаратистов на освобождение своих народов. Русские тоже не получили права на самоопределение. По-прежнему власть чрезмерно централизована, не только политически, но и экономически, «олигархи» ей подконтрольны. Контрасты в уровне жизни растут, более трети за пределом бедности. Чуть не десять миллионов жителей РСФСР уехало за рубеж, хотя евреев и немцев меж них меньше миллиона. Власть сетует на спад рождаемости, обычный для развитой страны, но молчит, что русские мужчины умирают сильно моложе других народов, часто не доживая до пенсии. Социальная помощь государства скудней даже нищей советской. Главное событие минувших лет - отказ от идеологии. Лицемерия от этого меньше, но не бесстыдства и цинизма. А свобода слова и печати, реальные выборы и социальные гарантии не реальны.

30

Обвал коммунистического миража, несообразного с развитием науки и производства, не вывел Россию на либеральный путь, но поверг в растерянность. Многие люди, не только в России, еще путают ценности, созданные руками и умом человека, с дарами природы. Одни надеются на свои головы и руки, создающие то, чего в природе нет. Другие ждут от природы милостей или жаждут силой отобрать их у других. Мир все еще расколот на два лагеря: на создателей ценностей и ревнителей силы. При падении берлинской стены решили, что либерализм стал повсеместен. Но в России его еще нет.

Если считать от рождения машины и промышленного использования внешней энергии, капитализм утвердился в XVIII веке, хоть буржуазные отношения и политические институты возникли много раньше, не дожидаясь «первоначального накопления капитала». Научно-техническая мысль XX века открыла новые возможности. Капитализм обрел в них преимущество перед заединческим социализмом поскольку, нарушая единство, способен обогнать вчерашний день. По своей конкурентной природе он отверг вертикаль и руководящую силу, всё наперед ведающую. Конечно, капиталистическая монополия хочет быть такой силой, и единственной. Но демократическая система, не допускает исключительности, какую закрепляет социализм. А от экономических заблуждений и упущений оберегают страховки и гарантии. Имеющихся недостаточно, - уже необходимо, в частности, активнее выявлять людей, способных к умственному труду, нехватка которых сковывает развитие. Западные страны, завозя иммигрантов для физического труда, парадоксально сокращают подготовку собственных граждан к умственному. А растущий спрос на мозги напоминает, что главная ценность мироздания – человек, отчего людские права и свободы, гарантирующие возможности талантам, - не только гуманное пожелание, но экономическая потребность.

После крушения в 1991 Советского Союза многим показалось, что спорить с несбывшейся утопией Октября нет нужды. Еще Маркс писал Вере Засулич, что коммунистический порядок установится в России лишь победив сперва на Западе, с его помощью, а не наоборот.

Демократическое движение шло совсем иначе, чем сулил Маркс, и уже само его развитие, пренебрегая умственной стороной прогресса и ограничиваясь физической, его преобразило. Мы должны это различие видеть, не отождествляя Маркса и Ленина, совсем по разному видевших мир и совпадавших лишь в немногих общих вопросах. Различны не только многие суждения Маркса и Ленина, различны их ошибки, у Ленина росшие из провалов русского феодализма, а у Маркса чаще от упущений буржуазного развития.

Заединческая практика утопического социализма, дошедшего у нас до ленинского тоталитарного волюнтаризма, явно противоречила известным ему суждениям Маркса о материалистическом понимании истории. В России никто не мог объяснить почему советское мировоззрение было кладезем неоспоримых и не обсуждаемых непреложностей. Оно было подобно религии, без бога, но с верой в невероятное. Советское государство, дожившее до 1991, изначально разрывало с начатым им в 1917 году развитием, не то что неверным или верным, но выпавшим потом из сознания. .

«Не было», выходит, ни Холокоста, ни Гулага, «не было» ни заединщины, ни рожденных ею кризисов, ни слепоты перед ее угрозой. Ни двадцати миллионов погибших в лагерях России. Не было вчерашнего дня. с коммунистами и нацистами. С Лениным и Гитлером не спорят, их не замечают. Прежд были понятия «феодальный абсолютизм», «крепостное право», «буржуазия», «пролетариат». «классовая борьба», задолго до Маркса обозначавшие реальности. Изменившиеся, но продолжающие жить. Спрашивают: «Что делать?» Но не спрашивают «Как понимать?» А дело за этим.

О ПРАВЕ РУССКИХ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

1

В России часто убивают инородцев за то, что они инородцы. Русских убивают не меньше, но по разным причинам. Вроде, русским легче, но им не легко. Русским в России трудней, чем британцам в Британии, французам во Франции, даже немцам в Германии. Государство, в котором они живут после Василия III не было, национальным. Это была Российская империя, потом СССР, теперь – РФ. Это не государства русского народа, а государства русской власти. На триста лет ей хватило силы держать половину русских крепостными, потом – треть в колхозах. Первые среди равных они в любом положении имели преимущества, но и положение русских, не входивших в номенклатуру, было тяжким

Вроде Россия была империей, как Британская, Испанская, Французская. Те тоже покоряли другие народы, но оберегали свой и большей частью жили отдельно от покоренных. Индия или Нигерия не

считались Англией, А Карелия или Мордовия считались Россией. Русского человека не только заставляли работать на господ, но и поддерживать «порядок» в Карелии и Мордовии, на Кавказе и в Средней Азии, в Поволжье, в Сибири, на Дальнем Востоке. Считалось, что все это русская земля. Как там жить, решали в Питере, потом в Москве. Но как жить во всамделишных русских землях, где впрямь жили русские, русских не спрашивали. Решала власть.

Русское означало не только присущее русскому народу, но нечто большее, более общее, сверх национальное, самое полноценное из всего. Земли колоний, вошедших в империю, кто бы там не жил, именовались русскими. Разница меж английским, местным, и британским, имперским, -- четкая. А меж русской Смоленщиной и русской Бурятией, -- расплывчатая. Оно, конечно, буряты – буддисты, не православные, но их русский язык – из самых богатых и чистых в России. Россия задолго до XX века вобрала в себя десятки миллионов нерусских. Можно спорить, в какой мере русские -- это русские, а не финны, татары, монголы. Чтобы официально стать русским им надо было принять православие. Но русских протестантской веры, так называемых «сектантов» (баптистов и других), которых в России миллионы, продолжали считать русскими. Можно спорить и о том, не считать ли русскими не православных, -- тех же бурятов, и якутов, и живущих в России татар? И спорят.

Мало кто задумывается, с чего у нас расплывчатость и пестрота. У покорявших, подобно русским, другие народы ее обычно нет. А не одни буржуазно развивавшиеся англичане, но и вполне феодальные испанцы покорили почти всю Южную Америку, даже свой язык навязали и многие элементы культуры, но латино-американцы – не испанцы. Покоренные сознают себя иными, чем былые завоеватели, и освобождаются от них, продолжая говорить по-испански. Почему же у нас грань особенная? А потому, что покорение шло иначе, и его успех Россия оплатила иначе, чем Испания. Русский Колумб, Ермак Тимофеевич, не думал, что ищет путь в Индию, а знал, что воюет с Сибирским ханом Кучумом.

Покорение Сибири, Казахстана, Средней Азии, да и еще Кавказа, Россия оплатила крепостным правом. Не закрепостив половину русского народа цари не могли бы простереть Московское государство так далеко. Речь идет не о первичной личной зависимости, которая в европейских странах отмерла очень рано, уступив место поземельной и судебной. Новое закрепощение происшедшее и на востоке Пруссии, и в Польше, и особенно полно в русских землях Энгельс называл «вторым изданием крепостного права», и оно впрямь было фактом феодальной реакции. Социальная реакция в нем переплелась с национальной. Русские власти расширяли свои владения и покоряли народы, порабощая собственный. Ни в одной стране мира свой народ в таких масштабах не покоряли.

Разумеется, и в Англии, и во Франции, и даже в Испании, правящий класс эксплуатировал и крестьянство и рабочий класс своих стран. Но собственные интересы вынуждали как-то считаться с интересами трудящихся, от которых зависели и успехи в колониях. Русские цари, аристократы и дворяне полагались на эксплуатацию крепостных, почти рабов. Сознание национального интереса в остальной Европе включало

в себя интересы трудящихся, а национальный интерес в России интересы крепостных в себя не включал. В Европе, при всех классовых противоречиях, он мыслился общенародным, а в России – волей правящих слоев, народ не благодетельствовавшей. И не влекшей к самоопределению. На крепостное состояние половины русских ответом были не национальные мотивы, открыто звучавшие в Нидерландской революции, да и в Английской и Французской, происходивших в метрополиях. А за Пугачевым русские шли рука об руку с башкирами.

На словах, разумеется, Россию мыслили не просто, как иную, чем другие, но как особую державу, назначением которой было объединить и покорить мир именем Христа. Православие считалось исконной формой христианства, хотя перешло туда из Рима, да и туда пришедшее из еврейской Палестины. Под Москвой строили новый Иерусалим, и Россию рассматривали чуть не как родину христианства, а русский народ, как избранный народ Христа, наделенный мессианской миссией спасителя и водителя всех народов мира. То есть, педалировали в христианстве избранничество и мессианство иудаизма, сектой которого оно явилось. Исходное христианство, руководимое Иисусом из Назарета, не желая знать национальных разделений на эллинов и иудеев, связывало черты христианства исключительно с верой в Христа, как спасителя мира. А в христианской России их приписали русскому народу, как в дохристианскую пору – еврейскому. Приписали не крепостным людям, а русской церкви, носительнице русского национал-христианства, и, конечно, русскому царю, общему повелителю народов.

В такой ситуации не было возможности отделять русский народ от колониальных и колониальные, напротив, включали в русский. Для этого достаточно было всем принять православие, а этническое выделение русских казалось антихристианством. Советская идеология, сперва интернационалистская, признавая различие народов, позволила доходить до крайнего шовинизма, по иному утверждавшего власть русских над остальными. Но сознанием, даже славянофильским, не владела мысль о русском народе самом по себе, и о связи отвержения им крепостничества с желанием суверенности.

Такое сознание и превратило освободительную борьбу, в которой общие соображения о коммунизме перевесили конкретные следствия феодального кризиса, и всеобщая свобода тотчас обернулась силовым господством чекистов, а вскоре и всеобщее братство народов -- шовинизмом и расизмом от лица одного, русского, хотя инициатива принадлежала не народу, а неизбежно перерождавшейся власти. Здесь видят предвестье тоталитаризма, фашизма, хотя разгул силовых органов и шовинизм не причины тоталитаризма, а его следствие. Вроде бы Ленин, в отличие от Маркса, звал к новому порядку в «одной, отдельно взятой стране». Это была, однако, совсем не отдельная страна, а огромная империя, из по крайнее мере шестнадцати, обозначенных позднее, а на деле из большего числа стран. И то, что ни одна из них так и не обрела суверенности, а все подчинялись единой, и, как прежняя царская, неизбираемой власти, предопределило судьбу. Даже самый многочисленный русский народ не обрел своей «отдельно взятой» страны. Коммунисты, держась за глобалистский призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», сочли его

интернационализмом. Но выяснилось, что в едином общежитии «без России, без Латвий» латышам и в Латвии лучше сразу говорить по-русски, а русским и в Латвии латышский знать не обязательно.

Даже либеральные авторы не все берут происходящее всерьез. Иные надеются, что лишь у ничтожно-малой части советского народа – интернационалиста временно затуманились умы, - ушло, дескать, влияние марксистско-ленинской идеологии. Верить, что беда в этом, могут иностранцы да молодые люди, но, кто жил в СССР, знает, что ритуальную идеологию там, конечно, учили, но ей не следовали. Еще говорят, дружбу народов подсек сам по себе распад СССР. Опять же, современники помнят и массовые этнические депортации, и «пятый пункт», роковой не для одних евреев, да и государственный антисемитизм тоже. Неумирающий шовинизм, путая советские слова, как раз продолжает советские дела. Более того, как ни жесток был советский социализм до войны, шовинизм в нем еще не главенствовал, преследовали, хоть и безосновательно, людей разных народов, еще не смея объявить врагом никакой народ целиком. Война ускорила социальное развитие советского строя, после нее различия советского и нацистского социализмов стирались. Их сходство, вопреки разному происхождению, у нас отрицают, чтобы не объяснять.

2

А опыт тоталитарной страны, - советской, фашистской, нацистской, -- и роковые обороты неизбежного там шовинизма, помогают понимать национальное развитие в других обстоятельствах. Горький опыт XX века проясняет роль национального самоопределения в решении социальных проблем, особенно при переходе к экономическому обществу от внеэкономического - царит ли там традиционный феодализм, или феодальная реакция, или даже тоталитарная власть. Вроде все знают, что становление капитализма еще в Нидерландах было сопряжено с защитой национальной независимости, а в Италии и Германии с национальным объединением, но стремясь наладить экономику редко об этом вспоминают. Даже лозунг французской революции «Свобода, равенство и братство», осознан не вполне.

Ее свобода – не вседозволенность и не пустая абстракция, на недопустимости и невозможности которой в реальном мире настаивала советская пропаганда, а реальная свобода от феодальных и других внеэкономических зависимостей и ограничений. Нужду в ней у нас признал Александр II, отменив, - при всех ошибках, - крепостное право.

Ее равенство – не одинаковость людей, их знаний, умений, навыков, талантов или достатка, но одинаковость их прав и обязанностей перед законом, их одинаковая ответственность за свои действия в одинаковых ситуациях и одинаковое право на справедливость, независимость суда от исполнительной власти. Начало этому тоже, положил Александр II.

Эта свобода и это равенство – признанные условия экономического общества, которое у нас, к сожалению, все еще не утвердилось. Но совсем плохо, и не только у нас, с пониманием того, что означает в старом лозунге братство. А оно как раз и открыло новое понимание национальной проблемы. Уже феодальное и предшествующие общества

сознавали, что их составляют разные народы и разные племена, эти общества часто были даже, говоря современным языком, мультикультурными. Общей, правда, - впрочем, лишь до Реформации, - обычно бывала религия. Но революция променяла отчуждения множественности на плодотворность общения. Она повела к общему национальному рынку и общей национальной культуре.

Это новая общность, названная братством, была не биологической, не расовой, и дорожила не кровью в жилах, а готовностью жить на новых началах. Этой готовности революция ждала от французов, и объявляла ее национальной особенностью. В отличие от Французской Октябрьская революция в России считалась не национальной, а началом мировой. Но и ей пришлось признать национальное самоопределение условием развития. Уже 2(15) ноября была принята Декларация прав народов России, предоставлявшая им право на самоопределение, вплоть до отделения. Этим сразу воспользовались Украина, Финляндия, Эстония, и через год - Латвия, Литва и Белоруссия. Теоретически декларация предоставляла такое право и русским. Но уже то, что правительство советской России им не воспользовалось, свидетельствует, что, совершая этот достойный шаг, оно втайне надеялось и освободившиеся республики вернуть в лоно своей будущей империи, и вскоре впрямь подчинило Украину и Белоруссию, а в 1940 прибалтийские государства.

Что же отличало давнее французское братство, **общность**, от нового **единства**, к которому звал итальянский фашизм? Собственный смысл слов почти неразличим, общность синонимична объединению. Но то-то и оно, что в старом лозунге братство не обособлено от равенства и свободы, а тоталитарное единство их-то и отвергает, насаждая, вместо свободы и равенства, покорность фюрерам и номенклатуре и почти феодальные привилегии для них. Вот и характер национальной жизни меняется на противоположный.

3

Для многих Российская империя - напрасно отверженный идеал. А как раз там корни современных проблем, с которыми не совладали ни цари, ни большевики, ни «прорабы перестройки», ни «молодые реформаторы». В том числе и национальные проблемы. В отличие от Британской или Французской империй, Русская возникла до национального самоопределения русского народа. Там национальные государства создали империи и стали их метрополиями. От обретения независимости до создания империи английский или французский народы прожили века. А Русское независимое национальное государство само по себе прожило всего 72 года. Лишь в 1480 году стояние на Угре положило конец продолжавшейся четверть тысячелетия колониальной жизни Руси под игом монгольских ханов. А уже в 1552 Иван Грозный взял Казань и затем Астрахань, положив начало империи. С национальным самоопределением не поспели, и метрополия растекалась по империи.

Другое наше отличие в том, что и в Англии и во Франции зависимость крестьянина от феодала тогда слабела, обретала иные формы, а у нас,

напротив, феодальные зависимости резко усугубили, и «титულный» народ закрепостили. После Ивана Грозного, начавшего крепостничество, власть и родина потеряли идентичность, возрождающуюся лишь в роковые часы, - в Смуту, или в 1812 году, или в Отечественную войну.

Русские, хоть и закрепощенные, считались в империи господами. Позднее даже идеологический интернационализм не мешал коммунистам объявить русских первыми среди равных. Но и сперва, и потом, так отстаивали не национальное русское государство, самостоятельно решающее свои внутренние дела, а многонациональную империю. Ею правили русские господа, но русских крепостных ради нее губили. В Британской империи колонии обогащали метрополию, принося какую-то, хоть и небольшую, выгоду, почти каждому британцу. А в Российской колонии крепостных не обогащали. Тяга колоний к независимости раздирала Британскую империю не меньше, чем Российскую и Советскую. Но в Англии даже нищие и бесправные люди все же были в лучшем положении, чем население колоний. У них был отдельный от колоний дом, метрополия, а там больше прав. У русских такого отдельного дома так и не было, они от колоний не только ничего не обретали, но, ради их удержания были обращены в рабов, чего, при правлении единоплеменников и единоверцев, не знал в новое время никакой народ. Рабство в США ужасно, но все же там продавали не братьев и сестер. Своей землей прежде считали ту, на которой жили, восклицание: «О, Русская земля, ты уже за холмом» в «Слове о полку Игоревом», означало, что за холмом живут русские. А с Грозного царя своим сочли не заселенное, а покоренное. Верят, что у чеченцев своей земли нет, и они, якобы, живут на русской и хотят ее оттянуть.

Ущемлены не одни чеченцы. В СССР нерусские составляли половину населения, в России – пятую часть. Им навязывали нормы общественной жизни, хозяйства и культуры от имени русских соседей, а те не противились. В ответ росла русофобия, неприязнь к русским. Но могут ли русские остановить избиение чеченцев, когда они и себя от такой власти спасти не могут?

4

Крепостное право замедлило самоопределение русских уже тем, что трудно ощущать национальную идентичность с барями, продающими людей на торгах. В советской империи колхозы возродили крепостное право, наново поработив добрую половину русских. Прикрывая социальное неравенство, советская империя еще до войны старалась заглушить недовольство русского народа лестью, внушая, что он – первый, не только по размеру. Запись «русский» в пятой графе паспорта давала льготы. Важная при входе в правящий класс и продвижении в нем, она в обыденной жизни ничего не давала большинству русских. Русским велели гордиться империей, но, помня, что они крепостные, знать свое место. Говорят, при царях гордились и не роптали. Но в советские годы уже понимали, что ради независимости страны не обязательно быть крепостными партocrats.

В советской империи правящий класс, по преимуществу русский, смотрел на остальные народы свысока, а к собственному относился

парадоксально. Шла повсеместная русификация, но не было отдельной русской республики, по примеру других союзных, а лишь федеративная РСФСР, в которой отдельной русской, в отличие от татарской, тоже не было, то есть, русскому народу отказали даже в номинальном самоопределении, хоть и советскую империю в целом не рискнули признать русской. Подавляющая часть правящего класса как бы купала свое главенство, ущемляя народ, из которого вышла, как некогда в крепостнической империи. У многих русских это вызывало недовольство и тягу к национализму. Тем более, ее ощущали зависимые народы.

5

Национализм в советской империи объявляли абсолютным злом, на словах одинаково осуждая «великодержавный шовинизм» и «местный национализм». На практике насаждали великодержавность. Русского, жившего в национальной республике, не зная ее языка, считали интернационалистом, а местного жителя, знавшего и русский язык, и родной, и желавшего, чтобы его дети тоже знали оба, - националистом. Великодержавность жива поныне. Но «местный национализм» пугал еще Сталина. Не только в СССР и Варшавском союзе национализм угнетенных народов звал к свободе.

Однако, и «титульному» народу империи знаком не только великодержавный национализм. Другой рождается там, где «титульный» народ угнетен вдвойне, и, по мере осознания этого, отвергает великодержавность, как груз на своей шее, прозревая в избавлении от империи национальное освобождение. Такой антиимперский национализм у русских можно было видеть и при крепостном праве и при советской власти. Об этом и в песне: «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». Ни в одной стране, куда вступили гитлеровцы, они не смогли набрать армию, готовую воевать против родины, чтобы ее освободить, а русскую набрали. При всей абсурдности сочетания службы Гитлеру со свободой, сама тяга рядовых людей к освобождению шла от невыносимой тяжести «своей» империи для русских. Да и русофобию ощущали не одни должностные лица империи.

Шовинизм, охвативший правящий класс, подхватывал на свою орбиту и национализм, возникавший в обездоленной части общества. Нередко они причудливо сплетались и различие стиралось. Но не исчезало и его осознание как раз и ведет к национальному самоопределению русского народа.

6

В 1991 году советская империя дрогнула, многое потеряла, но устояла и опять не позволила русскому народу образовать самостоятельную часть новой Российской Федерации и, вообще, не преодолела советскую установку пренебрегать реальным жительством народов. Десятки миллионов русских связали надежды на национальное самоопределение и на социальное освобождение с Ельциным, но были обмануты. Вот отчаявшиеся и отзываются на провокационный

призыв: «Россия для русских!», зовущий лить кровь, как в Чечне. И придя с этой войны, как раньше с Афганской, где тоже учили попирать инородцев, они их убивают где придется. И считают, что правы, коль скоро присяжные оправдали Ульмана и других убийц мирных чеченцев.

Массовое русское «Движение против нелегальной иммиграции», формально выступает против иностранцев (в том числе из республик СССР), отнимающих рабочие места у российских граждан. Но, как показали стычки в Кондопоге, на деле оно направлено против нерусских жителей России. Президент публично сетовал, что они нарушают уклад жизни «коренного населения». Россия не жалеет ни чеченской, ни русской крови, чтобы удержать Чечню, но в Кондопоге не признает чеченцев коренными жителями общей страны. Как видим, беда не в притоке мигрантов из-за недостатка рабочей силы, а в том, что русский антиимперский национализм еще не противостоял русскому имперскому шовинизму, не свершилось национальное самоопределение русских.

Но что сулит русским шовинистический призыв? Среди реальных русских высокий русый богатырь и белокурая красавица в явном меньшинстве, русские по-преимуществу шатены и даже брюнеты. Но уже глядят, кто истинно русский, и какие примеси, имеющиеся чуть не в каждом, – от варяжских до, как известно, эфиопских, – извинительны, а какие нет, и в каких долях. Русских отвлекают заботой о «чистоте» от анализа причин их тяжелого положения. Страну зовут Россией, чтобы заслонить, что она империя.

И призыв «Россия для русских» на деле означает: «Чечня для русских!», «Татарстан для русских!», даже «Грузия для русских!», то есть, опять же, для русского начальства. Забота о покорности народов бывших колоний русской власти у нас поныне актуальней жизни русского народа и отношения этой власти к нему. Не осознано, какие территории на деле составляют русскую землю, где ее границы с землями издревле заселенными иными народами, тоже затянувшими самоопределение, и каково им в России.

7

Во имя политической корректности граждан России зовут «россияне», а понятие «русские» сведено к этническому. Это тоже рождает желание, если не изгнать нерусских, то не признавать наличия в России меньшинств, отнюдь не малых (татар больше восьми миллионов, как шведов в Швеции), и не дать им права на самоопределение на земле, где они живут, оправдывая этим имперский статус русского народа и его отказ от самоопределения. Это, говорят, способствует целостности государства, разумея империю. А не признают, что Советский Союз распался оттого, что был не союзом, а империей, и не сумел стать союзом, хоть вроде Европейского, и Россия тоже не стала федерацией.

Западные империи рухнули, и все там обособляются, – каталонцы от испанцев, словаки от чехов, черногорцы от сербов. В Ираке враждующих арабов-шиитов, арабов-суннитов и курдов держали в одном кулаке сперва турецкий султан, потом Британия, потом Саддам, а ныне американцы пекутся о целостности страны, хоть совсем не этого хотят жители. Американцы, посулив демократию, получили поддержку

всенародного голосования, но не додали народам главного – права на самоопределение. И в итоге не с Ираком воюют, а защищают тамошних суннитов от шиитов и, наоборот, не дают им самим разобраться. А число независимых национальных государств на земле растёт, и все больше союзов, в которых они хранят независимость.

Самоопределение народов вовсе не требует их разрыва меж собой. Их связи, будучи впрямь союзными или федеративными, крепили бы и у нас, будь республики и отдельные граждане свободны и равноправны, чего не было в СССР и нет в России. Единство укрепляется не решающей за всех вертикалью власти, а горизонталью взаимной необходимости. Если Россия не свалит вертикаль и не придет к горизонтали, ее ждет судьба СССР.

8

Кроме немецкого национал-социализма, ничто не искажало понятие о нации грубей, чем призыв «Россия для русских!». Он подразумевает биологическое, расовое единство, биологические приметы. А на деле жителей России спланивает не происхождение, - в их фамилиях и лицах видны не только восточно-славянские, но и татарские, и финские, и балтийские, и немецкие, и еврейские и западно-славянские корни (Столь же пестры фамилии и лица других народов.), и не вера, - не у всех православная. (Англичане или немцы тоже, кто протестанты разного толка, кто католики.)

Спланивает, прежде всего, общий язык, потому шовинисты, мешая интеграции, и делят жителей России на русских и русско-язычных. Спланивает общая жизнь и добровольно принятая культура. Жизнь перемешивает разных людей в становящейся общей культуре, не просто необходимой, но ориентируемой не на сегрегацию, а на интеграцию. Культуры срастаются десятилетиями, а то и столетиями. Но иначе не рождается национальное братство.

Отец нового президента Франции Николя Саркози - мадьяр, бежавший от советской оккупации, а отец матери Саркози – еврей, то есть, если думать, как наши патриоты, президент Франции лишь на четверть – француз. Но его триумфальная победа говорит, что для французов он, в первом поколении ставший французом, -- француз. В России такого не бывает, хоть в ней миллионы русских с «нерусской» кровью, но им то и дело напоминают про «чуждую» кровь. Недостатки реформ Гайдара, - по одному деду Голикова, по другому Бажова, по крови на три четверти русского, лишь с одной подкачавшей бабушкой, - радостно объясняли национальностью бабушки. И такое на каждом шагу. Единственное, кажется, исключение, Сталин, объяснимо не только тем, что его избирательная система еще верней нынешней давала 99,99%, но и тем, что он православный семинарист, лишь чуть не доучившийся до священника. Неизвестно, терпели ли бы его почти тридцать лет, будь он армянин или киргиз. Он и сам это ощущал, когда благодарил русский народ за терпение. Многие русские чванятся расовой чистотой, хотя ее легко опровергают их фамилии и черты лиц, полученные от предков..

Против демократической Русской республики пущено немало страшилок. Одни пугают сведением ее к Московскому государству, словно за четыреста с лишним лет меж Нижним Новгородом и Владивостоком русские не осваивали целину. Другие - тем, что порвутся связи с инонациональными республиками. Но добровольность связей крепит федерации. А если кто и отделится, не веря, что русские начальники предпочтут былым командам взаимную выгоду, за ошибку сам себя и накажет. Да и они, оглядевшись, вернутся к старым контактам.

Россия слишком велика, чтобы видеть сверху, где какой винтик надобен. Снизу видней, диктатура вредна любой стране, но Россию она особенно тормозит, и не потому, что автократ непременно злоумышленник, а потому, что «никто не может объять необъятное».

Чтобы сохранить страну в нынешних масштабах, даже федеративные отношения слишком жестки. Ей лучше быть конфедерацией, в которую национальные республики войдут вместе с русской федерацией, субъектами которой станут не области начертанные Сталиным, а исторически сложившиеся русские регионы, в которых самоуправление обретут и поморы, и казаки, и сибиряки, и смоляне. 15-16 таких, способных себя прокормить, реальных субъектов будут не выбивать свои бюджеты из объединяющей их Русской федерации, а сами смогут в общих интересах кормить федеративную власть. И создать Российскую конфедерацию с прежними автономиями, живущими, как хотят, взяв себе, по слову Ельцина, столько суверенитета, сколько смогут проглотить, чтобы Москве не тревожиться, пишут ли татары кириллицей. И органам безопасности не будет нужды печься о единстве России. Его укрепит взаимная заинтересованность

Разрешение национальных противоречий и при лучших намерениях требует времени. Об экономических переменах, тоже его требующих, Столыпин говорил: «Дайте нам двадцать лет!» Ныне сетуют, что не дали. Но от смерти Александра II до реформ, предложенных в начале века Витте, а за ним Столыпиным, прошло больше двадцати, и начлись они прежде, чем вспыхнула первая революция, ход вещей мог стать иным. Но двадцать упущенных лет Николай II вернуть не мог, да и не хотел, и толкал страну к катаклизму.

С легкой руки политолога А. Янова нынешнюю Россию равняют с Веймарской Германией. А куда бы точнее – с самой Россией после Александра II. Но при нем, хоть крестьян и обделили землей, судебную реформу провели всерьез, и хоть законодательная и исполнительная власть остались у царя, независимые суды помогли экономическому броску. Уже частичная, но реальная, перемена стала шагом к экономической свободе.

К несчастью, сын царя-реформатора не продлил отцовские реформы, а возвращал общество вспять, опираясь на великодержавный шовинизм, на «братство» без свободы и равенства. «Передышка» в реформах привела к горячей ситуации 1905 года,

вынудившей его наследника, вопреки своему желанию, пойти на реформы под огнем, так и не поняв, зачем они, хотя нужны они были для спасения России и спасения жизни ему и его семье. Зато часто бывшее при нем в ходу русское слово «погром» вошло в другие языки.

11

Нравы Российской и советской империй ныне воскресают. Шовинистические публицисты с благословения властей популяризуют старые рецепты и навыки гитлеровцев. Одними уголовными наказаниями это не искоренить. России нужны глубокие политические перемены, до которых в девяностые годы не дошло, И одна из важнейших - национальное самоопределение русских, без которого невозможно и социально-экономическое самоопределение страны.

Оно, конечно, у всякого народа своеобразно, поскольку всякий исходит из своего социального опыта. Нельзя навязать свободу тем, кого волнует лишь зарплата. Но можно сообразить, что и зарплата зависит от политического курса и экономической ориентации. При заведомо убыточной приказной советской системе ее на время можно поднять за счет богатых недр земли, если, опять же, на мировом рынке держатся цены. Но при системе, в которой государство по-прежнему, хоть и в иной форме, руководит хозяйством, зарплата растет не у того, кто – в научной ли лаборатории или у станка - работает лучше. Чтобы ей расти у них, нужна не приказная, а состязательная система, где, хорош ли был труд, платежеспособным спросом скажет потребитель.

На то и либеральная демократия, чтобы состязания не пресекал произвол власти. В Европе с ней стало легче большинству. За океаном на либеральных началах создали богатую и мощную страну. Права человека и законность позволили Голландии, Англии, Франции, Соединенным Штатам, выйти вперед в научном, техническом и производственном развитии. Германия, возродив после войны хозяйство того же типа, тоже вышла в первый ряд. «Золотой миллиард» живет лучше благодаря своим социально-политическим порядкам. Они расширяли права людей, в частности женщин, отчего в Европе падало деторождение, но не наука, не техника, не производство.

А другие, пренебрегая опытом, силятся преодолеть отставание, ожесточая гнет и захватывая чужое. Но, не меняя порядка жизни, как менял «золотой миллиард», никто лучше не зажил, кроме разве малых стран с большой нефтью. Но многие, не желая ни равноправия женщин, ни гражданских прав и свобод, не хотят уже и бедности. Их-то и влечет тоталитаризм, и с ним не совладать без перехода бедных стран к правовым экономическим порядкам.

12

Опыт России уникален. От Киевской Руси это европейская страна. Но, прежде чем обрести колонии в Азии, она сама четверть тысячелетия была колонией азиатской державы. Отчисление ее в Евразию – это глумление над той памятью и потребностью возврата в Европу. Еще не дойдя до либеральной демократии Русь порой вырывалась вперед в

европейском самосознании. Порой считают, что этим она опрокинула общий закон, или что тот закон ей не писан. Но подобные рывки кончались разорением страны. Самый наглядный, Петровский, ожесточил крепостной гнет и погубил если не половину, то треть жителей. Убегая в Европу из под азиатского ярма, она оплачивала свои достижения втридорога. А и в поэзии, и в художественной прозе, и в балете, и в старинной и новой живописи, она была среди немногих стран, великие открытия которых оказались нужны всем. Без России мир искусства и мысли был бы бедней. Но в производстве демидовские заводы Петра, как потом сталинские лагеря, за Европой и Америкой не поспели, а достижения советского ВПК, обильного талантами, на наших глазах разорвали СССР. Нефть и газ - наша кислородная подушка, но это -- дело временное.

Люди эту временность ощущают, отчего и хотят твердой руки, которая поддержит русских, не загадывая, куда их этим толкнет. Оттого и кричат уже не о первенстве среди равных, и не ведут, как бывало, утешительную пропаганду, а на полном серьезе, с практическими намерениями, твердят «Россия для русских!», суля нерусским высылки, если не лагеря уничтожения. Все недосуг вспомнить, что не то что без местных инородцев, а и без иммигрантов, как признал президент, не обойтись. За гроши, что платят иммигрантам, гнуть спину никто не хочет. Вот в «национальные герои» и выходят Копцев да Квачков и прочие практики террористического абсурда.

В империи без метрополии, внедренной Иваном и Петром, или, как нынче, с метрополией, сведенной к столице, неотвратимо всеобщее рабство, - как мудро было сказано, «снизу доверху». Тут мало сменить власть, заменить Ельцина - Путиным, а Путина - Ивановым. Прежние перевороты потому ничего и не дали, что не отвергли имперский синдром, именуемый вертикалью власти. Это под силу лишь национальному самоопределению. Совершать его придется вместе с социальным. Либеральный путь оставляет русскому народу будущее. Альтернатива – тоталитарность, фашизм. А возможности и дальше уклоняться от самоопределения растратены в XX веке.

Хоть нет числа националистическим, шовинистическим и великодержавным публикациям, русский национальный вопрос и проблемы самоопределения всерьез не обсуждаются. Не говоря о приверженцах власти, даже остатки либеральной оппозиции побаиваются, что само признание у русских национальных проблем поощрит тоталитарные силы, которые, как видим, и без того энергично готовятся к прыжку на случай, если власть к нему призовет или ее ослабление представит случай.

И у нас, и за рубежом, прижилось представление о постоянной смене у нас интернационалистски-либеральных и националистически-консервативных периодов. А самый анти-либеральный, – от 1929, включая союз с Гитлером, до 1941 - еще выглядел интернационалистским. Но как раз в эти годы заодно с русским крестьянством, «кулачеством, как классом», ликвидировали не только

экономическую терпимость НЭПа, но и всякое, вообще, свободомыслие, исключив, даже среди самих коммунистов, полемику по существу. Тогдашние «дискуссии» лишь внедряли новые установки. Да и «военный коммунизм», вполне «интернационалистский», с либерализмом ничего общего не имел.

Власть большевиков от начала до конца была анти-либеральной. Ее либеральные шаги, - и в 1921 году к НЭПу, и при Горбачеве, - были тактическими, вызванными неотвратимо грозившим крушением. Экономические идеалы большевиков-ленинцев, изначально тоталитарные, серьезных изменений не претерпевали. Их не отвергли и потом. И эта тоталитарная основа часто до неузнаваемости меняла другие представления большевиков, которые они, нередко искренне, считали частью своей идеологии, не видя их несовместимости с ее тоталитарной природой.

Так вышло и с их, вполне вроде либеральным, пониманием национального вопроса в первые дни революции, когда принималась Декларация прав народов России. Его трансформация, выдававшаяся за чисто социальную, долго не бросалась в глаза, и мало кто вдумывался в то, что ликвидация крестьянства, отнюдь не только экономической основы русского народа, составила общий и единый процесс с ликвидацией дореволюционных «старых большевиков» и других социалистов, часто, кстати, евреев. Лишь в его результате новые большевики стали шовинистами, особенно после победы. Сталинский тоталитарно-шовинистский новый большевизм уже не просто мало отличался от гитлеровского национал-социализма. Он противостоял не только интернационалистским традициям, существовавшим в России когда-то и воскресшим сразу после революции, но прежде всего надеждам русского крестьянства на землю, которыми деревня только и жила, получив волю, - но и царская власть, даже при Столыпине, и советская, волей нации пренебрегли.

Лишь открытое и массовое обсуждение всего этого круга проблем, не обходя катастрофы русского крестьянства, насильственно лишеного того развития, которое крестьянство пережило во всех странах, ставших потом цивилизованными, позволит широкому кругу людей видеть противоположность и несовместимость национального самосохранения русского народа и навязываемой ему роли постоянного конвоира остальных народов империи и ее самой. Лишь сознавая эту противоположность и несовместимость каждый русский человек сможет выбрать, что ему дороже и какой судьбы он желает своему народу.

ЧЕЙ ИНТЕРЕС НАЦИОНАЛЬНЫЙ?

Говорят, главная беда России - национализм. Убивают иностранцев, растут шовинистические организации, нет числа подстрекательским книгам и газетам, звучит боевой клич: «Россия для русских!»

Гордясь победой над Германией, у нас молчали о природе национал-социализма, толкавшего ее на разбой. Боялись напомнить о близости с нашим социализмом, оформленной Договором о дружбе в 1940 и высмеянной потом фильмом «Обыкновенный фашизм». Но шовинизм гитлеровцев был откровенным, а в России ни цари, ни

генсеки, при постоянных дискриминациях, погромах и судилищах, в нем не признавались. Ныне национальная нетерпимость обнажена.

Одни уверяют, что интернационализм был пресечен распадом СССР. Другие, -- тоже вопреки фактам, -- что беда в отказе не от идеологии, а от империи. Дескать, лишь в империи нет национализма, поскольку ей служат все народы. Но они служат вынужденно. Даже «первый среди равных» и после отмены крепостного права остался бесправен и при белом, и при красном самодержавии. Русское государство было опорой российской империи, народы, им захваченные, были подневольной опорой империи, и права на самоопределение не имели. А если его не было у русских, ее номинальных господ, что говорить об остальных!

Англичане и французы определились до создания империй, и, захватывая колонии, сохраняли отдельность метрополий. Отдельность Руси погибла с татарским завоеванием. Став при Иване Грозном империей, она не просто покорила Казанское или Астраханское ханство, как Британия – Индию, но вобрала их в себя. Казань помнит свою отдельность, а Москва забыла, и национальным праздником готова счесть любой день, но не 12 ноября по старому стилю, когда в 1480 году хан Ахмат увел войско от замерзшей Угры, где на другом берегу его ждал Иван III с полками, и Русь после четверти тысячелетия монгольского ига снова стала суверенной.

Но суверенной оказалась не Русь, а как оформили уже при Петре, Российская империя. Для русских это обернулось парадоксом. Они хранили свободу на севере, откуда вышел потом Ломоносов, бежали за ней на Украину, на Дикое поле, на Дон, на Кубань, на Яик, даже в Сибирь, а на издавна обжитых землях были крепостными, и европейскую столицу Петербург строили крепостные. При Петре и Екатерине II правящий слой, и нужные ему армия и промышленность европеизировались на крепостной почве, отменяя былую культуру, даже ее шедевры, - иконы и церковные здания. После временного провала Россия скакнула к ново-европейским культуре и искусству и вышла там в первые ряды, но крепостное население продолжало жить стариной.

Насажденные сверху перемены требовали социальных преобразований, и Александр II упразднил крепостное право, а Столыпин – крестьянскую общину. Вроде, формальная свобода открыла, наконец, русским крестьянам путь к новой жизни, занявший в Европе десятилетия и века, но до мировой войны оставалось лишь три года. Не удивительно, что мифы большевизма, дозволившего в 1917 захват земли, потом ими отнятой, влекли русских крестьян, числившихся уже как бы вненациональными. А национальную проблему свели к показательной заботе о правах малых народов, чтобы удержать их в империи. В 1937 году Сталин говорил Фейхтвангеру: «Есть у нас группа писателей, которая не согласна с нашей национальной политикой, с национальным равноправием... Их цель не критика, а пропаганда против нашей политики равноправия наций. Мы не можем допустить пропаганду натравливания одной части населения на другую, одной нации на другую. Мы не можем допустить, чтобы постоянно напоминали, что русские были когда-то господствующей нацией».

Потом такой пропагандой Сталин занялся сам, выделял русский народ и выселял другие. Но и до войны, говоря о равных правах наций,

он не входил в различия номинальных и реальных прав союзных и автономных республик. И не оговаривал, почему в СССР нет русской республики. Этим русских не унижали, отчасти, напротив, выставляли особым, общесоюзным, имперским народом, фактически отождествляя с РСФСР и СССР в целом, то есть, как бы даже возвышали, но лишали самостоятельности, что поныне ощутимо. В форме равного бесправия, как бы равноправия, но без собственных прав, граждан отстраняли от ощутимой роли в своей жизни, что и вело к неустройству, ущемлявшему не только колониальные народы, считающие, что их жизнь без чужеземного ига (а жизнь русских без Чингиза и Батыя) была бы благополучней. Неустройство терзало не только чеченцев, но и русских, исполнявших роль колонизаторов. Три века крепостного права и еще полвека уцелевшей общины лишили русского человека личных прав в русской империи, а с ними личного места в обществе, и этим упразднили общество, бросив каждого на произвол его судьбы. Революция 1917 и «великий перелом» 1929 не только не покончили с такой традицией, но ее усугубили, и в 1991 о правах отдельного русского человека, как цели русского народа, не вспомнили.

А угнетенный «титульный» народ не утешить великодержавным шовинизмом, ему нужней избавиться от груза империи, на него взваленной. Он клонится к самозащитному национализму, доходящему порой даже до представлений о колониальных народах, как иждивенцах «титульного». Они возникали у русских и при крепостном праве и при коммунистах. Антиимперскую песню: «Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна», написанную задолго до Афганистана, подвергали партийной критике. Чтобы судить, что кому нужно, в отечестве не хватало свободы. А без нее надобный режиму «военно-патриотический» национализм вытеснил естественный мирный патриотизм и созидательное участие всех населяющих отечество людей в жизни, то есть, заботу об их правах, определяющих их возможности. Между тем, за рубежом, в условиях, согласно пропаганде чуждых национальной природе, русские как раз вполне преуспевают.

В зеркале русской литературы еще XVIII-XIX веков заметно личностное формирование, противостоявшее уродствам бесправия. В старообрядческих книгах и житиях русских святых оно заметно и раньше, не только в свободной, но и в закрепощенной среде. Это противоречие, восходящее, быть может, к исконному европеизму древней Руси, опережало экономику, и толкало умы к выходящей за край остроте, но на имперской почве усилия изменить реальность вели в тупик.

В России царей нередко убивала свита, - и Петра III, и Павла. «Неудобозабываемый тормоз», Николай I не был убит, но, возможно, покончил с собой, а царя-освободителя убила не свита, не одиночка, а движение, охотившееся за ним пятнадцать лет. Претензии к социальному реформатору на российском троне питались тем, что не все скопившиеся проблемы он решил разом, хотя, помимо отмены крепостного права, учредил нормальный суд, какого нет и в наши дни.

Крепостное наследие в том и состоит, что власть опирается не на добровольность, а на насилие. Это осталось и после перевернувшего было все остальное 1917 года. Власть царя оправдывали помазанием божьим, но и большевики никакого реального оправдания

неограниченности своей власти назвать не могли. Ленин установил диктатуру партии и ЧК, Сталин еще сильнее увеличивал роль прямо подконтрольных ему органов насилия – ЧК-НКВД-КГБ.

Они вносили в русскую жизнь напряжение, пропитавшее власть. Советский Союз тем и держался, но не удержался. Мы говорим: Союз распался, но он был не союзом, а империей, и в этом качестве уцелел. В 1991 от нее отпали Украина, Прибалтика, Кавказ, Средняя Азия, но СССР, как империя, в ужатом виде цветет, хоть и зовется Российской Федерацией. Это все то же государство, по-прежнему не национальное, и в его составе по-прежнему нет отдельного русского государства, как не было при Иване Грозном. А залог самоопределения русских в отказе от империи и вертикали насилия, в опоре на внутренние взаимовыгодные горизонтальные связи.

Национальное, понятно, не сводится к этническому. Право на самоопределение нужно нациям, а не племенам или племенным союзам. Нации характерна не просто общность происхождения, часто от разных этносов, но общность жизни, в частности хозяйственной. Не только американцы полиэтничны, и в немецкую нацию вращали славянские этносы, и в русскую – финны, потом татары, немцы, а в XX веке евреи и армяне, одновременно и ассимилируясь, и привнося свое. Нацисты в тридцатых, а потом и коммунисты, вытесняли «чужаков» из «коренной» нации, проводили этнические чистки, числя национальным этническое, но таков любой тоталитаризм, фашизм, нацизм, коммунизм, дорожащий единообразием больше, чем взаимностью разных.

Для русским самоопределяться внутри Российской федерации, как ее потом ни назовут, означает, что надо определиться, как Русская федерация, охватывающая русские края и области. Как единое целое, она вольна образовать конфедерацию с национальными автономиями, желающими такого союза. Но самой Русской федерации надо состоять не из нарезанных Сталиным клочков, а из 15-20 исторически сложившихся русских регионов - Черноземье, Север, Поволжье, Дон, Урал, Сибирь, Дальний Восток и.т.п, самоуправляемых и способных себя прокормить, а не жить подаями центра. И в Русской Федерации и в национальных автономиях жители должны иметь равные права, независимо от этнической принадлежности. Тогда и федерацией и конфедерацией, впрямь ставшими добровольными союзами, сможет править представительная система, и пройдет нужда в самодержце, во главе вертикали власти - царе, генеральном секретаре, президенте.

Различие такой системы и нынешней не менее важно, чем рыночного и государственного хозяйства, которое наша практика не отвергает. С той же остротой, с какой в 1917 встали национальная и аграрная проблемы, хоть и не столь откровенно, спорят, что русскому народу нужней, - национальное государство или империя, и каким быть хозяйству, - экономически соревновательным или ведомым государственными барами и их челядью. Разные люди верят в разные решения. Ни у тех, ни у других в народе нет четкого перевеса, поскольку предметы спора открыто не обозначены. Но позиция правящих чекистов ясна. Вслед за выросившей их партией они верят в государственную вертикаль, почему и не хотят свободных выборов и реального парламента. Они верят, что Россию можно силой и на крюке удержат

целостной, вот и держатся за самодержавие президента, - главы не исполнительной власти, а воспарившей над всеми.

Они не признают семидесятилетнего опыта, не признают что Советский Союз - жертва не геополитической катастрофы, а катастрофы своего общественного строя, что люди бежали не от козней «мировой закулисы» или «плохого» Горбачева, а от бесправия. Чекисты возрождают былое, сняв портреты Маркса, и, опознав в его слепоте угрозу своему государству, записывают его врагом народа. Отсюда имперский шовинизм, опять грозящий катастрофой.

Вроде и Победоносцев, и Витте, и Столыпин, и Струве, и Керенский, и Плеханов, и Бухарин, дворяне, купцы, рабочие, крестьяне, октябристы, кадеты, эсеры, большевики, черносотенцы, все по-своему любили Россию и желали ей лучшего, как его понимали, все по-своему патриоты. Но, что ей лучше, они понимали по-разному, и убивали друг друга за свое понимание. Всей правдой никто не обладал. Но нынешние опять стоят на своем праве убивать других.

Рогозин, представляя Россию в НАТО, монополизирует патриотизм от лица власти. Эта монополия выходит отечеству боком. Другой патриот, генерал Балухевский сулит тем, кого пугается, ядерный удар. Иностранцам, чтобы не нервничали, внушают, что это говорится в угоду своему народу. Но русский народ не хочет ни войны с ядерным ответом, ни даже обострения отношений. Обострения ищет власть, чтобы, пугая народ внешней угрозой, делать, что хочет, пренебрегая нуждами людей. Этот ее интерес и зовут ныне национальным.

БЕДА НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Быть может, лучшая художественная находка Солженицына - название его знаменитой книги «Архипелаг ГУЛАГ», ставшее синонимом отечеству. Естество географии и жестокость противоестественности, спаянные рифмой, вместили прожитую страной жизнь в два слова. Тем горше, что, будучи десять с лишним лет на слуху, они еще до перестройки не подвигли политиков сказать: «Россия нужны не лагеря, а свобода! Остальное, включая насущные хозяйственные преобразования, приложится». Но так начать как раз и мешала лагерная традиция.

У Сталина хватило духа перебить не горстку идейных или хотевших власти противников, что бывало везде, а многомиллионные социальные слои. Он ликвидировал «кулачество, как класс», в его полном живом составе. Поскольку счел этот социальный слой лишним. Чтобы усидеть, убивали пачками. Убивали и усидели. Но в масштабе террора проступает не только беспощадность тирана, но и мера сопротивления.

К тому же, террор не сводился к ГУЛАГУ, и власть - к команде КГБ. Наравне с ней и большей частью над ней работала организационно-идеологическая команда, коммунистическая партия, КПСС. И той и другой друг от друга изрядно доставалось в ходе внутренних распрей. Но они были двумя опорами, двумя ногами сталинского режима, его опричиной и земщиной. КГБ заполняло острова архипелага, а КПСС поддерживала режим, то бишь вертикаль власти, вне зоны. Обе ноги попирали декоративную власть. А лагерь не ограничивался Россией, и

даже Советским Союзом. Сообщество покоренных стран не зря тоже называли лагерем, социалистическим лагерем, охватившим почти полмира, хоть вертикаль власти в нем порой и сбила, еще при Сталине. Проколотся «иуда»-Тито. Потом захотел самостоятельности «великий кормчий» Мао.

Лагерная система, лишённая эффективной обратной связи, подрывала не так себя, как страну. Не озираясь на плоды своего усердия, гражданскую жизнь принесли в жертву военной машине, не сумевшей, однако, за десять лет победить феодальный Афганистан, не слишком щедро подпитывавшийся стингерами. Горбачев из Афганистана ушел, но из лагеря не сумел. Он лишь пытался чуть поднять советскую власть над КГБ и партией, хоть опыт СССР, если что и показал, то неспособность этой власти обойтись без архипелага лагерей, призванных страхом перед ними упреждать бунт.

Советы, задуманные, как органы реального самоуправления, то есть, свободы, на деле стали противоположностью, - ширмой полицейской диктатуры. Чтобы умерить насилие, если не власти, то оппозиции, надлежало понимать, где оно коренилась, как забылись прежние декларации, пусть утопические, но привлекавшие людей. К примеру, перед распадом советская власть считала обучение детей на родном языке обязательным уже только в союзных республиках, а в автономиях могло вовсе не быть национальных школ. Нет лучшего подтверждения шовинизма в СССР. А советская власть едва ли не первой стала создавать учебники родных языков для бесписьменных народов. Отчего же пропало желание обучать на родных языках, даже давно обладавших не только письменностью, но и литературой? Не только у нас вторили коммунистическим идеям, но и в Китае, и в Германии, и на Кубе, и в африканских и азиатских странах, они оборачивались ГУЛАГОМ и голодом. Ну, не сбылась бы утопия, не построили бы на земле царство божие, с кем не бывает, но почему сотворили геенну огненную?

Не потому ли, что полагались не на свободу, и террор воплощал руководящую волю? В фундаменты великих строек коммунизма замуровывали людей. Лагеря, не говоря о расстрелах, прочищали население. При этом клеймили утечку умов, русских невозвращенцев и выезжавших евреев, за урон, наносимый державе. А он был невелик в сравнении с уроном от истребления и оттеснения умов, какое повседневно вели не одни чекисты, но вся мудрая партия, обратившая пункты анкеты, не только пятый, в барьеры перед образованием, перед работой, перед политической жизнью. В европейских соцстранах это все же шло не так ладно. В Чехословакии выжил не только Гавел, но даже Дубчек, в Польше не только Валенса, но еще Гомулка, а у нас убили не то что Бухарина, но и Вавилова, и даже Старовойтову, то есть, правящий класс не терял бдительности.

В перестройку «Архипелаг ГУЛАГ» вышел огромным тиражом. А государством по-прежнему правили выходцы из КПСС и КГБ. Уверяли, что именно там прежде сосредотачивались таланты. Сталин умер полвека назад. А заведенное держится. Считалось, что держится на идеологии и организационных усилиях, но марксизм-ленинизм уже не официальная доктрина, и КПСС, то бишь КПРФ, не правящая партия.

Считалось даже, что держится на культе вождя, хоть чтивших его было не больше, чем ненавидевших. Но опорой была угроза расправы, а потому и безнадежность любого начинания. Диссиденты были правозащитниками, требовали соблюдения провозглашенных законов. Иной власти и иных законов не добивались. Вот и остались с прежними.

Когда нынче глядишь на политические события и издания, кажется, что опять не стало людей. Впечатление, конечно, ложное. Просто опять не стало им ходу, возобновилось оттеснение умов. Пробыться трудно, не сразу и услышат, тем более, что и за бугром утрачен интерес к российскому демократическому сопротивлению, а свобода внутреннего слова скукожилась. Вот и кажется, что всех убили, все умерли или уехали. Но это не так. Пропало доверие к говорившим правду, но бессильным ее воплотить.

Нелепо было ждать от Ельцина другого. Сперва положась на обаяние Секретаря Свердловского Обкома, а потом по заслугам от него отвернувшись, люди ждали, что, если уж новая власть не даст самим честно заработать, то будут в раздаточной пощедрей. Но это надежда лагерная, советская, она привита регулярным снижением цен на спички после четырехкратного подъема цен на хлеб. Общество частных людей рождается не в лагерной раздаточной, где можно лишнюю кашу закосить, а на свободе.

Уверяют, что Ельцин со своим Чубайсом, способным организатором, но глубоко советским человеком, раздавая заводы и скважины, строил общество частных людей. Но они лишь перешивали советское хозяйство, выводя новых владельцев на поводках. А шить надлежало наново, не из казенного сукна, и полагаться не на поводок, а на правовые гарантии экономической и прочей свободы. Чтобы казенное и частное реально состязались, и хозяйство работало в меру усердия хозяев и в границах права. Было бы легче признать, что казенные заводы не у нас одних убыточны, а в хваленном Китае тоже. Но раздать их - не значит вовлечь в состязание. Паек от пайки отличают размеры, а не социальная природа.

Частный человек несовместим с лагерем, а лагерь с частным человеком. Когда все заодно, а несогласных убивают, частным людям страшно. КГБ – не просто учреждение, но и образ жизни, и образ мыслей. Лагерное единство и за пределами ГУЛАГа не оставляет места собственному разумению, решат граждане начальники. Но люди, и сферы их работы и места жительства, не говоря уже о национальных и религиозных традициях, различны. На общегосударственные проекты они реагируют по-разному и часто неожиданно. Законодатели, нехотя приняв закон о продаже пахотной земли, оговорили ее обязанностью местной власти определить порядок продажи. А его определили лишь в одном субъекте федерации, в Краснодарском крае, никак не демократичном и не прозападном, но знающем цену земле. Страну там не прочь видеть лагерем, но себе хотят свободы.

Достанься земля казакам раньше, глядишь, они, а не американские фермеры, кормили бы Россию, побуждая к иной жизни и соседей. Вступи Кубань и Дон, при всем их своеобразии, в экономические отношения с другими частями страны, глядишь, и там, противясь лагерным порядкам, зажили бы по-своему. И Кубань бы смекнула, что

открытый шовинизм не помогает торговым связям. Экономическая свобода побуждала бы национальные республики, союзные и автономные, к развитию в добровольном союзе. Но в Советском Союзе они были национальны лишь по форме.

Говорят, Советский Союз погублен недостатком твердости, какую Путин проявил в Чечне, поняв, что Россия с двадцатью процентами нерусских, заселяющих обширные, хоть и не лучшие, земли, все еще империя, а не национальное государство. Но если бы русское национальное государство, состоящее из русских субъектов федерации, не только не ущемляло в Москве «лиц кавказской национальности», но дало реальную автономию всем примкнувшим к нему по доброй воле республикам, начав с Дудаевской Чечни, русские регионы тоже бы скинули лагерный груз и перестали нищенствовать. Иным кажется, что в СССР было сытней, чем у разбитого корыта, верят, что было хорошо и, КГБ туда вернет. Не видят, что, пресекая самостоятельность, лубянские террористы губят Россию, как прежде губили СССР.

ОРИЕНТИРЫ

1

«Левое» знамя сперва подняла буржуазия, -- за экономическую свободу, потом рабочий класс -- за социальные гарантии. Под «левым» знаменем шла борьба за национальное освобождение от разбухавших империй. Считается, что в России левые, «красные», боролись против царя, а за царя были правые, «белые». Но это лишь часть картины. Царь, понятно, был белым, и за него были белые: черносотенцы и октябристы. Но против него - и «белые» либералы (кадеты), и «красные» социалисты-революционеры (эсеры) и социал-демократы (меньшевики и большевики).

В СССР быстро ликвидировали и кадетов, и эсеров и меньшевиков. Да и подавляющее большинство большевиков, вступивших в партию до революции или сразу после нее, расстреляли и загнали в лагеря, хотя монопольно правившая КПСС продолжала именоваться партией большевиков. Новые цари, коммунистические тоталитаристы, упразднили экономическую свободу, свели на нет социальные гарантии, уничтожили независимость рабочего движения, возродили имперский дух и национальное неравенство, но по-прежнему именуются «левыми».

Глядя в прошлое, мы сочувствуем «левым». Борьбе буржуазных партий за свободу и всеобщее избирательное право, борьбе социалистических партий за реальные социальные гарантии трудящимся. Но именно это разделяет нас с нынешними «левыми», славящими тоталитарные порядки, фальсифицированные выборы, лишение людей элементарных прав и практическое упразднение, социальных гарантий в коммунистических странах. Преображение «левых» в крайне «правых», часто в открытых черносотенцев, началось в странах, не знавших буржуазных революций.

2

В Нидерландах, Англии и Франции буржуазные революции не просто дали толчок прогрессивным общественным переменам. Сами эти перемены непосредственно служили промышленному производству, обратили эти страны в очаги технического развития. Ощувив их преимущества, феодальные страны хотели наверстать упущенное, но не меняя своих порядков. Проще всего было ожесточить внеэкономическое принуждение, крепостной труд. При этом феодальная реакция перенимала у буржуазных стран технику. Ей казалось, что производству общественные перемены не нужны, достаточно перенять чужие машины да навыки, а крепостные рабочие не хуже наемных.

Петр Великий, повелитель гигантской феодальной империи, покупал в Англии станки и ставил к ним крепостных. А его внук, освободив дворян от обязательной царской службы, обратил крепостных, - и заводских, и работавших на земле и дворовых, в полную частную собственность господ. На этой основе Российская империя создала могучую армию, прославившуюся при Екатерине II. Но у такого порядка был заведомый предел, обозначившийся в Крымскую войну. Слабели и другие феодальные империи. От Испанской и Португальской отделились страны Латинской Америки. После Мировой войны распались Оттоманская и Австро-Венгерская.

3

Распад феодальной империи не всюду, однако, вызывал буржуазные преобразования. К тому же, империи распадалась на страны в разной мере развитые. Порой возникали искусственные страны. Из ключевых Оттоманской империи сшили, к примеру, Ирак, сложив земли, населенные арабами-шиитами, арабами-суннитами и курдами, тоже суннитами, но оставив за границей таких же арабов и таких же курдов с их землями. А, за вычетом Соединенных Штатов, заселенных приезжими из разных мест, буржуазные государства тяготеют к национально-территориальному устройству, и заселены в основном одним народом, как самостоятельные государства с полными правами для меньшинств или субъекты реальных федераций. Но лоскутные страны часто обращаются в малые империи, где один народ выше других.

Да и выход из империи не всегда спасает от феодальных традиций. Россией, да во многом и Германией, и Италией, долго правила феодальная реакция, тормозившая самоопределение народов, в том числе и русского, империей закрепощенного, и немецкого, и итальянского, остававшихся раздробленными. И от буржуазных империй колонии с годами отваливались, но не всегда с буржуазным строем, как от Британской Соединенные Штаты. После Второй Мировой распались и Британская, и Французская, и Голландская империи. А после холодной войны Советская (воскресшая из рухнувшей в революцию Российской), хоть не вполне распалась, но лишилась важных колоний. Буржуазные империи, не говоря о советской, нередко правили в колониях как феодальные, внеэкономически. Когда реакционные колониальные системы рушилась, в новых государствах, обретших независимость,

часто не было условий для самостоятельного развития, и они были обречены отставать.

Пока они оставались колониями, этим пренебрегали. Но Германия, Италия, Россия, имея исторические и культурные основания быть не хуже первых буржуазных стран, с отставанием не мирились. Буржуазные революции там запаздывали, не удавались или не были достаточно глубоки. Но и там развивалась промышленность, и там возникало «левое» рабочее движение, но иное, чем в странах, где оно возникло сперва, в нем первенствовала присущая феодальному сознанию вера в волюнтаристское переустройство мира, в борьбу не так за социальные гарантии, как за иной, отличный от сложившегося, общественный строй. Эта вера питалась и заемными и местными мировоззрениями, везде обретая свои краски, и напирая на свои отличия от других, но схожесть принципов и действий обнажала общую природу тамошних «левых».

4

Если английское рабочее движение созревая в классовой борьбе с буржуазией, требовало справедливо распределять доходы от производства между его владельцем и наемными рабочими, то уже написанный Марксом немецкий Коммунистический Манифест требовал полностью экспроприировать производство в пользу наемных рабочих, утверждая, что, когда наемники станут его владельцами, исчезнут классы и классовая борьба и придет всеобщая благодать. Для автора Манифеста единственная причина классовой борьбы - частная собственность, словно уже в самом разделении труда и в различиях предложения и спроса на его разные виды нет предпосылок борьбы. А советское обезличивание собственности, провозглашение ее государственной, так и не упразднило различие интересов разных участников производства.

Нежелание признать классовые противоречия и классовую борьбу непреходящими свойствами всякого общественного производства, уверенность в их недолговечности, в корне изменили характер «левого» движения. Ориентация на социальные компромиссы уступила место ориентации на диктатуру, надежда на самих себя в либеральном обществе - упованию на радикальное патерналистское государство. Нетрудно показать, и сегодня охотно это делают, что Россия – жертва несостоятельности экономической теории Маркса, особенно его ошибок в теории ценности (стоимости), не видящей источников ценности ни в чем, кроме физического труда, - ошибок, поныне не вполне осознанных. Но, вторя теоретическим ошибкам Маркса, новые российские «левые», большевики, отвергли его общественную позицию.

А она была «левой» в старом смысле. Маркс, оговаривал свой коммунизм (социализм) неизменными условиями, настаивал, что это - явление сугубо постбуржуазное, имеющее шанс наступить лишь на высшем уровне буржуазных отношений в наиболее развитых странах, да еще во всех сразу. Он сопрягал с коммунизмом отмирание государства и множественность производства, где самоуправляемые рабочие коллективы независимы друг от друга, а не образуют единый концерн, как мечтал Ленин. Советский марксизм наперед отверг эти условия.

Конечно, их соблюдение не сделало бы утопию реальностью, но от многого бы удержало. Оттого преступления советского строя и не свести к даже бесспорным ошибкам Маркса.

5

У них были свои предпосылки. Маркс сам не вполне был свободен от влияния феодальной реакции, сильной в Германии, когда он был молод. Но эмиграция в Англию, знакомство с ее жизнью и рабочим движением, подталкивали его к демократии. А в российскую действительность, еще только отдававшую буржуазность, марксизм приходил как в царство феодальной реакции. Где тут было задумываться, что по утопии Маркса коммунизм может быть лишь пост-буржуазным, то есть надо стране сперва прожить какое-то время при буржуазном строе, и недели, в которую Съезд Советов принял буржуазные декреты о земле и праве наций на самоопределение, для этого недостаточно.

Ленин отлично понимал, что до коммунистической мечты, как она изложена Марксом, России как до звезды небесной. Вот и не ждал, что к ней приведет объективный ход вещей, а жаждал чрезвычайных мер! Но чрезвычайность могла действовать постоянно только при всевластии, подобно самодержавию, ничем не ограниченном. Откуда лидерам партии было взять такую полноту власти? Ленин считал, что она всецело зависит от абсолютного единства партии. Нужда в постоянных чрезвычайных мерах не только не терпела оппозиции, но не допускала разногласий и внутри самой правящей, партии. От нее требовалось полное единение, единство. Единство – главный принцип коммунизма.

Оттого Ленин и отбросил, «как грязное белье», прежнее название «социал-демократическая». Демократ признает наличие другого и долю истины у другого, нужду с ним считаться, идти на компромисс, хоть отчасти быть либералом. Но тогда чрезвычайные меры невыносимы, а без них коммунизму в России не победить. Отсюда и резолюция о единстве партии на Десятом съезде, провозгласившем НЭП, и потом постоянно - единство всего советского народа. Формулы единства менялись, оно бывало социальным, национальным, даже ведомственным, но всегда всеобщим и обязательным для всех, пренебрегающим специфическими интересами. Для русских «левых», большевиков, полное единение - неременное условие партийности.

6

Но то-то и оно, что такое единение тогда же устанавливалось и в партиях отнюдь не марксистских и вовсе не русских. Итальянский социалист Муссолини вскоре тоже создал новую партию, и самое ее название «фашистская» происходит от итальянского *fascio* (пучок, связка) и означает «партия единства». Тот же принцип стал главным для немецкой национал-социалистической рабочей партии Гитлера. Единством держались и «социализм с китайской спецификой», и «исламские социализм» и многое другое. Не всех уже признавали «левыми», иных даже изображали «правыми», но все стояли за социализм, хоть по-разному его понимая. Забыв о распространенности

социалистических, но не демократических, партий, живущих единством и единомыслием, трудно понять, чем была советская заединщина.

А в том-то и дело, что она не одна на свете, и все ей подобные, пусть под иными флагами и словесами, вместе как раз и придали XX веку страшное своеобразие. Но чтобы не повторять пройденное, былого опыта мало. Выход на арену истории десятков и сотен заединческих движений в разных странах - главное событие новейшей истории. Не во всем они схожи, подчас враждуют и даже воюют меж собой, но их отношение к либеральным общественным ценностям одинаково. Вместо совершенствования образа жизни они ориентированы на замену самодвижущихся общественных структур заединческими диктатурами, противопоставляющими стремлению людей к благоденствию старый лозунг: «Пушки вместо масла!» А мир, превыше всего ценивший прежде свободу, не оказывает сопротивления.

7

Распространяясь по свету, заединческие партии и группы обычно не приживаются в странах давних демократических традиций, в частности, в англо-саксонских. Возможно, это и мешает англо-саксонским политикам понять чуждую им природу заединщины. Ее, в противовес англо-саксонской прагматичной компромиссности, еще в XIII веке создавшей парламент, питают традиции власти, ожесточившейся от бессилия феодального мира перед машинным производством, которое пришлось перенимать. В малых странах, где этот процесс неспешен и дает приладиться к новым условиям, феодальные страны еще перерастают в буржуазные по компромиссной английской или радикальной французской схеме. Но если, как Петр, навязывать чужую технику насильно и стремительно, феодалам не сладить с социальными противоречиями и массовым недовольством, а буржуазии еще не установить демократию.

Тут и берут верх заединщики. Действуя сперва заодно с демократами против феодальной власти, как большевики против самодержавия, они противятся замене его демократией, служащей буржуазному развитию, как раз и подрывающему возрождаемое заединщиками крепостное послушание. При смуте в умах заединщина манит порядком. Не всегда за нее большинство, но четверть мест, полученная неведомой прежде партией в Учредительном собрании, - не малость, ведь заединщикам важно не так большинство голосов, как готовность их сторонников к силовым действиям. Четверть мест, когда за каждым не один человек с ружьем, - сильнее большинства, поскольку новофеодальные режимы утверждаются силой, не спрашивая мнений.

8

До Второй Мировой, пока планета была по-преимуществу в колониальном управлении, заединщина составляла скорей исключение. Свирипей всего оказалась в России, потом в Германии, чуть менее жесткой - в Италии, в Испании и кое-где в Латинской Америке. Еще обольщала иллюзия общего прогрессивного движения к демократии,

подкормленная победой во Второй Мировой. Однако, крушение империй и трехкратное увеличение числа независимых государств, большинство которых уже по своей постколониальной отсталости тяготели к тоталитарному правлению, резко изменили картину мира. В Организации Объединенных Наций, созданной с лучшими намерениями, диктатуры составили большинство, и это мешало ей реально служить миру и демократии. Она часто помогает тоталитарным режимам, ради политической корректности закрывая глаза на их природу. Индия, едва ли не единственная, сумела выработать свои методы ненасильственной борьбы и усвоила традиции англо-саксонской демократии. Но в большинстве колоний вышло иначе, а великие державы, победив тоталитарную Германию, приняли как должное обращение своих бывших колоний в мелкие тоталитарные государства.

Не лучше была их реакция на кризис советского тоталитарного режима. Когда, разорившись, он декларировал готовность к демократическим преобразованиям, западные державы, естественно, приветствовали такие намерения, но охотно принимали декларации за реальность, не без выгоды для себя помогая советскому правящему классу обойтись без коренных социальных и политических реформ, а вскоре резкий рост цен на нефть и газ, позволил, опять же, с помощью Запада восстанавливать в России былой порядок.

Социальная слепота при экономическом и военном могуществе внушила США и Европе высокомерие. Там не предвидели событий 1985-1991 годов в СССР. Там не видели формирования грозных сил, осуществивших 11 сентября. Да и потом не различили в атаке на Нью-Йорк новое обличье той заединческой силы, с которой воевали во Второй Мировой.

На политической арене теперь, с одной стороны, заединщики, преимущественно исламские, и поддерживающие их западные «левые», а с другой – правые реакционеры, тоже не знающие другого языка, кроме оружия. Либеральный центр потерялся, а еще в холодной войне противостоял тем и другим, способствуя мирному характеру перемен и настаивая на соблюдении норм демократии и прав человека. Конечно, либеральные голоса по западному радио реальную жизнь в тоталитарных странах не улучшали. Но люди сознавали, что заединщина – не единственная возможность выжить, как их уверяли ежедневно. И когда обстоятельства позволяли, в Восточной Европе и Советском Союзе возникало сопротивление тоталитаризму, который хотя бы на время, а где и навсегда, удалось одолеть. А ныне Запад, как в конце тридцатых, безмолвствует, отступая перед заединщиной, опять готовящейся нападать.

Начало военных действий США и Великобритании в Ираке выглядело, словно осознание, что история не окончилась с падением берлинской стены, и готовность защищать свободу и прогресс ныне столь же необходима, как в войне против Гитлера и в холодной войне против советской угрозы. В Ираке царил тоталитарный режим Саддама Хусейна и социалистической партии БААС, и, вводя войска, союзники

заявляли, что воюют за демократию. Саддам уже убил отравляющими газами чуть не 200 000 курдов и не давал международным наблюдателям выяснить, не владеет ли он еще более грозным оружием, - на желание упредить его применение тоже ссылались. Превосходство сил быстро принесло военную победу, а затем и политическую - успешно прошли всеобщие выборы. Но США и Великобритания странным образом не вникли в социальное состояние Ирака, которое и впрямь необходимо было изменить, а сочли, что главное - сохранить его единым.

Между тем, Ирак, искусственно созданный из обломков Османской империи, изначально раздирали противоречия между шиитами, суннитами и курдами. Баасистский режим опирался на арабов-суннитов, преследуя курдов и шиитов. Свержение режима внешней силой позволяло решить противоречия демократически, разделить страну на три или две (шиитскую и суннитскую, включающую курдов) страны, способных начать самостоятельную жизнь, пусть сперва в формально едином федеративном государстве. Но союзники согласились с фактическим верховенством шиитского большинства. Даже суд над Саддамом и заслуженная им казнь прошли как сугубо шиитские мероприятия, даже процесс над Саддамом по поводу уничтожения курдов газами не был доведен до конца.

Выступив против тоталитаризма, против баасистской заединщины, союзники на деле стали служить шиитской заединщине, не умерив этим ни аппетиты суннитской, ни гражданскую войну. Вместо того, чтобы помочь демократическому разрешению внутрииракских противоречий, опасных и соседям, что оправдывало бы введение войск, американцы ввязались во внутреннюю вражду, не имеющую военного решения. А для политического решения необходимо признание того, что в странах, не справляющихся с переходом к современным экономическим и социальным отношениям, в любой национальной и религиозной общности бытуют и заединческие, тоталитарные, тенденции, и либеральные, нуждающиеся в политическом содействии.

Забвение внутренних различий и противостояний, декларации об общей вредности ислама или других религиозных или политических течений, как раз и помогают заединщине. А пора в каждой из ветвей ислама отличать фашизм от либерализма. Смешны призывы поддерживать суннитов и Саудовскую Аравию против шиитов. Разве террористические движения, начиная с Аль-Каиды, не суннитские? Разве Саудовская Аравия, - возможно из страха, что иначе атакуют ее, - не поддерживает их деньгами? Столь же смешны призывы поддерживать шиитов и Иран. Разве не из Тегерана ежедневно исходят угрозы всему миру, подкрепляемые поспешным изготовлением ядерного оружия? А легко увидеть, что многие нынешние действия исламских и не исламских народов движимы отнюдь не национальными интересами, но интересами отдельных слоев и групп, толкающих эти народы к заединщине, манипулируя ими. Чтобы понять, почему это возможно, надо помнить о прагматических преломлениях религии.

Ее догмы рождались по потребностям общества, а, когда потребности менялись, церковь, часто во внутренней борьбе, перетолковывала догмы. А ныне фундаментализм предлагает их принимать даже не

символически, а буквально, не оглядываясь на объективную реальность. Но оглянемся. При Мухамеде забота о деторождении впрямь была первоочередной и наложила печать на положение женщины, обособила ее, допустила многоженство. Сегодня детей защищает медицина, несопоставимая с временем Муххамеда, но множество людей по разным причинам не уверено, что медицина им поможет, и держится за привычные нормы. Между тем, давние установления преграждают исламскому обществу путь к современным производственным возможностям. Да и неограниченность деторождения мешает родителям ощутить ответственность за будущее детей и плодит нищету. Но только собственный опыт переубедит верующих.

Не стоит бранить ислам и уверять, что он хуже прочих религий. В буддизме, иудаизме, христианстве, есть немало положений, несовместимых с современным образом жизни, и, если церкви их не отменяют, то, так или иначе, перестают акцентировать. Вспомним хотя бы Второй Ватиканский собор и усилия Иоанна XXIII и Павла VI. Известная реплика Иисуса: «Кто не со мной, тот против меня» не менее нетерпима, чем самые страшные тексты Корана. Но Европа и Америка не только проявляют все больше терпимости, подчас даже чрезмерной, но именуют эту терпимость христианской. Исламу такой путь тоже не закрыт, если он не останется орудием заединщины.

10

В производстве XX века резко выросла доля умственного труда. Научно-техническое развитие бросило вызов обществу, его готовности к новым возможностям. Вызов труден для всех. Нехватку рабочей силы, лишь со временем и не во всем снимаемую механизацией и автоматизацией, приходится восполнять иммигрантами, что ведет к национальным конфликтам. Но в либеральном обществе нехватку сперва смягчает внутренняя миграция, а в заединческом, с паспортной системой и пропиской, да еще при бытовой сложности переезда, внутренняя миграция заведомо трудна. Власти это, вроде, невыгодно, но она терпит национальные конфликты, а внутреннюю миграцию не облегчает. Для этого пришлось бы считаться с реальностью, а это нарушало бы схемы, которые заединщина навязывает жизни.

Заединческая пропаганда не связана своими вчерашними утверждениями и пришедшую с техническим развитием глобализацию изображает всемирным американским владычеством, хотя ее предрек еще лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», никак не буржуазный и не американский. Глобализация лишь на время оставляет Соединенным Штатам быть социально-техническим примером, а другие могут, как Китай, на конкурентных началах наращивать и развивать производство. Доступ к международному экономическому развитию открыт всем, важно лишь понять свое место и удержать свою автономию.

А для этого надо расширять и защищать свободу хозяйствования, тогда от заединщины и в Китае, и в России, и в Ираке, и в Венесуэле, спасет внутренняя конкурентность, дорожающая политическим либерализмом. Дело не просто за смягчением принуждения. В России

между 1987 и 1993 оно ослабело, но экономический переворот, даром что провозглашенный, так и не совершился, не привел к необратимым переменам. При следующем президенте поблекшие было пороки системы вновь проступили. Но на мировом рынке выросли цены на нефть и газ, и о конкурентности своего хозяйства можно было не думать.

Внутренняя ситуация оказалась зависимой от глобального мира. А мир уже иной, расколотого на два лагеря больше нет. Единство Соединенных Штатов с Европейским Союзом ушло вместе с Советским Союзом. Китай, Индия и Япония теперь самостоятельные фигуры. На подходе другие. Говорят, мир стал полицентричен. Но это ведь и значит, что он един, глобален. Державы ныне делает ведущими не только «вето» в Совете Безопасности или членство в «восьмерке». Франция обладает тем, и другим, Китай - лишь первым, Япония – лишь вторым, Индия - ни тем, ни другим, но по влиянию Франции не уступает.

У России есть и «вето» и «восьмерка», но власти нервничают больше, чем советские, в «восьмерку» не входившие, но гордые, что входят в «двойку» сверхдержав. Об этом у нас тоскуют, забывая, что, тужась в такой позиции, держава и лопнула. Нелепости, компрометирующие страну, часто идут от оглядки на советскую сверхдержаву, опыт которой не осмыслен критически, а ведь ее кризис и вынудил правящий класс схватиться за РСФСР, чтобы удержаться. За что он схватится в нынешней стране, случись подобный кризис? Спорят, чьим сырьевым придатком стать - Китая или Европейского Союза, то есть в чью империю вращаться. Отвергая обе возможности, как унижительные, жаждут возродить собственную империю и возглавить мусульманскую заединщину. На это указывает потворство ядерным усилиям Ирана и поддержка террористов Хамаса и Хисболлы. Но империя не вернется к экономическому хозяйствованию, сорвавшемуся в девяностых годах. К нему, тем более, не приведет рост шовинизма, подменяющего имперской иллюзией национальное самоопределение

А именно оно укрепило бы место страны в глобальном мире. Не вести политические интриги для возвращения союзных республик и кровавые войны для удержания автономных, а, напротив, отсечь Чечню и другие желающие того национальные территории и защищать заселенные русскими земли, предоставляя рассеянным этническим меньшинствам гражданское равноправие, но, впервые после Ивана III, строить русское государство, куда большее, чем при нем, но, подобно Британии, отказавшееся от империи.

Огромная территория, щедрые недра, великое культурное наследие, сравнительно образованное население, научный потенциал, позволили бы России, оставив претензию быть всеобщим наставником, какой никто, кроме исламских заединщиков, уже не предъявляет, занимать достойное место в будущем, не разоряя собственный народ. Россия все еще не совершила национальное самоопределение, оживившееся с уходом союзных республик, еще не сделала выбора меж имперской, чрезвычайной, чекистской дорогой, ведущей к внутренним разборкам и нищете, и русским, национальным, экономическим, на вид более скромным путем, но ведущим к благоденствию и безопасности своего

народа. Для этого правящему классу надо бы отказаться от силового господства, при советской власти ставшего откровенней, чем при царской, а ныне, чем при советской. Ни в 1985, ни в 1991, ни в 1993, он добровольно ни от чего не отказался.

ПРОГРЕССИВНЫЙ ТУПИК

Ход истории не сразу сочли движением к лучшему в лучшем из миров. Жизнь числили шедшей от золотого века к упадку, или по кругу или сквозь земные мытарства в царство божие. Вера в прогресс расцвела в Новое время вместе с техникой. Технический прогресс побуждал верить в социальный. Общество учили взбираться по ступеням сменявшихся укладов. На лестнице мы и застряли. А социальный прогресс, между тем, достиг выдающихся успехов в людоедстве.

Не то, что жизнь нигде ни в чем не полегчала. Но не все ее уклады росли в предыдущих, порой росли как бы рядом. От первобытной общины одни -- к так называемому «азиатскому способу производства», впрягая людей в единое хозяйство, кого коренными, кого пристяжными, кого кучерами. Другие, нахватав рабов, утверждали рабовладение. А третьи жили трудом зависимых крестьян. Такой уклад, известный, как феодальный, бывал наиболее компромиссным. При нем Англия завела парламент, числимый заслугой буржуазной демократии, но сперва служивший, так сказать, феодальной. Зависимых крестьян в парламенте не было, да и свободные попали туда не сразу, но заседали не одни бароны, но и представители рядовых рыцарей и горожан. Буржуазные отношения пробивались и побеждали при феодальном укладе, но не при «азиатском способе производства».

Впрочем, и феодальный строй не везде в одинаковой мере способствовал. Суровый климат и четверть тысячелетия под монголами ожесточили у нас личную зависимость, сперва, как и на Западе, частичную и параллельную поземельной и судебной. Она переросла в крепостное право, изменившее российский феодализм. На Западе даже за крестьянами и, тем более, за рыцарями, сохраняли определенные права, а у нас права сокращались и отбирались в пользу центральной власти. Эту феодальную реакцию, заведенную Иваном IV, числят у нас достоинством российской истории, а она и обрекла на отставание страну, еще при Ярославе Мудром не сильно уступавшую западным. Власть русских царей была сильнее и полней, чем западных королей. Но преимуществом стала не так сила, как свобода. Когда раздробленная, рыхлая Европа обращала разоренных, нищих, но свободных крестьян в наемных рабочих и создавали капиталистическое производство, у нас, - нагляднее всего при Петре, - насаждали крепостную промышленность, и лишь полтора века спустя отмена крепостного права, обрекавшего Россию на гибель, вывела ее к конкурентному предпринимательству, к капитализму.

Но условия, в которых он у нас возник, были иными, чем в остальной Европе. Не оттого лишь, что при феодальной реакции у нас не сложился реальный парламент, а больше потому, что не знавшие свободы крестьяне, зажатые общиной и крепостничеством, не могли преодолеть бедность, и, как некогда солдаты Кромвеля и Бонапарта, добиться

буржуазного порядка. Русские крестьяне стали бороться за свободу, когда ее отняли большевики, закрепостившие их коллективизацией.

А до Октября феодальному царству противостояли с одной стороны - либеральные кадеты и социал-демократы - меньшевики, а с другой - радикальные движения, сперва народники, потом эсеры и большевики. Александр III и Николай II не продолжили дело Александра II, не перешли к более компромиссному порядку, хотя бы к конституционной монархии. Самые талантливые их слуги, вроде Столыпина, не ставили под сомнение, самодержавие, однако капитализм, дозволенный, но не угодный, ни монархии, ни народным массам, рос бурно, но не твердо.

Упразднившие его большевики шли на то, на что царям уже не хватило духу, и под коммунистическими флагами уподобляясь Ивану Грозному, надеялись «догнать и перегнать» развитые страны, установив тоталитарный режим и фактически крепостную промышленность. Они немало настроили, но принуждение лишь отчасти добивалось того, что другим приносила свобода. Несообразность с эпохой и рождавшейся техникой обрекала на катастрофу. Большевиков она настигла уже в начале тридцатых, как голод в результате коллективизации. Потом как отбросившее до Волги поражение в Отечественной войне, в которой и выдающееся мужество русского солдата не могло заменить пришедшие потом западные самолеты, грузовики и тушенку. Третьей катастрофой советского самодержавия стал распад милитаризованного хозяйства, вынудивший к распаду СССР. Причины этого все еще числятся случайными и личными промашками вождей. А порочна была система.

Современному развитию, опирающемуся на повышение удельного веса науки в производстве, недостаточно догонять иностранцев, а внутреннему соперничеству, нужна внутренняя свобода. Без нее развитие невозможно и на сколько-нибудь длительное время с советскими и нео-советскими порядками несовместимо. В том и трагедия девяностых и нулевых годов, что социальное сознание не порвало с советским мышлением. Правящий класс, уже не дворянство, как при царе, не номенклатура, как при большевиках, а «элита», по-прежнему претендует на привилегии, не мыслит себя частью общества, а ладит его под свои потребности. Что получается, под уверения в либерализме и демократии, не создается. А это бы и надо понять прежде всего.

Коммунисты винят Горбачева, словно при глубоком хозяйственном кризисе с конца семидесятых, у него была альтернатива, кроме массовых расстрелов, грозивших еще большими бедами. Он как раз пытался спасти советский режим, но ни он, ни номенклатура в целом, даже не помяная ГКЧП, вобравший ее ключевые фигуры, не были способны к коренной перемене, как не были способны к «Декрету о земле» и конституционному правлению Николай II и помещики. Горбачев и его соратники, возможно, надеялись на менее болезненную эволюцию, но упускали, что советский режим в принципе не допускает свободы, а ситуацию уже не изменить отдельными послаблениями. Глубина кризиса требовала решительных действий. Другой возможности устоять у страны не было. Когда же стали вдруг расти цены на нефть, Путин воспользовался ими для реставрации, и Горбачев едва ли поступил бы иначе. Но при нем нефть стоила 8 долларов, и ему пришлось уйти.

На словах Ельцин отрекся от коммунистической идеологии и советского строя. Но никуда не делись нравы советского строя, во многом успешно перенятые из советских времен. Страна нуждалась в самоуправлении, а не самодержавии, при царе оправдываемого волей божьей, а при коммунистах, - в чем и состоит смысл их идеологии, - их знанием будущего и пути к нему. В 1991 населению надлежало выявить и выразить свои социальные, национальные, экономические и культурные интересы, несовместимые с самовластием.

Но это не под силу «революции сверху». Некоторое время еще длилась дарованная Горбачевым свобода слова, но и она после 1993, особенно при Путине, ужималась. Культура, снятая с государственного довольствия, скудела. Если при Горбачеве недоступные прежде книги печатали миллионами, при Гайдаре деньги стремительно дешевели, люди беднели и тиражи уже поэтому падали. Книготорг, монополю торговавший по всему СССР ликвидировали, а фирмы, способные его заменить, не возникли, и книгам не стало пути даже из Москвы в Питер, и из Питера в Москву, тем более, по России, что лишало авторов многих читателей, а читателей полезных им книг.

Вроде бы прошла реформа в национальной сфере. Союзные Республики стали независимы от России. Но самоопределением народов пренебрегли, не только народов Российской Федерации, начиная с русских, но и проживавших в приграничных зонах, как лезгины, разделенные почти пополам меж Россией и Азербайджаном, как разными странами. Никто не думал о праве народа, если не на независимость, то хоть на жизнь в одной стране. Шла дележка прежде общих владений номенклатуры меж разными ее группами. Роспуск СССР, как Российская империя, бывшего тюрьмой народов, лишь отчасти решил национальные конфликты.

Менее всего новая власть разобралась с социально-экономическими проблемами, хоть ими больше всего занималась. Отказаться от так называемой социалистической экономики, то есть, от монополю-волюнтаристского государственного хозяйствования, означало допустить плюралистическое конкурентное хозяйствование. Оно, как правило, базируется на частной собственности, признание которой власть декларировала. Но беда не только в том, что при Ельцине и, тем паче, при Путине, она не слишком строго охранялась, -- этим не исчерпываются условия для конкурентного предпринимательства. Во многих странах капитализм строили не так собственники, как арендаторы, платившие арендную плату феодальному владельцу земли, на которой вели свое прибыльное хозяйство. Но такое возможно в правовом обществе, не просто исполняющим указания власти, именуемые законами, но обладающим независимым судом, подтверждающим правомочность законов и способного взыскать с неплательщика арендную плату в пользу владельца земли, равно как пресечь его попытки конфисковать возвращенное на «его» земле. Лишь при независимом суде возможны деловые отношения участников производства. Чиновник, какой властью его не наделяй, сам поддерживать порядок и справедливость не может. Но независимого суда в Российской Федерации нет.

Нет и независимых предпринимателей. Полсотни или полтысячи «олигархов» слывут собственниками «своих» производств. Но не ясно, в какой мере они на деле ими владеют, а не состоят, даже не арендаторами, а порученцами государства, доверившего им управлять этой собственностью. Не менее важно и то, что они, если и соперничают, то не в том, на чьи товары больше спроса, а в получении лакомых кусков от власти. «Олигархи» не так конкурируют, как работают сообща, разделяя сферы своей деятельности, как советские министры, с той лишь разницей, что тем платило государство, а эти сами берут сколько могут. Налицо три типа крупных владельцев: вольные «олигархи», государственные чиновники, тоже командующие крупной собственностью и государственные корпорации, но различие меж ними не существенно. Еще менее самостоятельны средние и мелкие «собственники», в бессудной стране кругом зависящие даже не от верхов, а от низового чиновничества, от милиции. Этот порядок не во всех деталях идентичен советскому, более откровенному и менее гибкому, но это не капитализм.

А лишь множественное разнообразие хозяйственного устройства выявляет разные социальные слои, классы и группы общества, отношения которых – и экономические, и гражданские, – определяют жизнь страны во всех ее ракурсах, кончая политическим. Лишь осознание обществом своего классового характера, своей множественности, адекватной разнообразию форм производства и разделения труда побуждает его к адекватному политическому устройству. В силу необходимости конкурентного капитализма в развитии науки и техники и признании служащего им общественного класса капитализму приходится быть компромиссным, даже демократическим. Не сознающая этого власть представляет себе население страны неким единством, а отклоняющихся -- отщепенцами, каким изображали даже Сахарова, сделавшего для защиты отечества больше, чем Генеральный штаб. Уже при феодализме, не говоря о капитализме, пришло сознание, что социальные отношения несводимы к вертикали, какой они, видимо, были в «азиатском способе производства». Как мобилизационный порядок, социализм преобразил множественность в единство. Ориентируясь на его всеобщность, то есть, на подчинение всех единому началу, вместо взаимодействия разных, социализм и обернулся имперским строем, и хочет всемирной империи. Даже видя пороки хозяйства России, сырьевой характер и коррупцию, не вспоминают их имперских социалистических первопричин.

Вера в социалистическую реакцию, как ступень прогресса, мешает сознать реальность. Поныне спорят, сопоставим ли социализм Ленина-Сталина с национал-социализмом Гитлера и фашизмом Муссолини, хоть сами они все звали себя социалистами и блюли внутреннее единство, отсекая уклонистов. А реальный технический прогресс, напротив, хочет дифференциации и разделения труда не на одном-двух закрытых предприятиях, а по всей стране и во всем мире. Это и квалифицирует политические силы и показывает, впрямь ли они отстаивают интересы страны, как множества людей, или только интересы своей группы, «элиты». Исходя отсюда и можно судить о реальном социальном прогрессе.

О нем говорит уже расстановка политических сил. Самая, на деле, реакционная, крайне правая партия России, - коммунистическая, по-прежнему настаивающая на полном единстве всего и вся, как в пору своего правления, стала с тех времен лишь откровеннее в своем шовинизме. Сформировавшемуся при Ельцине-Путине «элиту», представляет «Единая Россия», чуть менее прямолинейная, чем коммунисты, к которым прежде принадлежало большинство ее членов. Это тоже крайне правая партия. Понятие «правый» пытается приукрасить псевдо-либеральная группировка Гайдара-Чубайса, утверждающая, что капиталистическая программа – правая. Но капитализм, принесший свободу феодальному обществу, в котором сложился, по отношению к феодализму явление явно левое, а социализм, до прихода к власти казавшийся «левым», но возвративший Россию к феодальным порядкам, вплоть до тоталитаризма, -- правое.

Внутри капиталистического общества, открыто классового, идет противоборство не только с тенденциями феодальной реставрации, но и меж либеральными консерваторами и либеральными социал-демократами, партиями развитого капитализма, каких в России нет. У нас центристским можно бы счесть социал-либеральное «Яблоко». Но левее его никаких партий, к сожалению, нет, левый фланг в России практически отсутствует, ни умеренно-левых, ни даже радикально, не видать. Но оголтело правые партии, вроде национал-большевиков и других, подобно коммунистам, маскируются под левых.

А чтобы преодолеть наследство белого и красного самодержавия, России нужна лево-либеральная партия, не боящаяся называть вещи их именами, «срывать все и всяческие маски». Неверно думать, что Россия обречена довольствоваться природными возможностями, При всех тяготах развития еще не полностью погублен огромный умственный потенциал, и, если не гнаться за мировым господством, а идти путем национального самоопределения и социальной демократизации, нет сомнений, что России по силам прокормить, одеть и найти своим гражданам крышу над головой и прирастить научные, производственные и художественные достижения.

Затем и надо отказаться от балансирования на готовности в любую минуту сжечь остальную мир, героически сжигая ради этого свою страну. Надо уйти от царизма и социализма, опять упрямо возрождаемых. При всех своих пороках капитализм развивается, -- не монополистический, не олигархический. И переход к нему стал бы для России не номинальным лестничным прогрессом, а производственным и социальным.

Июнь 2009

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Происходящее ныне в России можно понять лишь помня, что ему предшествовал СССР. А СССР к экономическому банкротству в восьмидесятые годы привело не дурное стечение обстоятельств, не чьи-то личные ошибки, а обычный советский порядок. Выступив в 1917 году как левая партия, требуя отдать заводы рабочим и земли крестьянам, требуя право наций на самоопределение и гражданские свободы, большевики, шедшие за Лениным, к тридцатым годам под

водительством Сталина установили новый порядок, и в 1985 Горбачев призвал к перестройке.

От Сталина до Горбачева

1

В 17 году вера в самодержавие увядала. Казалось, что Россия, подобно Нидерландам, Англии или Франции, бурно развивавшаяся в начале века, легко одолеет царский феодально-абсолютистский режим. Владелец производства, считался правой стороной хозяйства, наемный рабочий, своим трудом создающий ценности, -- левой. Рабочий справедливо требовал достойной оплаты и социальных гарантий.

Маркс счел, что физический труд рабочего, – единственный создатель всех ценностей, счел буржуазных владельцев производства паразитами, звал отнять у них заводы и думал, что с развитием высокой техники отомрет государство и развитые страны установят коммунизм.

Но, к сожалению, даже за двести лет после рождения Маркса нигде так не получилось. Особенно далеко до этого было там, где, как у нас в России, еще не было буржуазных революций, а был феодально-абсолютистский строй. Даже его свалив, надо было дожить до высшего буржуазного уровня, создающего условия развития, которые оговорил Маркс. Но люди самые «левые», во главе с Лениным, считали, что нечего ждать, надо не оглядываясь на Маркса, взять власть, пусть в одной стране, пусть в отсталой, пусть даже не имеющей пролетарского большинства, и заставить граждан строить коммунизм. Коммунисты-ленинцы поднялись против царской власти, подобно ткачевцам, делавшим дерзкие шаги против феодального абсолютизма. После казни своего старшего брата Александра, Ленин говорил: «Мы пойдем другим путем!» А пошел тем же самым, но под знаменем Маркса. И когда буржуазия не удержала власть, падавшую из царских рук, большевики во главе с Лениным ее взяли и стали строить коммунизм. И к тридцатым годам выполнили ленинскую социальную программу: «превратить **всех** граждан в работников и служащих единого крупного «синдиката», именно всего государства»

2

Частную собственность уже в 1917 в России упразднили. Государство завладело всем. Земля, ее недра, заводы и фабрики, городские строения, музеи и их содержимое и.т.д. и.т.п. стали государственной собственностью. Имущество колхозов, то есть, насильственно созданных сельских артелей, звали кооперативным, но распоряжалось им государство. Видимость кооперативности – след более сложной, чем в городе, национализации владений многомиллионного крестьянства, которые одним декретом было не отнять. Но государство, могло распорядиться, как хотело, и обезличивало собственность, Лишило крестьян собственности на землю и обесценило денежное имущество.

Деньги, а точнее, государственные кредитные билеты, не были в советской системе всеобщим эквивалентом уже потому, что

государство, владея всем материальным достоянием, расходовало его в натуральном виде, не взирая на ценность. Цены на товары казенных предприятий назначали тоже, не считаясь ни с ценностью ресурсов, ни с ценностью затраченной рабочей силы, но как выгодней государству..

Единое советское хозяйство было фактически натуральным, но в немыслимых масштабах. Нужда в текущей информации о хозяйственных процессах толкала перенять экономический инструментарий у рыночных систем. Псевдо-деньги служили формой учета. Но не реальной ценности, а произвольно приписанной государством товарам и услугам. Советские деньги конвертировались в настоящую валюту лишь в особых случаях и по завышенным ставкам, установленным государством. Существовал, правда, черный валютный рынок, иначе менявший соотношения внутренних цен.

3

О ценности рабочей силы, главного товара капитализма, в СССР, как о веревке в доме повешенного, не говорили. Утверждали, что трудящиеся владеют всем достоянием страны и работают на себя, стало быть им нет нужды продавать свою рабочую силу, да еще самим себе. На деле рабочую силу оплачивали не по труду, а, сообразно нужде в выполняемой работе, давая деньги на прожитие в виде заработной платы. Прожить на них часто бывало невозможно и заниженную «зарплату» дополняли пособия, помогавшие не умереть. Государство рядилось благодетельным патроном, снижающим цены на необходимое, чтобы людям не голодать и иметь крышу над головой. Реальной стоимостью рабочей силы оно не интересовалась. Индивидуальный труд всерьез не измеряли, и затраченную каждой рабочей силой не сопягали с оплатой труда, с предложением рабочей силы и спросом на нее. Отношения власти с людьми не были ценностными. В СССР каждый был обязан где-то служить, иначе его винули в тунеядстве, считавшемся уголовным преступлением. Это определяло судьбу трудящихся, фактически государственных крепостных. А миллионы заключенных в лагерях были просто рабами.

Государство выступало, как единственный и, тем самым, монопольный работодателем, всегда, к тому же, готовый отвечать недовольным, как в Новочеркасске, -- оружием. Уверяли, что, в отличие от буржуазных стран, где «прибавочная» ценность (стоимость), созданная рабочим, не оплачивалась, в СССР труд оплачивают полностью. А на деле оплачивали еще меньшую часть затраченной рабочей силы. Общая ценность зарплаты и пособий была ниже оплаты равного труда на Западе. Социализм не соотносил отдельное с общим, но растворял человека - в государстве, а его труд - в работе советского народа.

4

А партия большевиков (РКП/б/- ВКП/б/- КПСС), независимая от общества, опиравшаяся на менявшие названия карательные органы (ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ) и внутренние войска, распоряжалась государством, полностью контролируя номинальное избрание представительных и

судебных органов и назначение исполнительных. Не она была инструментом государства, как порой говорят, а оно ее, «руководящей силой». Верхний слой партии («номенклатура») фактически был единственным владельцем добра страны и, тем самым, правящим классом.

Внутри него, по преимуществу подспудно, лишь изредка выплескиваясь, шла тайная псевдо-политическая жизнь. В 1917 новый правящий класс заменил прежнее дворянство. Это было сочтено сменой общественного строя. Но в тридцатые годы произошла еще одна, не менее радикальная смена правящего класса, переоформившая строй. Можно назвать ее революцией сверху, можно даже реставрацией, но, в любом случае, порядок, установленный после 1917 и подправленный НЭПом в 1921, партия в конце двадцатых для себя исчерпала. Прояснилась, если еще не общая утопичность марксистского проекта, то, по крайней мере, утопичность надежд силой создать земной рай, выдают ли, как сперва, блага даром, или продают по рыночной цене. Если первый путь до 1921 вел к разрухе, второй нуждался в возврате буржуазно-демократического порядка, отвергнутого разгоном Учредительного Собрания.

Не допуская и мысли о буржуазной демократии, партия не только насильственно провела коллективизацию, но с начала НЭПа регулярно чистила свои ряды, меняла состав, а в 1937-38 завершила революцию сверху, уничтожением большинства руководителей и участников Октябрьской революции. Звать ли закрепившийся тогда тоталитарный строй социализмом, как звали большевики, или национал-социализмом и фашизмом, как до нашего союза с Гитлером, его называл Г.Федотов, важно, что после «большого террора» состав правящего класса относительно устоялся, хоть и потом шли зачистки, как «Ленинградское дело», и одиночные изгнания из партии. После Сталина правящий класс себя осознал и больших чисток избегал. Его идеальным героем стал умеренный сталинист Брежнев. Но с годами, натолкнувшись на объективные экономические трудности, часть правящего класса ощутила, что не все проблемы можно решить силой. Она и поддержала Горбачева. При Ельцине эту верхушку номенклатуры оттерли, и люди из более низких ее разрядов, как в тридцатые, поднялись к власти быстрее. Еще заметней правящий класс потом перетасовал Путин.

5

Советское монопольное хозяйство порой называли государственным капитализмом. На мировом рынке ленинский «синдикат» и впрямь выступал как капиталист. Но дома он им не был. При капитализме государственные предприятия, работающие на тех же началах, что и частные, можно считать государственно-капиталистическими. Но в СССР государство, став монопольным владельцем всего и вся, упразднило некоторые неотъемлемые свойства капитализма - частную собственность, конкурентность производства и свободный рынок наемного труда. Рядовые граждане в отношениях с хозяйством, олицетворявшим государство и партию, стали бесправны. Отсутствие конкуренции наперед ограничивало возможность ищущего работу выбрать более подходящую. Человек кругом зависел от власти, готовой

не только подвергнуть любого проверке, нарушил он закон или нет, и уголовному преследованию, но и изгнать из города, лишить жилья или права на труд по специальности. А и краткосрочного пособия по безработице не существовало. Советский строй, - хорошо это или худо, - во всяком случае, не был капиталистическим.

Отсутствовали и провозглашенные Конституцией свобода информации, свобода слова, свобода собраний, свобода объединения единомышленников, свобода передвижения, свобода переселения внутри страны. Последняя пресекалась паспортной системой с пропиской, закреплявшей место жительства, и в ряде городов, особенно в Москве и Ленинграде, не всем дозволенное. Сельским жителям паспорта не выдавали, что фактически лишало их права уехать из родной деревни. Но рост строительства и промышленности поощрял бегство в города, и жители деревень стали людьми второго сорта.

Вся эта круговая, подобная крепостной, зависимость вынуждала после 1917 года и еще сильнее после 1929, безропотно трудиться на своих местах, выбор которых тоже был не вполне свободен. В городе за труд платили, не считая высшего слоя, нищенски. В колхозе зарплаты не было, - начисляли трудодни, не всегда оплачиваемые, оставляя крестьянину приусадебный участок для дополнительного труда по выращиванию пищи для себя. Рабочим и служащим тоже выделяли огороды для добавочной работы себе на прокорм, упраздняя этим общественное разделение труда, при капитализме возрастающее.

6

Производительность труда была в СССР низкой, и хозяйство нуждалось в изобилии дешевой рабочей силы. Коллективизация, разорив крестьянство, выдавила в промышленность и строительство миллионы запуганных голодом и высылками людей, считавших жалкую зарплату на новом месте удачей. Но уже война, ускорив демографические перемены, изменила положение.

Довоенная численность населения была восстановлена к 1955 году, но доля деревенских жителей, до войны преобладавших, резко сократилась. В 1984, перед приходом Горбачева, в РСФСР уже 72% жили в городах, где рождаемость ниже. Общий прирост населения к тому времени сократился в сравнении с предвоенным более чем в два с половиной раза. Низкая производительность колхозного труда вела к нехватке хлеба, который при Хрущеве и Брежневе стали закупать за рубежом. Но и промышленность уже не имела избытка рабочей силы, позволявшего низко оплачивать труд. Поднять производительность часто, к тому же, подневольного труда было сложно, а с годами требовался труд все более квалифицированный.

Все это усугубляло несбалансированность хозяйства. По началу затраты восполнялись постоянными компенсаторными ресурсами, - это, во-первых, пахотная почва и пастбища, ископаемое сырье, сила рек, вращающая турбины, и другие дары природы, которые, вслед за Марксом, советская политэкономия считала ценностями лишь в меру затрат на пользование ими, на добычу, не признавая их собственной ценности. А, во-вторых, такой ресурс давала заниженная оплата труда,

поддерживаемая внеэкономическим принуждением. Особенно снижалась оплата ученых и специалистов, порой даже более высокая, чем у других работников, но еще менее сообразная с ценностью умственного труда, вклад которого рос, хоть тоже, вслед за Марксом, не признавался советской экономикой. Но расходы на рост и усложнение производства, преимущественно военного, по природе убыточного, восполнять было все трудней. Росла зависимость от цен мирового рынка на сырье. Кризис восьмидесятых шел на фоне мирового падения цен на нефть, доходам от которой в СССР не нашлось замены.

7

В многонациональном Советском Союзе, и прежде всего в РСФСР, национальные проблемы решались административно. Создали не самостоятельные всерьез национальные союзные и, внутри них, автономные республики и округа, часто несообразные с реальным расселением. Ни в Российской империи, ни в СССР, национальное самоопределение народов, начиная с русского, не завершилось. Русским его мешало совершить крепостное право, крестьянам трудно было ощущать национальную идентичность с барями, продававшими их на торгах, как скот. Советская империя объявила русский народ первым среди равных, и паспортная принадлежность к нему давала известные льготы, и раньше, однако, существенные, главным образом при входе в правящий класс и продвижении в нем, но не облегчавшие крепостным русским обыденную жизнь.

Советская империя не звалась русской, но велась повальная русификация. Глядя на прочие народы свысока, власть со своим обходилась не лучше. В СССР не было отдельной русской республики, подобной другим союзным, и даже в федеративной РСФСР не было отдельной русской автономной республики, подобной другим автономиям, пусть и большей, то есть, русскому народу отказали даже в номинальном самоопределении. Главенствующая роль большинства правящего класса как бы окупалась общим ущемлением народа, из которого он в основном состоял, как это было и в крепостнической империи. У многих русских это вызывало недовольство и национализм. Тем более, он рос у подневольных народов.

Национализм в советской империи числили злом, обличая, однако, лишь национализм нерусских. Русского, поселившегося в национальной республике, но не знавшего ее языка, считали интернационалистом, а тамошнего жителя, свободно говорившего по-русски, но не только знавшего родной язык, а и желавшего, чтобы на нем учились его дети, - националистом. Такие представления живут поныне. Но национализм не един, национализм угнетенных народов -- знак борьбы за освобождение, как еще у итальянцев, вырывавшихся из Австрийской империи, или у поляков из Российской. Он отличается от национализма угнетателей, перерастающего в шовинизм. Но и этими двумя крайностями национализм не исчерпывается.

Подчас он возникает и там, где правящий класс строит империю ценой угнетения собственного народа, в котором, при осознании этого, рождается национализм, отвергающий империю, как груз на своей шее, и

в избавлении от нее ищущий национальное освобождение. Такой антиимперский национализм у русских бывал и при крепостном праве и при советской власти. Об этом и в песне: «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». Русский шовинизм, захватывающий правящий класс, старался вовлечь национализм обездоленной части русских в свою орбиту. В СССР они порой причудливо сплетались и граница размывалась. Но различие не исчезло, и его осознание как раз и служит национальному самоопределению русского народа. В стране, охватившей территорию былой империи, социальные проблемы упираются в национальное самоопределение всех ее народов, начиная с самого большого, вынужденного решать, как дальше жить вместе.

8

Сложившийся у нас режим мало имеет общего с тем, что сулил Маркс и сперва даже Ленин. Но много общего с режимами, возникшими под флагом социализма и коммунизма в других странах, тоже отстававших от передовых, – с фашизмом социалиста Муссолини в Италии, с национал-социализмом Гитлера в Германии. Такой строй, не к нам одним пришедший «слева», наглядно являл свойства крайне правых., Это не прошло бесследно для рабочего движения во всем мире, ни для требовавших социальных гарантий, ни для ждавших коммунистической утопии по Марксу. Рабочее движение расколосось, ленинские партии звались коммунистическими, их московской школой был ленинский Коммунистический интернационал. А другие чаще звались социал-демократическими, рабочими.

Русская революция, вроде бы так и не совершившаяся, помогла осознать природу всемирно-исторического социального развития. Она опрокинула лестницу неизменно-прогрессивной истории, тешившей XIX век неизбежностью прогресса и перехода от внеэкономического строя к экономическому. Оказалось, что переход от феодализма к капитализму, а от него к прекрасному коммунизму, не обязателен, не неизбежен. Оказалось, что уже феодализм не везде перерастает в капитализм, а порой, как у нас, сворачивает к тоталитаризму. А порой сворачивает к нему и капитализм, не справляющийся со своими кризисами, как в Италии и Германии. Новый строй снова становился внеэкономическим, живущим насилием. Смена строя уже не кажется непременно дорогой в рай, но жизнь облегчает либерализм.

«Левые» проповедники насилия, как вечного двигателя истории, не любят сравнений с фашизмом и национал-социализмом и ссылаются на свои высокие цели. Но на практике эти цели оказываются куда более низкими. «Левые» сами насаждают бесчеловечные диктатуры и всеобщее бесправие, они создали первое тоталитарное государство, СССР. Отсюда, понятно, не следует, что «правые» радикалы гуманней, и тоталитаризм Гитлера в Германии, лучше нашего «левого». В Германии евреев убивали поголовно, но немецких заключенных было около миллиона, а в России – не жалели никого, но и русских не жалели. Общее положение оказывалось довольно схожим. Русские, начавшие «левыми», внутренне преображались, и менялись их цели. А немцы такие цели ставили пред собой сразу. И кроме языковой и словесной,

существенной разницы между коммунистами и национал-социалистами не осталось. Не случайно среди десятков миллионов жертв не одни предприниматели, не одни помещики, не одни крестьяне, не одни вольномыслящие интеллигенты, но и вершители революции, гражданской войны и ленинских планов. Погибли не только вожди, но сотни тысяч коммунистов, не проявивших достаточной готовности преобразить «левую» утопию в «правую» тоталитарную реальность, а интернационализм в великодержавный шовинизм.

О них говорили: «за что боролись, на то и напоролись», и хоть они, конечно, сказали бы, и уцелевшие говорят, что боролись они за другое, но, пренебрегая либеральными ценностями, они сами способствовали сталинской тирании, и тем хуже, если не поняли это даже задним числом, если на опыте русского Октября «левые» всего мира не осознали к чему ведет неразборчивость в средствах и волюнтаризм, навязывающий людям «добро», не выяснив, хотят ли его. Нынче такие «левые», к сожалению, преобладают. А в прекрасном, столетней давности смысле, «левыми» можно считать лишь тех, кто помнит, что: «не может быть правой та цель, для которой нужны неправомерные средства».

Такой неправомерной целью и было создание единого, слитного с государством, ленинского «синдиката», оказавшегося удобным для переброски всех сил и богатств в военную промышленность, но неспособного поддерживать нормальное развитие страны и состязаться с развитым миром по уровню благосостояния и образования граждан и производительности труда. Поэтому временное сокращение спроса на нефть на Западе и падение ее цен, за счет которых составлялась немалая часть компенсаторного ресурса «синдиката», вызвало острый кризис, как раз и побудивший Горбачева заговорить о перестройке.

О реорганизации хозяйственной и вместе с ней административно-политической системы и раньше думал уже Хрущев, потом Косыгин. Они старались сделать тоталитарное хозяйство более эффективным. Но, поскольку при любой реформе коммунистическая партия оставалась руководящей силой, а реальность не слышала голосов, правомочных спорить с партией, реформы шли прахом. Не преобразил хозяйство и Горбачев, политически зашедший дальше всех, но в хозяйстве ограничившийся допуском мелких кооперативов.

Гайдар и Чубайс

1

Ощутимый пересмотр советской хозяйственной системы начался при Ельцине. Его называли революцией. Ее творец Гайдар, как и другие политики и экономисты, не предполагал и не мог предположить, что вскоре на Кремль польется золотой нефте-газовый дождь. Единственное спасение от стагнации, охватившей хозяйство, возможность его сбалансировать, сулили рыночные отношения, желающие свободы цен.

Провозглашенная ими «либерализация цен» их взвинтила, и на пустых прежде прилавках продавали втридорога. По существу, «либерализация цен» лишь дополнила произвол общесоветского ценообразования произволом продавцов разных уровней. Многие из

них обогатились, но это не оздоровило систему, однако, инфляция более чем в 2000% отчасти ее сбалансировала за счет населения. Нечто подобное после войны проделал Сталин, он, правда, открыто обесценил деньги, тоже в десять раз, но цены не освободил, а, оставив фиксированными, сразу повысил, отказавшись зато от карточной системы военного времени. Тогда большинство населения было скорее удовлетворено, хоть многие потеряли много. Массовых протестов не вызвал и Гайдар. Благодаря несообразному взлету цен хозяйство удержалось, и государство устояло. Но для множества людей, на которых свалили вторичную оплату убытков прежней хозяйственной политики, это стало катастрофой и надолго определило отношение не только к Гайдару, но к отказу от советского натурального хозяйства.

Между тем, в последствиях «либерализации цен» виновен был не так Гайдар, как доведшие хозяйство до этого состояния. Гайдара призвали уже в пору кризиса, когда продовольствия оставалось меньше, чем на неделю. Ситуацию усложняло и то, что уже Горбачев, а за ним Ельцин с Гайдаром урезали абсурдную гонку вооружений, которой была занята добрая половина российской промышленности, и множество рабочих и инженеров встречало удешевленные цены, вообще, не имея заработка. Но, чтобы жить дальше, ведя ли натуральное хозяйство или переходя к рыночным отношениям, надо было сбалансировать ценообразование и покупательную способность. Это надо было, конечно, делать за счет государства, совсем не бедного, да к тому же получавшего тогда от западных стран немалую помощь. Хорошо или скорее худо, Гайдар это дело все же сделал и власть спас.

Куда хуже вышло с введением рыночных отношений. Гайдар упустил, что свобода цен и рынка, да и само хождение денег, как всеобщего ценностного эквивалента, плодотворно лишь в плюралистическом хозяйстве, то есть при множестве независимых конкурирующих производителей. А в России, вдруг объявившей себя независимой, хоть и прежде она зависела лишь от имперской власти СССР, предприятия не стали независимы, хозяйство оставалось государственной монополией, и государство лишь само с собой могло вести рыночные игры. Большого прока это не дало. Шок, в который «либерализация цен» повергла население, стал не только экономическим, но и политическим, многие сторонники реформ на глазах преобразались в их противников.

Пошло ли это стране на пользу, судят по-разному. Одни говорят: пошло, позволило Ельцину бескровно закрепить разделение СССР, а главное, выбросить идеологию «марксизма-ленинизма» и отобрать управление жизнью у партийных комитетов, - ЦК, обкомов, горкомов, райкомов, парткомов. Другие, радуясь относительно мирному для России, (не то что в Грузии, Таджикистане или Югославии), разрешению кризиса, не могут все же отвлечься от того, что уцелевшее хозяйство осталось в руках государства, не обрело свободы.

А неблагоприятная номенклатура на радостях уволила своего спасителя, и при сменившем его Черномырдине экономические реформы сперва застопорилось.

2

Было, однако, ясно, что в прежнем виде советский порядок не удержать. Государство не справлялось с хозяйством. Циклопический сверхмонопольный «синдикат» стреножили. Мысль об автономизации хозяйственных единиц возрождали, как «приватизацию» и «разгосударствление». Объявили, что собственником, пусть уже не всего государства, но отдельного завода или фабрики, станет любой, кто через специальные фонды купит их акции.

Акции обещали продавать на ваучеры, выдававшиеся каждому гражданину России. Однако, ваучеры, в обмен на которые сулили государственную собственность, не только не стали ценными бумагами, котирующимися на бирже, но, напротив, имели ограниченный срок действия. А фонды, менявшие их на акции, ощутимых дивидендов не сулили, и те, кто приобрел тогда акции, за протекшие полтора десятка лет ничего не получили. Но неизвестные лица и организации открыто скупали ваучеры за наличный расчет. Они явно имели тайные возможности менять скупленное на нечто реальное. Потом прошли залоговые аукционы, где, предоставив государству залог под конкретное предприятие, можно было, если скромный залог не вернут, получить дорогое предприятие в собственность. Возникло полсотни богачей, названных потом «олигархами». Но при быстром формировании огромных состояний отнюдь не столь быстро шло формирование средних и мелких. Сказалось, видимо, то, что «олигархов» высшая власть могла контролировать сама, а контроль средних и мелких хозяев доверяла губернаторам и местным властям, их этим усиливая.

К тому же, приватизация не тронула главного, что отняли у самого широкого круга частных лиц – крестьянской земли. Новые «строители капитализма» словно забыли, что главный удар по его развитию нанесла коллективизация, отдавшая крестьянскую землю колхозам, оттеснив от товарного оборота многомиллионное крестьянство, некогда кормившее не только Россию. А свободный крестьянин всюду был опорой буржуазных отношений, чем и пугал большевиков. Но Ельцин и глава приватизации Чубайс им пренебрегли, и в деревне дали капитализму еще меньше места, чем в городе.

3

Объявив «олигархов» подобием западных магнатов, власти уверяли, что в России наступил капитализм, патернализма больше не будет, и все должны платить за себя, даже за будущую пенсию, а не ждать даров от государства. На деле, однако, новый порядок не дал экономической свободы и уже поэтому не стал капиталистическим. «Либерализация цен» и «приватизация» не слишком изменили денежное обращение. Рубли стали менять на валюту, еще охотней валюту на рубли, но курс обмена, пусть и приближенный к реальности, контролировал Госбанк. Сам передел собственности без оглядки на ее ценность и цену, какую за нее давал открытый рынок, выдавал тягу к натуральному общегосударственному хозяйству, мешая понять, что на что на деле меняют.

«Олигархи» не сами заработали свой первоначальный капитал, но получили его от властей, даже если те лишь содействовали обмену скупленных ваучеров на завод или скважину. Без содействия власти было не обменять. А содействие, понятно, оговаривалось условиями, нарушитель которых терял привилегию. Поэтому на деле «олигархи» не столь самостоятельны, как Рокфеллеры, и распоряжаться «своей» собственностью способны лишь в рамках сговора с властью. Выходя за его пределы, они рискуют, если не всем достатком, то находящейся в России частью. А если всякий «олигарх» знал, что распоряжается богатством в силу государственного произвола, давшего привилегию ему, а не другому, наивно было не ждать произвола в ответ.

Ельцин и Чубайс, восстанавливая хозяйство, опирались на зависимых «олигархов», не случайно вдруг получавших государственные посты: Потанин – заместителя премьер-министра, Березовский – заместителя секретаря Совета безопасности. Путин потребовал еще большего послушания. Можно допустить, что Гусинский утратил свое положение лишь потому, что ориентировался на московскую группу Примакова – Лужкова, а не на питерскую группу Путина, но уже вытеснение Березовского, усердно продвигавшего Путина, вызвано не так политикой, как его претензией на влияние в награду за поддержку. Но, чтобы осадить вчерашнего благодетеля, не было нужды в принятых жестких мерах. И не политика погубила Ходорковского, который, наивно сочтя себя российским Рокфеллером, независимым капиталистом, отвлекся от условий получения роли, и был беспощадно наказан, чтобы другим не было повадно.

4

Псевдо-«частные» концерны стали действовать наравне с государственными, вроде Газпрома или РАО ЕЭС, которое позднее возглавил сам Чубайс, тоже получившими куда больше самостоятельности, чем советские министерства. Возникла иллюзия буржуазного процветания, увенчанная сперва относительно свободно избранной Государственной Думой, куда авторитарно правивший Ельцин еще допустил оппозиционное меньшинство. Но в 1998 разыгрался новый кризис, и директивный обменный курс рубля снизили в четыре раза, чем разорили многие средние и мелкие предприятия, замученные зависимостью от губернских и местных властей. Впрочем, одновременно кризис стал для предпринимателей благом: вздорожание импорта, позволило российским товарам успешней выходить на отечественный рынок. Но страх перед новым дефолтом подрывал надежды на буржуазное благополучие, манившее с 1991 года.

5

Удивляться нечему. Хоть реформы Гайдара как бы и дозволили рыночные отношения, но самостоятельных экономических субъектов, способных их поддерживать, не существовало. Чубайс сотворил «олигархов», но «номенклатурных», зависимых от государства. Зависимость средних и мелких собственников была еще тяжелей.

Революция не состоялась. Капитализм не наступил. Но и это не удивительно. Реформы проводили Президент и Верховный Совет, избранные еще при советском порядке. Проводниками реформ ставили экономистов, хоть и прежде, быть может, критически мыслящих, но сформированных и воспитанных прежним советским порядком. Из демократического, «диссидентства», возникшего еще при Хрущеве и Брежнев, ни один заметный человек, ни Сергей Ковалев, ни Владимир Буковский, ни хоть кто-нибудь еще, не был призван или допущен к власти, хоть говорили, что к власти пришли демократы. На деле в обличье демократов выступал лишь другой слой номенклатуры. Он успешно, хоть не нарочно, компрометировал демократию в глазах населения, но произвести реальные демократические реформы не мог, да и едва ли всерьез хотел.

Когда дефолт обнажил несостоятельность «реформаторов» и угрозу нового крушения, власть была передана органам безопасности, откуда Ельцин брал трех премьер-министров подряд, Примакова, Степашина, Путина, сочтенных возможной заменой президенту. Это ожесточило курс Гайдара-Чубайса, все же изящней выгуливавший предпринимателей на государственном поводке. Но преемственность очевидна: не только Березовский, но и Гайдар, и Чубайс, возможно нехотя, публично поддержали выдвижение Путина .

Путин

1

Появление Путина -- конец смуты. Его избрание президентом не было, строго говоря, законно. Ельцин, триумфально избранный в 1991 году и при темных обстоятельствах в 1996, в августе 1999 назначил главу Госбезопасности Путина премьер-министром, а в конце года внезапно ушел в отставку, предоставив премьеру исполнять обязанности президента и баллотироваться, уже фактически занимая президентский пост. Неизвестно, по доброй ли воле болезненно властный Ельцин оставил власть за полгода до истечения срока. Но было ясно, что гарантию спокойной старости новый президент объявил уходящему первым же указом. Бог весть, что вознесло безвестного Путина. Он не имел харизмы, не был ни «молодой реформатор», ни солидный государственный муж, ни соратник Ельцина, ни оппонент. Его возвысили не таланты и связи, а номенклатура, решившая: раз уж режим спасен, жить дальше. Сталин убеждал, что он - «Ленин сегодня», играл на противоречиях соперников, уничтожал самовольные группировки. А Путин -- координатор разных групп. Но правящий слой стал иным, чем унаследованный Сталиным. Иным не характерами, а политическими целями.

Диктатура Сталина не могла не быть личной уже потому, что иначе было не сформировать правящий класс из людей, иных, чем большевики первого призыва, не вполне способные быть тоталитарной властью. Сталин пренебрег обещаниями революции, приведшей большевиков к власти, но открыто от революции не отрекался, ведь ему мандат на власть дала она. Не напоминая о ее посулах, невозможно было

попирать людей, не было иного оправдания массовому террору, и Сталин выразительно сыграл роль преемника Ленина.

Путин, хоть тоже не раз выказывал почтение тому, чьим преемником стал, но пренебрег его посулами еще откровенней. Обстоятельства стали другие. Правящий класс не столько обновляли, сколько удерживали в новых декорациях. Но Путин не просто реставратор. Будь оно так, Коммунистическую партию он вперед бы не пустил, ее лозунги выцвели. Его команду составили испытанные люди КГБ, не бывающие бывшими. К тому же, при Путине хлынул золотой дождь нефти и газа, и пока цены стоят, соперничество не обретает политических оттенков, отличавших от Сталина не только Бухарина, но и Кирова. Расстреливать их, Путину покамест нет нужды. Коллеги - его опора.

Но сам их общий выход на первые места в правящем классе, обновил коллизию. Чекисты, хоть и не так наглядно, как в 1917 или 1937, принадлежат к той же номенклатуре, что и товарищи из партийных комитетов и советских учреждений. Это ее особенная часть. Ей привычны прямые действия без ходульных идеологических оправданий. Они прагматики волюнтаризма, а не проповедники утопии. Планы Путина, преобразующие страну, дурны не тем, что плохо просчитаны, но напомнили сталинские пятилетки и Беломорканал. А развитие, как показал XX век, достигает наибольшего не там, где государство навязывает благодать, а где не мешает многообразным соперничающим исканиям. Научно-техническая революция несообразна с правителями, держащимися лишь силой, а выходцы из карательных органов к этому склонны даже больше, чем партработники, приведенные к власти Октябрем и даже «великим террором». Класс не сдается и шлет вперед свой самый боевой слой, который старается избежать внутренних распрей, опасаясь даже чисто имущественных. Не будь угрозы раздрая, Путина легко бы заменил другой выходец из номенклатуры. Споры о преемнике России не важны, лишь отвлекают ее от неудач. Но они важны правящей верхушке, не уверенной, что другой удержит всех их вместе и на местах. Они помнят сталинские методы укрепления единства, и, боясь, что взявший верх вернется к ним, хотят, вопреки закону, сбережь Путина. Затем его и ставили, чтобы сплотил правящий класс. Он и сплотил, но, если будут пререкаться, возродит традицию.

2

Мировоззрение Путина не столько личное, сколько ведомственное. Чекисты привыкли к своей чрезвычайности и, хоть коммунистическую демагогию не брали всерьез, ценили советский идеал «порядка». Не более, чем воплощали волю партии. Дзержинский, отец ЧК, был лишь кандидатом в Политбюро. А потом ГПУ-НКВД-КГБ опекал лично Сталин.

Ныне, сами выйдя на первую роль, они упразднили нужду в политике, по их понятиям заменимой дисциплиной. Путин, в отличие от Ельцина, не столько политик, сколько умелый, хоть и не слишком гибкий, администратор. Он знает, что социальная острота смягчилась не так от «либерализации цен» по Гайдару или «приватизации» по Чубайсу, как от нефтяного компенсаторного ресурса, свалившегося с неба. Обретя его

наново Путин взялся за контр-реформы и потянулся к традиции. На преобразование страны он не замахивается, вот и возвращается к порядку, который для ее спасения как раз и надо преодолеть, а не просто избавиться от советских красок.

Известное дело, до 1991 года в России был тоталитарный режим. Все было, партия, советы, КГБ, и, понятно, марксистско-ленинская государственная идеология. Больше она не государственная, хоть и не приватизирована. Но другой государственной вроде нет. Пока жила иллюзия перехода к демократии, это мало кого беспокоило, хоть Ельцин часто огорчался, что не создали идеологию. В авторитарном и, тем более, тоталитарном режиме она, как бы есть всегда, хоть и в Германии, и, тем более, в Италии, ее держались не столь строго. Ислам, ныне взятый идеологией тоталитаризма, строг, но жизнь вынуждает нарушать его даже в Иране. Бог весть, как справится с этой ролью православие, которому ее усердно поручают. Но смешно думать, что, даже светский режим советского типа, отбросив «марксизм-ленинизм», перестанет быть тоталитарным. В нем остается главное в ленинизме – идеология силы. Чекисты и воплощают ее, как правоту воплощения, как орудие государственной идеологии и прямое насилие..

3

Атака на «олигархов» обернулась, однако, не борьбой за послушание, а юридическим перемещением собственности в другие руки, если не прямо государству. А как немалая часть числившегося за Ходорковским, -- в руки видных чиновников. Номенклатура, коллективный владелец национального достояния, жила даяниями центра. Конечно, чиновник кормился и от той доли общей собственности, которой управлял, но, теряя должность, лишался этой добавки. Обращая чиновника в, так сказать, собственника, Путин закрепил за ним доход и одновременно созданный Чубайсом капитализм на поводке, убрав главное в капитализме – индивидуальную свободу. А именно она – опора норм, позволяющих сильному меньшинству индивидуально распоряжаться своим частным имуществом, и, в то же время, признавать рабочую силу частной собственностью рабочего, который вправе ее продавать по своему усмотрению. Но нормы «регистрации» (прописки) стесняют наш рынок рабочей силы, а поводок лимитирует возможности собственников имущества, даже и «олигархов», распоряжаться «своим» добром. Передача собственности чиновникам поводок напрягает. Станет ли Путин возвращать чиновничье государство? Тогда придется выяснять отношения. Но происходящее сегодня показывает, что усилия Путина по реставрации -- на пользу правящему классу, который, к тому же, ныне свободен от ханжества коммунистических ограничений на роскошь.

4

Ради чего возрождены жесткая централизация и «вертикаль власти», и Совет Федерации, и губернатор, уже не избирается гражданами, что превратило формально федеративное государство в откровенно унитарное? Но Путин лишь оформил это превращение. Фактически уже

ельцинская Конституция, провозгласив субъектами федерации 89 административных подразделений, из которых лишь 13-15 способны жить за свой счет, обрекала остальных на круговую зависимость от центра, подкармливавшего их за счет этих 13-15. А на одних только русских землях можно бы, сообразно историческим традициям, образовать 15-20 крупных субъектов федерации, способных себя прокормить. Но Ельцин не рискнул менять прочерченные Сталиным, ради удержания их зависимыми, границы краев и областей, понимая, что их пересмотр поставит в повестку дня национальное самоопределение русского народа, как целого, и уточнение внутренних границ его государства с национальными автономиями. Он предпочел лицемерную федерацию бессильных областей, а Путин, не став лицемерить, возродил унитарную империю, отняв формальную субъектность покамест лишь у национальных округов. Имперский порядок, хоть и на чуть иных началах, сохраняет богатства страны в руках правящего класса, уровень жизни которого оторвался от уровня рядовых граждан откровенней, чем в советские времена. Коммунисты, сплывающие вокруг себя не прижившуюся часть номенклатуры и бедноту, лишенную минимума, теперь и пытаются на них опереться.

5

Не Путин, опять же, завел имитационную демократию. В СССР она была изначально. Имитационными были советы – от поселковых до Верховных, избиравшиеся обычно большинством в 99.99% и единогласно голосовавшие, как надо. А реальной властью были партийные комитеты. На деле власть, не забудем, была не советская, а комитетская. Реальная комитетская решала, а имитационная советская оформляла. При Горбачеве и сперва при Ельцине в имитационную власть пустили горстку свободомыслящих, что прояснило ход вещей. Выборы новой Государственной Думы и вторые выборы Ельцина опять темнили. Все же то были выборы, надо голосовать, исполнить долг.

Путин от него освободил. Когда его избрали, выборы потеряли смысл. Центральное телевидение закрыто для оппозиции, доступ в печать ограничен. Выборы идут лишь по партийным спискам, хоть в России нет реальных партий, и все равно нежелательные снимают с голосования. Голосовать против всех не дают. Для признания выборов легитимными уже не нужна минимальная явка. И это, не вспоминая прямых фальсификаций!

Государственная дума имитирует парламент, но его глава Грызлов говорит, что «это не место для дискуссий». Там, правда, имитируют законодательную власть ловчей, чем в СССР, -- в Верховном Совете голосовали единогласно, а в Государственной Думе предусмотрено меньшинство голосов «против». В сравнении с советской, политическую систему упростили, в областях и районах нет дублирующего партийного аппарата. Лишь могучая администрация президента, как ЦК КПСС, опекает всё и дублирует правительство, которому и надлежит быть администрацией президента. Снова считаются лишь с вышестоящим мнением, и не видят нужды в реальной оппозиции.

Критика власти провозглашена экстремизмом. «Портретов Ленина не видно», но снова ставят памятники Сталину.

6

Быть может, главное дело Путина - он усмирил Чечню, хоть неведомо на какой срок. Ельцин, развязавший эту войну, потом спохватывался, искал мира, не был уверен, что его хочет, и, заключив, сам его подрывал. А Путин усмирил. Но это не только умножило там русофобию, превысив шедшую от памяти о выселении, а создало образ новой России, ее новый «имидж», уже не одних чеченцев страшший больше, чем Советский Союз, хоть российские злодеяния по общему объему еще несопоставимы с чудовищными советскими. Но большевики говорили речи о равноправии и свободе и сулили рай. Ленин и Сталин учиняли душераздирающие злодеяния, но прикрывались не случайной демагогией, как Сурков и Павловский, а стройной идеологией, еще многим тогда казавшейся убедительной. Они создали школу лицемерия, храня свои преступления в тайне или валя на других. Сталин, не только актерским, но и режиссерским талантом не уступал современникам Станиславскому и Мейерхольду.

Нынешняя российская власть не то, что честней советской, и даже не простодушней, но часто уже не считает нужным прикидываться, - и так съедят! После гибели «Курска» Путина в Америке спросили: «Что там с вашей подводной лодкой?» И с обескураживающей улыбкой он ответил: «Потонула!» В объяснения не входил. Власть, убежденная в своем праве делать, что хочет, не ищет оправданий, не связана законами. «А мы тот закон переменим», - подметил еще Щедрин. И меняют, даже не переписывая бумаги. Этим и силен КГБ, и прежде и теперь..

Другое дело, куда ведут. Укрепляя подобный прежнему порядок, нынешняя власть откинула советское лицемерие и свернула «левое» знамя. Сталин еще в нем нуждался, свернуть его не смел, а Путин, приняв его истлевшим, понял, что тоталитарная власть красна не знаменем, а практикой. В отличие от Гайдара он не спешит открыто назвать свое место в политическом спектре. Тот спешил назвать свою партию «правой», чтобы отличаться от все еще числимых «левыми» коммунистов, на деле, по всем их поступкам, - от Гулага до выселений народов, оголтело «правых» мракобесов. На деле гайдаровцы были «левее», а не «правее» коммунистов! Разве Гайдар не знал?

Трагедия в том, что антикоммунистическая, впрямь «левая», социал-либеральная революции, возрождающая гражданские права и дающая рядовому человеку имущественные, в девяностые не состоялась. Но права и свободы отстаивают либералы, - не ряженные «левые» XX века, не коммунисты, не «правые», а реальные либералы. Их-то у нас и мало. Вот и результат.

Что дальше?

1

Взлет цен на нефть вернул России компенсирующую добавку. Она дала Путину передышку, и прояснила социальный смысл происходившего. Подобно срокам нэповской передышки, рассчитанной Лениным на год («Мы год отступали, - достаточно!»), а на деле отнявшей у Сталина восемь лет, сроки нынешней никому не ведомы. Пока нефть в цене, власть, не извлекая опыта из советских лет, поддерживает ущербный порядок и старается вернуть советские нормы, от которых кризис вынудил отступить, или иначе их декорировать. Падение цен на нефть, конечно, снова потребует изменений. Можно лишь гадать, опять ли власть соблазнится либеральной перестройкой или вернет своим – Гулаг, а чужим - войну, холодную или горячую. Важно не забыть, что на деле происходило в восьмидесятые и девяностые, понять, чего обществу тогда нехватало, чтобы вынудить власть к реальным переменам. Хоть Советский Союз вроде разделился, Россия ощущает себя Советским Союзом, лишь как бы ужавшимся. Хоть коммунистическая партия давно вроде не правящая, а переименованная КГБ-ФСБ возрождает то, что заводила она.

Российская власть признала и осудила преступления прежней советской. Она пересматривала старые обвинения и реабилитировала, хоть в основном посмертно, многих безвинно осужденных даже на громких процессах 1937-38. Был издан закон о реабилитации. Но ни в этом законе, ни в речах государственных деятелей, так и не было признано, что большинство политических статей Уголовного кодекса, предъявлявшихся обвиняемым, начиная со статей об антисоветской пропаганде (58.10) или создании организации (58.11), прямо противоречили даже сталинской Конституции, не говоря о Российской, и само их существование было незаконно, то есть, у обвиняемых по ним заведомо отсутствовал состав преступления. Власть могла легко вернуться в рамки права, объявив реабилитированными всех осужденных по таким статьям, не вынуждая их по-отдельности искать правды, а, напротив, обязав прокуратуру и КГБ выслать пострадавшим или их родным справки о реабилитации. Но и в своем как бы либеральном порыве власть посылала пострадавших стоять в очередях в прокуратуру с просьбами разобраться.

2

Перемены девяностых годов, именуемые революцией, по преимуществу остались переименованиями. Отказ от марксизма-ленинизма, символизировал отход от прежних порядков. Но и он во многом был показным, формальным. Он не был обдуман обществом, не преобразил его сознание, не обозначил органические пороки рушившегося строя, только отдельные ошибки. Ничто не побудило признать, что у нашего общества, состоящего из не одинаковых людей, нет адекватных способов выразить свое многообразие и многоголосие, и соответствующие органы поныне не созданы. На деле в России нет

представительной системы, нет независимого состязательного суда, ни сменяемости властей, ни их разделения, ни их ответственности. Взяточник и взяточдатель караются одинаково, хоть взяточник – это власть, и с него больший спрос.

Так и не было гласно осмыслено, почему в Гражданской войне не малая часть народа воевала за большевиков, обеспечив им победу, а не меньшая воевала против большевиков, но не так за свободу, как за царя. Не было осознано, почему после нэповской передышки и куцога социального мира, большевики снова пошли в атаку на крестьянство и интеллигенцию, обрекая миллионы беззащитных людей на смерть. Большинство объявленных врагами, как потом, еще до 1991, признали, никаких реальных преступлений не совершило, но достаточно было косо посмотреть, - по числу жертв можно представить себе минимум таких, смотревших косо. А число жертв было гигантским, – по одним данным чуть не шестьдесят миллионов, по другим сорок, по оглашенным Хрущевым в докладе о культе личности семнадцать, -- даже эта официальная цифра говорит о гигантских масштабах неприятия режима, о том, что Гражданская война практически продолжалась все годы советской власти, и это тоже не было в 1991 году осознано и признано.

Не были осмыслены методы установления партийной диктатуры и внеэкономического хозяйствования. Не были уяснены социальные причины разительных изменений в самом марксизме-ленинизме, далеко уведших партийную идеологию от основополагающих положений не только Маркса, но и Ленина. Не была определена социальная природа советского тоталитарного порядка, противопоставлявшая СССР остальному миру, вызывая сопротивление даже в так называемом социалистическом лагере, вылившееся в открытые конфликты с Югославией и Китаем, а потом в массовые движения в Венгрии, Чехословакии и Польше. Все это просто отбросили, перечеркнули, словно ничего и не было, и это затормозило преобразование России.

Не то, что ничего не противопоставили советскому бесправью. Вздыхают о царе, свержнутом, впрочем, не большевиками. Исчадием бед объявили не разгон Учредительного Собрания, а Февральскую революцию. В положительные примеры берут национал-социалистическую Германию, продают «Майн Кампф» и носят свастику. Ищут более приемлемые формы самодержавия и тоталитаризма и, даже отвратясь от советской, не отказываются от подобных ей.

3

Неосознанность тоталитарной природы советского режима, нежелание ее преодолеть, поныне мешает добрым отношениям России с бывшими союзными республиками и соцстранами, на себе ощущавшими его тяжелую пяду. В начале Второй мировой войны социалистический Советский Союз был союзником национал-социалистической Германии, и лишь когда та нарушила Договор о дружбе, стал ее противником. Сыграв важнейшую роль в победе и освобождении многих стран от нацистских войск, он на долгие годы поставил там советские войска. Россия поныне не признает, что тамшнее желание убрать следы оккупантов направлено не против русского народа, а против

пятидесятилетней советской оккупации, бывшей для этих стран не лучше пятилетней, а где и трехлетней, нацистской. Но Россия, не пошедшая после крушения социализма на очистительный самоанализ, какой после крушения национал-социализма проделала Германия, все еще воспринимает себя, как остов СССР, а его разделение, отпадение колоний, как свое унижение. Но, сочтя крушение империи «величайшей геополитической катастрофой», трудно понять освобожденные колонии, и признать Россию самостоятельным государством с иными интересами, чем у СССР. Еще трудней ввести порядок, отличный от советского.

Наличие в СССР других республик влекло и российское сознание к раздумьям о тоталитаризме, губившем страну. Их тяга к «республиканскому хозрасчету» побуждала считать убытки русского народа от бесплодных затей власти. Жажда других народов сберечь национальный язык и культуру напоминала, что, русский язык, как «язык межнационального общения», скудел, а культура увядала, и республиканские примеры побуждали больше ею дорожить. К тому же, русское союзное начальство своей политикой навлекло на русских людей, непричастных к приказам о выселении одних и зачистках других, ответную реакцию на гнет, русофобию, и миллионы русских людей думали о демократическом русском государстве, никого не попирающем и не тратящем на это силы своего народа, у которого с лихвой хватает умов и талантов для развития и самостоятельной жизни. Но повелевавшие Россией секретари обкомов и чины КГБ, заняв рублевые места, придали ей характер и вид прежнего Союза, бывшего не союзом, а империей. В Чечне автономии увидели, что на них есть управа, покрусче сталинских выселений.

Часто сетуют на экономические заблуждения и злоупотребления первых лет новой России, на заданный тогда пагубный для страны «номенклатурный капитализм», капитализм на поводке, как небо от земли далекий от либерального. Но будь даже экономические реформы более здоровыми, им было не изменить характер и жизнь страны потому, что их не подпирала политические и культурные преобразования. В декоративной сталинской Конституции было меньше авторитаризма, чем в новой Российской, писавшейся под «хорошего человека». Сталин лицемерил, а Ельцин признал, что президент России -- самодержец.

4

Он не раз призывал создать новую государственную идеологию. Независимо от намерений эти призывы возвращали к тоталитаризму. В демократическом государстве идеологии нет места уже потому, что, олицетворяя компромисс общественных классов, публично отстаивающих свои позиции, демократия терпит их разные мировоззрения, заведомо чуждые одно другому. Первое условие свободы – отказ от нормативной идеологии, будь то марксизм-ленинизм, христианство, ислам, буддизм или любая другая система взглядов. Свобода предполагает отделение государства от нормативной идеологии, не только религиозной, но и светской, и отделение от нее государственной школы. Все религии, кроме явно

изуверских, должны быть дозволены, все мировоззрения доступны для изучения, но не должно быть обязательных и насаждаемых властью. .

Условия развития, однако, не исчерпываются терпимостью, разрешающей разным религиям, идеологиям и философиям полемизировать. Главное - практическая демократия, позволяющая разным типам хозяйства состязаться, отстаивать интересы разных его сфер и элементов и нужды разных частей общества. Демократия - это форма социального компромисса, и парламент, где разные позиции соизмеряются, - инструмент компромисса. Он восходит к Англии XIII века, где король перестал быть неограниченным повелителем и вынужден был считаться и с баронами, и с рыцарями, и с горожанами, представленными в парламенте. Разные части общества по-разному отстаивали свое. Уже в XIII веке было осознано, что без подвижных социальных компромиссов, меняющихся с каждым поворотом развития, страна сама себя грабит и ослабляет. Компромиссом стало охраняемое законом право не только аристократа или государственного чиновника, но любого частного лица, арендовать землю, нанимать рабочих, производить и продавать товары и услуги. Компромиссом стало создание профсоюзов и установление охраняемой законом системы социальной защиты. Такие компромиссы подпираются независимостью суда от других властей. Либеральные принципы Запада - это принципы социального компромисса.

И либерализм и тоталитаризм существуют во множестве вариантов, но у либерализма нестроевой характер, в нем соседствуют разные, порой несовместимые начала, политически ему годится и многопартийная и двухпартийная система. Люди там не равны, но равноправны. Либерализму естественны классовая борьба и противоборства сословий, ему понятны особенное и отдельное. Там обычно бьют не до смерти, взаимно уступая, чтобы жить дальше и соперничать иными ходами, а если убивают, то чаще из-за угла. А тоталитаризм держит строй, ликвидирует нежелательные классы, укрощает сословия, вводит однопартийную систему, лишает разные части общества прав на особенные и людей на отдельные нужды. Всё одинаковы, все равны, «не умеешь – научим, не хочешь – заставим» и «шаг в сторону – означает побег». Ради имитации демократии тоталитаризм порой создает имитационную оппозицию, но ее легко узнать по слиянию в экстазе с государством и его правителем.

Россия от Ивана Грозного жила бескомпромиссно. Ее беда не в том, что все русские цари - дураки или злодеи, это неправда, а в том, что они - неограниченные властители. И в уверенности, что намерения власти всегда благие! Но даже Иисус из Назарета, сказав: «Кто не со мной, тот против меня», возделал, - поверим, что неволью, - почву для церковной нетерпимости и - от Испании до России – сожжения людей заживо. Большевики тоже объявили: «Кто не с нами, тот против нас», и переступали миллионы сограждан, не разделявших их взглядов. Они не пошли на компромисс с численно преобладавшим в России крестьянством, а его уничтожили. Не пошли на компромисс с интеллигенцией, назначение которой неисполнимо без элементарных свобод, изначально отнятых. И стреляли в рабочих, требовавших справедливости. В России ни царская, ни советская, ни пост-советская

власть не признала, что оппозиция – не менее законный участник политического устройства, чем сама власть. Любого, кто вымолвил, что власть несовершенна, что совершает ошибки и, тем более, преступления, которые, как всякие другие, подлежат публичному расследованию, Сталин объявлял «врагом народа», а Путин – «экстремистом». И цари, и большевики, и чекисты навязывали свою волю, не желая искать даже компромиссных решений.

Главное воплощение бескомпромиссности СССР -- его карающий меч – ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Наивно ждать от выучеников этой школы, в том числе от Путина и его друзей, готовности к компромиссу, к учету интересов разных слоев общества, к их гармонизации. Их учили противоположному: пресекать любые действия и даже речи тех, «кто не с ними». Но что бы они ни проповедовали, казарменный коммунизм или дикий капитализм, их бескомпромиссность – это основа тоталитарной системы, поскольку властная вертикаль не вступает в компромиссы ни на каком горизонтальном уровне.

Конечно, и у нас признавали, что без компромиссов, скажем, с Западом, не обойтись. Но только временных, - до победы коммунизма во всем мире, до мирового господства России, которое осталась неизменной целью. В российском сознании компромисс - это капитуляция, духовное разоружение перед человеком с ружьем. Мы ждем этого от других, сами не уступая. А реальный компромисс – это взаимность уступок. Бароны или крестьяне не бунтовали, если король хоть отчасти шел им навстречу. Но если власть не дает открыто выказать нужды, если она решает, кого включать в избирательный бюллетень, а ей не угодных случайно убивают, значит она ждет, что все уступят ей, а она никому.

5

Это особенно отдается в национальных проблемах. Россия полна ксенофобии и разных национализмов. Массовая русская шовинистическая организация «Движение против нелегальной иммиграции» формально выступает против иностранцев (в том числе из республик СССР), отнимающих рабочие места у российских граждан. Но фактически она, как показали стычки с чеченцами в Кондопоге, атакует нерусских жителей России. Путин даже публично сетовал, что они нарушают уклад жизни «коренного населения». Не жалевший ни чеченской, ни русской крови, чтобы удержать Чечню в России, он не признает чеченцев равноправными гражданами общей страны. К тому же, именуя жителей Кондопоги «коренными», Путин странным образом забыл, что там коренные жители не русские, а карелы, отнюдь не утверждающие, что «Россия для русских».

Уже тут видно, что массовый шовинизм порожден не просто притоком внешних и внутренних мигрантов из-за нехватки местной рабочей силы, а тем, что русский народ все еще не совершил подлинного национального самоопределения, не различает имперский русский шовинизм и антиимперский русский национализм. Отношения с народами колоний, забота об их покорности русской власти, в России поныне актуальнее жизни самого русского народа и обхождения власти с ним. Еще не осознано, какие земли составляют русскую землю, и

каковы ее отношения с землями народов колоний, тоже застрявших с самоопределением.

В России зреет жажда прижать нерусских («Россия для русских!»), не признавать наличия меньшинств, отнюдь не малых, и отнять у них право на самоопределение на территории, где они коренные жители. Покорив Чечню, Путин нанес успешный удар антиимперскому русскому национализму. Иди теперь доказывай, что русский национализм - не обязательно имперский, что не все русские - Шамановы и Будановы. Евразийцы уже пылко вещают, что Россия не может быть национальным государством, но только империей, иначе, дескать, ей не жить. А самоопределение русского народа предполагает, напротив, создание, наряду с государствами меньшинств, национальное русское федеративное государство, вобравшее и поморов, и казаков, и сибиряков, и смолян, то есть, преобладающую часть территории РСФСР. А иначе абстрактная Россия будет на деле опять империей, а русских в ней будет все меньше.

Самоопределение народов вовсе не требует разрыва связей меж ними. Будучи впрямь союзными, или впрямь федеративными или конфедеративными, они могут стать даже ближе, лишь бы их республики и отдельные граждане были равноправны, чего не было в СССР и нет в России. Человек не исчерпывается этнической принадлежностью, и нация - расовой общностью. Если не считать немецкого национал-социализма, ничто не искажало формирование наций грубей, чем призыв «Россия для русских!». На деле жителей России сплачивает в единую нацию не происхождение, - в их фамилиях и нередко в лицах различимы и татарские, и финские, и балтийские, и немецкие, и еврейские и западно-славянские корни (Фамилии и лица других европейских народов тоже пестры.), и не вера, - не у всех русских христиан православная. (Англичане или немцы бывают и протестантами разного толка и католиками.) Сплачивает, прежде всего, общий язык, почему шовинисты и делят жителей России на русских и русско-язычных, сплачивает общая жизнь и добровольно принятая культура. Указ об отмене меньшинств никого не сделает русским, но современная жизнь вовлекает разных людей в становящуюся общей культуру, не просто необходимую, но ведущую к интеграции, а не раздору. На это идут десятилетия и века.

Но время пропадает там, где государство поощряет этническую рознь. В царской России антисемитизм был традицией, и в революциях 1917 года, наряду с выходцами из других ущемленных народов, активно участвовало немало евреев. Нынешние антисемиты утверждают, что их было даже слишком много, умалчивая, что после Октября их процент в руководящих органах неуклонно падал, и в Политбюро к концу 1926 года не осталось ни одного. Сокращался он и при ликвидации НЭПа и при великом терроре. А еще во время войны с Германией, через четверть века после революции, возник советский государственный антисемитизм. В 1949 году вели «борьбу с космополитизмом», а в 1953 - «дело врачей». Переплетаясь с внешней политикой СССР, поддерживавшего арабские страны против Израиля, дискриминация евреев росла. Перестройка внесла во внешнюю политику чуть больше равновесия, большинство евреев смогло выехать из СССР, но

антисемитская пропаганда не утихла, и евреи, наряду с народами Кавказа, -- главная мишень российского шовинизма.

В то же время православные грузины издавна пользовались в России симпатиями, грузином был Сталин, и неизвестно, терпели ли бы его так долго, будь он поляком, эстонцем или азербайджанцем. Но уже и грузины попали в число «лиц кавказской национальности», к которым при поддержке государства разжигали неприязнь, а недавно, при участии президента, развернули антигрузинскую компанию с позорным выселением, в ходе которого несколько человек погибло. И даже извинений президент не принес.

6

Гайдар полагает, что к 2020 году России понадобится чуть не 25 миллионов иностранных рабочих. Власть хочет преодолеть нехватку рабочей силы поощряя рождаемость деньгами, хоть ее снижение, равно как сегодняшняя, чудовищно краткая у нас продолжительность жизни мужчин, вызвана социальными причинами, а не просто нищетой.

Расчеты Гайдара исходят из нынешних обстоятельств, иные из которых все же улучшила бы смена общественного порядка, - в частности, облегчение внутренней миграции. Если в США переезд туда, где нужна рабочая сила, не труден, то в России с паспортной системой, пропиской (регистрацией), сложностью возврата на прежнее место, неравноценностью в регионах медицинской помощи и школ, он непомерно затруднен, и трудовые ресурсы плохо используются. Если бы внутренняя миграция хоть малость сократила внешнюю, острота бы спала, но ничего не делается, чтобы не смущать «коренных жителей». Впрочем, велик и вклад ксенофобии: не русские мигранты из Грозного не более желанны, чем из Баку.

7

С иностранцами наши псевдо-частные фирмы работают по своим обычаям, а не по законам. Когда иностранец, подписав контракт, вкладывает большие деньги, государство часто меняет условия, а вложенное не изъять. Такие «выигрыши» подрывают доверие к России даже у ее граждан. А наше псевдо-частное хозяйство продуктивно лишь в добывающих отраслях, приносящих власти гигантские налоги. В других сферах хвастать нечем. Страх, что наново выстроенный современный завод конфискуют и затраты на него пропадут, тормозит частные инициативы и инвестиции.

Беззаконие, пагубное и для отдельного человека, губит предприятия. А судебная власть, роль которой в экономическом обществе больше, чем в тоталитарном, где она карает, а не восстанавливает справедливость, у нас еще меньше озирается на закон, чем в советские времена, когда все предприятия были государственными, и толкует закон избирательно. Да и новые законы противоречивы. Судебная система, как стабилизатор промышленности, оказалась у нас опасней даже советского директивного руководства, деятели которого хоть

какую-то ответственность за последствия несли. А нынешний суд за незаконное разорение продуктивных хозяйств не несет никакой.

Между тем, Дантон и Бонапарт могли превратить феодальную Францию в буржуазную потому, что к революции крестьянин во многом уже обрел самостоятельность в хозяйстве, хоть юридически был еще повязан прежними повинностями, часто преобразованными в обязанность их регулярно выкупать, но ее-то революция и упразднила. А Горбачева или Ельцина сдержало не только подобие сопротивления правящего класса Людовику XVI, тоже думавшему о реформах, но еще больше отсутствие при советской системе у отдельных предприятий, организаций и граждан нерушимых прав хоть на частичную самостоятельность. Чтобы они возникли, мало их провозгласить. Власть, прежде всего, судебная, должна уважать законную самостоятельность, а законодательная - дать законы, всем одинаково, а не избирательно, гарантирующие экономическую свободу. Тогда бы утешали слова Горбачева «процесс пошел» и мы бы надеялись, что пороки режима хотя бы не отнимут у России шансы на будущее. А без этого идеалом свободы останутся девяностые годы, когда ее легко отняли и отдали.

8

Отказ от экономической свободы и либерального порядка определяет и положение страны в мире. Навязывание своих произвольных решений другим, особенно бывшим республикам СССР, двусмысленно именуемым «ближним зарубежьем», по мере осознания ими того, что это наследство тоталитарной системы, возвращает ситуацию к противоборствам советского времени, к берлинской стене вместо публичной полемики. Новая холодная война еще не вполне началась, да и прежняя раскрутилась не сразу. Но гонения на неправительственные организации неугодные партии, поспешное перевооружение, отказы России, объявившей себя правопреемницей СССР, брать на себя ответственность за его деяния и, в частности, за ущерб, нанесенный независимым ныне соседям, неспособность внятно отречься от возрождения империи, от закона с притязаниями на право убивать оппонентов на территории других стран, не говоря о самих убийствах, укрепляют недоверие к нашей стране, портят ее «имидж», так или иначе сказываясь на экономических и других отношениях. А либеральный мир нужен России не из приличия, а ради благополучия. Затеять с ним, как некогда Сталин, холодную войну, валя вину на других, -- нерасчетливо.

Запад для России - источник новейшей, жизненно важной техники и покупатель единственного, что у нас есть в изобилии, - сырья. Мы связаны с ним общей в своей основе культурой, способствующей взаимопониманию. Даже интересы безопасности толкают к нему, хоть власть не хочет это признать. Даже блок НАТО, который она бранит, выгоден России уже тем, что, будучи в нем, ни одна страна не пойдет на враждебные нам наступательные приготовления. А общие действия потребуют согласия Европы и Америки, явно не желающих схватки с Россией. Даже обладая ядерным оружием, когда у нас его еще не было, Америка не воспользовалась своим преимуществом. Той надежности,

какая возможна на границах России с НАТО, нет и не может быть ни на границе с Китаем, ни на южных границах с мусульманскими странами.

А власть говорит, и то расплывчато, лишь об угрозе «международного терроризма». Путин заявил, что источник терроризма, погубившего в Беслане детей, – на Западе, хотя там, напротив, его главные мишени. Запад еще терпим к нашим учащающимся выпадам, не вдумываясь в вызвавшие их глубинные процессы в России. Ввязываться в затеваемую Путиным, как некогда Сталиным, холодную войну, конечно, не стоит. Но нелепо воевать за демократию в Ираке и смотреть сквозь пальцы на ее ликвидацию в России. На советские рецидивы надо четко указывать. Лишь ясность принесет взаимно добрые отношения с Россией, если она больше не СССР. Это и надо прояснить.

А речи о «международном терроризме» на удивление неконкретны. Наша власть не хочет признать, что терроризм -- орудие известных ново-тоталитарных движений, и так рьяно эти движения выгораживает, словно готова их сама возглавить. Такая игра с огнем выдает интерес, волнующий власть больше безопасности отечества, еще Сталина сподобивший перебить генералов и офицеров Красной Армии и подчинить Белорусский округ, преграждавший путь на Москву, старшему лейтенанту Павлову.

9

Понятно, что правящий класс бережет режим, дающий ему столь надежные преимущества, каких не дает никакой другой. Социальная катастрофа начала девяностых надломила, если не сломала, советский инструментарий, и Путин его чинил и строил почти наново. Пока золотой дождь льет, надежды номенклатуры не вянут. Но чуть он прошел, - через месяц, пять лет или четверть века, - негодность строя для научно-технического развития основ современной жизни, снова даст себя знать. Свободное развитие плохо совмещается с тоталитаризмом. Советский опыт показал, что они уживаются лишь в особых сферах, где ради высшей цели готовы поступиться тоталитарными принципами и позволить еврею Харитону и беспартийному Сахарову создавать необходимое стране оружие. Но дать ход кибернетике и электронике, нужным войне не меньше бомб, все равно не сумели. Где тут ждать заботы о благе рядовых людей.

С Ивана Грозного Россия выбирала, быть, - ценой бесправия и нищеты, - мировой державой или, не гонясь за влиянием, простертым уже и на Африку и на Латинскую Америку, искать благоденствия своему народу. Но для этого надо народ слышать, а он безмолвствует.

Безмолвствует не только с отчаянья от не оправдавших надежд реформ, но уже и оттого, что не одни средства массовой информации зажаты, но и выборы никакого выбора не дают. Власть по традиции делит граждан на послушных патриотов и бунтующих инородцев. Ее, как в СССР, не занимает молчаливое большинство, не склонное бунтовать, но строящее свою жизнь, сознавая реальность, которую власть, не считаясь с ним, создала. От этого и личные устремления властителей расходятся с интересами развития России, нуждающейся в

максимальной реализации дарований, умов и рук. Возможно, Путин искренне верит, что его команды на то и направлены. Но еще Черномырдин признал: «Хотели, как лучше, а получается, как всегда». И, коль скоро советская традиция ведет к кризису, а спасение в демократии и экономической свободе, важнее понять, что на деле мешает к ним придти, чем гадать, кто чего хотел.

10

Российский опыт не велит полагаться на давние уверения Ленина и недавние Березовского, что главное, -- взять власть. Что же, однако, делать? Велят следовать традициям тысячелетнего Российского государства. Но у него традиции, друг с другом несовместимые. Традиция крепостничества и традиция «бессмысленного и беспощадного» бунта. Традиция «дней александровых прекрасного начала» и традиция завершившей его правление аракчеевщины. Традиция приглашения князей и традиция несменяемости власти. Новая власть и в 1917, и в 1991, тоже, подобно прежней царской, утверждалась как несменяемая, что и давало действовать в интересах не страны, а династии. Есть традиция силы, ее в XX веке продолжали не только Дворцовая 9 января и подвалы Лубянки, но и глумление Ленина над Толстым за «непротивление злу насилием». А традиция Толстого -- сопротивляться злу всеми средствами, кроме насилия, как главного зла. Его ученики Мохандас Карамчанд Ганди и Мартин Лютер Кинг, хоть и были убиты, изменили лица Индии и Америки. А родина Толстого не помнит его традиции.

По Конституции на анти-правительственное шествие не надо спрашивать разрешения, достаточно уведомить власти о намерении и маршруте. Но, хоть демонстранты не ломают витрины и не жгут автомашины, а спокойно несут свои транспаранты или даже просто идут, их бьют дубинками по головам. Нарушая Конституцию, власть насилием, по-ленински, отвечает на ненасильственные действия против зла, напоминая, что можно сменить наряд, но не природу.

Иные, недовольные избиениями, винят демонстрантов, считая, что лучше не перечить. Вероятно, впрямь будет хуже, но не из-за демонстраций. Иные, оправдывают дубинки тем, что демонстрации возглавляют не лучшие претенденты на власть. Возможно, это верно. Иные говорят, что и честно избранная власть у нас будет хуже нынешней, и нечего подставлять головы под удары. Порой и это правда.

Но мирные шествия не меняют власть, лишь выясняют с ней отношения. На улице потому, что это невозможно ни на телевидении, ни на радио, ни в печати, ни даже в Государственной Думе. Рост цен на нефть упразднил гласность. Разные взгляды на ситуацию в стране не обсуждаются публично, а ситуацию можно прояснить только так. Если безмолвствовать, выберут власть еще хуже нынешней, уже оттого, что в телевизоре, как в советские времена, нет честного анализа того, что с нами было, что происходит и что будет. Даже во время выборов не слышать полемики кандидатов меж собой. А публичные споры Путина с Зюгановым или Явлинским, Чубайса с Рогозиным или Лужковым, Касьянова с Фрадковым или Ивановым и многих еще других, показали

бы, в чем они расходятся и в чем сходятся. Избиратель способен выбрать только если слышит всех и взвешивает доводы «за» и «против» каждого. А власть дает говорить публично только своим, но регулярно по телевизору пускает сериалы о Сталине. Вот люди и выходят на улицу, поскольку другой возможности выразить несогласие с властью уже нет. То, что я или другие порой не разделяем взглядов вышедших на улицу на то, как жить дальше, не лишает их права сказать свое. Более того, лишь когда оно мирно и публично сказано, возникает моральное право возражать и публично спорить. Свобода слова неделима. Когда вместо нее дубинки насаждают свободу «правильного» слова, которую охраняли еще в СССР, конституционная свобода кончается. У власти нет довода сильнее дубинки. Оппоненты молчат. Но дан приказ: бить! И руководители успешного битья растут на работе.

ТРЕТЬЯ НАДЕЖДА

Если не сам Сталин, то кто-то из соратников, не говоря о простых гражданах, порой ощущал непродуктивность порядка. Порядок хотели улучшить, но лишь к восьмидесятым социальные и национальные кризисы преступили грань. Страшная жизнь при Сталине понятна, но сорок лет без него система оставапась непоправима. 19 августа 1991 руководство КПСС и СССР подтвердило, что на попытки ее изменить ответят оружием не только в Будапеште или Праге, но и в Москве. Это сулило распад СССР, и, начав с Российской Федерации, его республики, как самостоятельные, вышли из Советского Союза.

Отречение, однако, было механическим и номинальным. Не только потому, что правила по-прежнему коммунисты, хоть формально и вышедшие из КПСС, а она, запрещенная было, тут же воскресла в виде КПРФ, и ключевые органы власти, начиная с КГБ, тщательно берегли традиции, продолжая их в Чечне, пожелавшей самостоятельности.

По ходу кризиса падало жизнеобеспечение, но многие граждане вздыхали о временах, когда магазины уже были пусты, вместо «купить» говорили «достать», но считали, что в нарастающих бедствиях виновен не советский порядок, а отказ от него, и голосовали за коммунистов. А звавшееся демократическим большинство поддерживало Ельцина, проведшего экономические реформы, но как раз и сохранившего КГБ и развязавшего войну в Чечне.

Московская газета «Коммерсант» опубликовала статью одного из главных руководителей российских органов безопасности Виктора Черкесова, близкого друга президента Путина, работавшего с ним вместе еще в «большом доме» - Ленинградском управлении КГБ. Это едва ли не самое яркое за минувшие годы выступление в поддержку политики Российского государства. Хоть автор преследует свои цели и защищает подведомственных ему работников, откровенность в обсуждении жизни России и путей ее спасения примечательна. Это не просто личное мнение, схоже смотрят на вещи и его коллеги, - и те с которыми он выясняет отношения, и те, кто ему сочувствует.

Попытку России преодолеть советский порядок Черкесов описывает так: «Страна в начале 90-х годов пережила полномасштабную катастрофу.... После катастрофы система рано или поздно начинает

собираться заново вокруг тех своих частей, которые сумели сохранить определенные системные свойства.. Рыхлое, неоднородное, внутренне противоречивое и далеко не однозначное сообщество людей, выбравших в советскую эпоху в качестве профессии защиту государственной безопасности, оказалось в социальном плане наиболее консолидированным.... Кто-то быстро отпал, вышел из профессионального сообщества. Кто-то предал. Кто-то стремительно "сcurвился". Но какая-то часть сообщества все-таки выстояла... Падая в бездну, постсоветское общество уцепилось за этот самый "чекистский" крюк. И повисло на нем. А кому-то хотелось, чтобы оно ударилось о дно и разбилось вдребезги. И те, кто этого ждал, страшно обиделись. И стали возмущаться, говоря о скверных свойствах "чекистского" крюка, на котором удержалось общество».

Общая оценка распада СССР, как катастрофы, не нова. Уже Путин его оценил, как величайшую геополитическую катастрофу. Но едва ли не впервые официальное лицо с редкой для его профессии искренностью объяснило, в чем состояло спасение страны: в том, что система заново собралась вокруг тех своих частей, которые сохранили системные свойства. Многие, конечно, не согласятся с Черкесовым в том, что абстрактно, но точно, описанный им процесс был для России спасением. Я, к примеру, убежден, что он был для нее губительным, но Черкесов прав, говоря, что система, рушившаяся в начале девяностых, заново была собрана вокруг тех своих частей, что оставались советскими, и, прежде всего, - оговорив лишь вклад в это собрание президента Ельцина, - вокруг Комитета Госбезопасности, и снова стала по-сути советской.

Черкесов тем более прав, напирая на решимость этих частей удержать страну от разлада с советским характером жизни. Можно, правда, отметить двусмысленность образа «чекистского крюка», на котором наше общество удержало свою советскость, посетовать, что он напоминает о крюках на бойне, где висят забитые быки, да еще возвращает к фамилии последнего председателя КГБ Крючкова. А можно, - и не только потому, что профессия Черкесова не в создании образов, - и с этими оговорками признать «крюк» внятным напоминанием, что страна и любой из нас с дней основания ЧК висели на этом крюке. И не зря замечено, что испытанные методы возврата к советскости снова вызвали сетования на скверные свойства чекистского крюка. Это тоже правда, и глумиться над Черкесовым за то, что он эту правду выговорил, даже решительно не приемля его прежних, да и нынешних, служебных дел, не стоит. Он, видимо, не лучше тех, с кем спорит, но Патрушев таких признаний не делал, их не делал ни Крючков, ни Андропов, ни Шелепин, ни Ежов, ни Ягода, ни Дзержинский. А без них смысл и судьбу русской революции не понять.

Образы, конечно, всплывают разные. Кому на память придет расстрел шедших с хоругвями на Дворцовую площадь, кому великий сталинский террор и упреки Хрущеву после речи на XX съезде за то, что, объявив о 17 миллионах погибших, он не сказал, что расстреляли-то не больше миллиона, а остальных лишь посылали подыхать на лесоповал, а кому и черкесовский крюк вспомнится. Важно, что в этих образах самодержавного насилия, обладающего абсолютной властью, как раз и воплощены корни российских бедствий.

Черкесов вскользь замечает, что были такие, кто хотел, чтобы общество сорвалось, упало на дно и разбилось вдребезги. Это он, видимо, о не желавших, чтобы оно опять висело на крюке, а с чекистами без крюка не жить ни стране, ни обществу. Для них без крюка нет патриотизма. Но любовь к своей стране предполагает желание, чтобы она не висела на крюке. Любовь дорожит в своем предмете особенным. Не то, что предмет любви каждого по общим меркам лучше всех других, но всякий любящий знает, почему его возлюбленная, дети, родители, страна, ему дороже других. В любви к России ее ужасы не растворяются, любящий не выбрасывает из головы память о каторге, как милости, заменившей Достоевскому казнь, к которой приговорили за то, что читал ходившее в списках письмо Белинского Гоголю. Но этот чудовищный крюк лишь обостряет любовь к Гоголю, к Белинскому, к Достоевскому и многим еще другим. Россия удивительна особой способностью прорасти сквозь каменные плиты, а вздернутой на крюк, воспарять над ним. В других странах бывают люди и дела покрупнее наших, но такой способности пробиться сквозь асфальт нет, пожалуй, нигде. В искусстве она срабатывает, и оно у нас великое, не ниже, чем у более благополучных. Но стать опорой общего благополучия эта способность не способна, в особенности потому, что принудительный труд не столь эффективен, как свободный.

Нас регулярно убеждают, что никакая демократия для развития не нужна, что любое производство можно наладить и на тоталитарном крюке, и не то что это вовсе не так, Вот ведь даже водородную бомбу Андрей Сахаров сладил на год раньше, чем Эдвард Теллер в Америке. Сосредоточив силы и средства на желанном участке, а это самодержавному абсолютизму еще и сподручней, очень даже можно преуспеть. Другое дело, так сказать, наступление по всему фронту. А развитие общества зашло так далеко, что ему уже не хватает не только отдельных, из ряда вон выходящих гениев, но и блестящих талантов, и глубоких исследователей, и добросовестных лаборантов, и усердных рабочих. Отдельными участками уже не обойтись, обскачешь других в ракетостроении, а лже-наукой кибернетикой пренебрежешь, и окажутся твои ракеты не столь точны, как у соперника. И неизвестно, где упадешь, где соломку постлать. Но известно, что демократические страны, при прочих равных условиях, и живут лучше, и работают лучше, и развиваются успешней.

Не то, что тамошние начальники умней и честней наших, но они в куда большей мере открыты людским взорам и в своей деятельности и в соперничестве друг с другом, и оттого вынуждены выглядеть умней и честней, а, значит, хотя бы отчасти и вести себя так. Демократия, по буквальному смыслу греческих составляющих слова, переводится как «власть народа» и буквальное толкование расплодило обильную демагогию. Ее разновидностью стало и поношение русского народа, как, якобы, не доросшего до демократии, отчего, как ему жить, должны решать дворянство и номенклатура, а ныне, то ли олигархи, то ли чекисты. Под словом «демократия», народ выступает не единым, согласным хором, носителем единственно верного народного мнения, а отдельными голосами всех своих разных частей, идущих в мирных процедурных рамках к социальным компромиссам, и нет «не доросших»

до компромиссов народов, а есть политики, замалчивающие, не разрешающие, внутренние противоречия, разжигая в народе ненависть, войну всех против всех, чтобы над народом возвысится.

Нужду в демократии сразу ощутил буржуазный строй, даже прежде, чем потянулся к машине и научно-техническому развитию. Уже самое простое, ручное буржуазное производство, которому рабочие добровольно продают рабочую силу, предполагает, конечно, классовую борьбу с предпринимателем за уровень оплаты или длительность рабочего дня, но одновременно и единство в процессе производства. Когда в ходе борьбы это единство рушится, и луддиты ломают машины, предприниматель, понятно, терпит ущерб, но и рабочие лишаются работы и заработка. Поэтому буржуазное предприятие, в отличие от мастерской рабовладельца в древней Греции или крепостного завода в петровской России, носит заведомо компромиссный характер и таково все буржуазное общество. Парламент, доступ в который был сперва ограничен и неравноправен для тех или иных граждан, стал всеобщим. В нем стали звучными голоса несогласных, а теперь дойти до ушей власти еще проще. Экстремисты третируют парламент, как «говорильню», поскольку не любое требование миглом удовлетворяется, но лишь собравшее большинство, и, если оно складывается, приходит очередной компромисс, учитывающий разные интересы. Этому компромиссному характеру жизни Запад и обязан не только более высоким, чем у нас, уровнем жизни большинства людей, но и развитием науки и техники.

Коммунистическое самодержавие, теоретически как бы уповавшее как раз на развитие науки и производства, на практике не удержалось от дискриминаций и в этой сфере, независимо от дарований, не допуская лиц нежелательного социального и национального происхождения к образованию, а часто и к важной практической работе, за вычетом разве исключительно важной, где выбирать не приходилось. Не желая это признать, рассуждают об «утечке умов», объясняя эмиграцию многих, особенно молодых, ученых лишь стремлением к более высокой оплате труда, при нынешних доходах от нефти, и России вполне доступной. Но ни советские руководители, ни Ельцин, ни Путин не признались даже в том, что в стране шла планомерная политика по «вытеснению умов», тоже во многом объясняющая нынешнее положение, не только производственное, но и социальное.

Власть, обычно не склонная к откровенности Черкесова, внушает, будто у нас тоже демократия, но не простая, а некая «суверенная», что по прямому смыслу слова значит «независимая». Но независимой бывает страна, государство, а о суверенности общественного строя, скажем, о «суверенном рабовладении», хоть рабство в Риме и в Греции, даже не оглядываясь на Восток, сильно различалось, никогда не говорили, -- в этом словосочетании так же мало смысла, как в «суверенной демократии». Разве что, ее автор Сурков начитался правоведа Жана Бодена, утверждавшего, во второй половине XVI века, в пору французского абсолютизма, что общественный строй определяется волей суверена, монарха, откуда, и «суверенитет», как независимость. Может наша «демократия», по Суркову, впрямь обусловлена волей суверена, нашего самодержавного президента? Если так, Сурков нашел нужное слово. Тогда понятно, что президент, не

будучи членом правительственной партии возглавляет ее список, понятно, что и все другие партии, допущенные к «выборам», тоже заявляют о поддержке суверена-президента, а «выборы» проводятся по партийным спискам, и беспартийные могут быть избраны лишь если партии включают их в свои списки, что прямо противоречит 32 статье Конституции, утверждающей, что «Граждане РФ имеют право избирать и быть избранными». А если избранными могут быть лишь угодные партиям, власть суверена-самодержца - абсолютна. Абсолютнее, чем у французского короля в XVI веке. Или Генерального секретаря ЦК КПСС.

Понятно, что в таких обстоятельствах на телевидении и по радио допустимы лишь информация и суждения не противоречащие воле суверена, да и в печатных газетах и журналах противоречить ей нежелательно. Вполне понятен и высочайший рейтинг Президента достигающий чуть не 85%. Когда при советской власти выбирали из одного, рейтинг представителей блока коммунистов и беспартийных достигал даже 99,99%, так что у Путина, соперничество с которым не допускается, и его ни с кем не сопоставляют, рейтинг даже низковат. За две избирательные кампании и почти восемь лет у власти Путин не провел ни одной публичной дискуссии ни с одним представителем оппозиции. А встречайся он, допустим, раз в неделю на первом канале хоть на час для бесед с явными оппозиционерами, с Зюгановым, с Явлинским, с Каспаровым, с другими, от его рейтинга мало что бы осталось. Но дискуссий нет, как и публичной критики.

Положение отчасти ухудшилось даже по сравнению с советскими временами. Конечно, тогда Анне Политковской, отважась она с такой же правдивостью сообщать, даже только в самиздате, об Афганской войне или выпусти за рубежом книгу «Брежневская Россия», семь лет заключения с последующими мытарствами были бы обеспечены. Как и над другими, над ней вершились бы произвол и беззаконие. Но не убийство из-за угла. И Дмитрий Холодов за нападки на министра обороны тоже проследовал бы за колючую проволоку, но не был бы убит. В последние годы советская власть убивала лишь в крайних случаях. У Брежнева и иных его соратников уже брезжило понимание нужды в компромиссе, и Леонид Ильич публично признавал, что «картошку не заменишь томатным соком». Горбачев пошел дальше и даже согласился на выборы не из одного. Мысль о компромиссе зрела во власти медленно, но пропала мгновенно, даже раньше, чем нефтяные потоки понесли золото, хоть надо еще понять, что без него удержала бы Россия на гэбистском крюке.

Мысль о компромиссе ушла оттого, что люди, попадающие у нас во власть, кроме как царей и комиссаров, никого в России не знают. Мощное освободительное движение, будоражившее девятнадцатый и первую треть российского двадцатого века, для них звук пустой. Ничто не мешало Ельцину после победы в августе и обретения независимости в конце декабря брать в правительство не только свободомыслящих экономистов, готовых взвинтить цены и обесценить дензнаки, но и реальных диссидентов. Он мог это делать на компромиссных началах, поручить Министерство безопасности диссидентам, хорошо его узнавшим, а Министерство обороны - кадровым военным. Компромисс был возможен, но номенклатура и более низкого уровня, чем на Старой

площади и оттуда выброшенная, его не хотела. Она отбросила марксистско-ленинскую идеологию, составлявшую в ту пору лишь часть, нередко уже декоративную, советской идеологии, не запечатленной словами, но пронизавшей все действия и бездействия власти, и в этом как раз качестве воскрешенной чекизмом.

До Виктора Черкесова нынешняя власть выражала свою идеологию не декларациями, а делами. Группа чеченских террористов захватила во время спектакля здание театра и, удерживая заложниками зрителей, потребовала, чтобы российские власти начали переговоры с чеченскими, в ходе войны признанными Россией легальными. Российские власти отказались, а вскоре в зал, полный зрителей-заложников пустили газ, и в результате погибли все чеченцы и немалая часть зрителей. От рук террористов ни один москвич не погиб. Российская власть, действуя под прямым контролем Президента и руководителей безопасности, не только ничего не сделала для спасения зрителей, но сама убила добрую их половину лишь затем, чтобы заодно убить чеченцев. Примечательна не беспощадность к вдовам погибших боевиков, пошедших мстить за мужей, но никого покамест не убивших, лишь требовавших мирных переговоров. Ожесточение – не редкость. Поражает беспощадность к собственным гражданам, которых погибло больше сотни. При Сталине КГБ держалось людоедского принципа: лучше посадить десять невиновных, чем упустить одного «врага народа». Нынешняя власть пошла дальше. Ни один из москвичей заведомо ни в чем не был виноват, все они вроде были невинными жертвами чеченцев. Но убили их не чеченцы, а свои, думавшие не о том, как спасти своих, но лишь как уничтожить чеченцев.

Казалось, этого не может быть, произошла какая-то ошибка. Но ситуация еще ужасней повторилась в Осетии. В селении Беслан террористы захватили школу, полную детей. И опять началась атака на террористов, в которой естественно погибали дети. И опять обнаружилось, что руководство страны и ее безопасности обеспокоено не защитой своих граждан, но лишь уничтожением противника. На это, как говорится, дирекция не щадит затрат, щедро платя жизнями своих граждан, даже детскими жизнями, лишь бы возобладать. Повторение московской схемы действий в Осетии, показало, что она не случайна. Черкесов и упрекал тех, кто ее не принимает и опять сетует на скверные свойства чекистского крюка. Поскольку чекисты стали главной опорой государства их скверные свойства стали свойствами государства. Большой террор завершил формирование ЧК, как террористической организации. Теперь она возглавляет страну. Ждать ли от нее готовности к компромиссам? Как видим, она на них не идет даже ради спасения детей. Тут и внешнему миру есть о чем подумать.

Советская власть изначально вела с остальным миром не только холодную, но горячие войны, готовилась к ним, тратилась на вооружение. Но горячие войны разжигала на периферии, отхватывая одну страну за другой, и удерживаясь от «упреждающего удара» по главному противнику, за который ратовали иные маршалы, то есть сознавала, что неминуемый ответный удар уничтожит русские города и заводы, и десятки миллионов русских людей. Какие бы соображения, пусть и не человеколюбивые, а только память о том, что свои люди,

заводы и города – основная, если не единственная, опора, ни руководили Брежневым и его соратниками, они не теряли осторожности и, балансируя на грани большой войны, край не переступали. Можно ли ждать хотя бы такой осторожности от власти, легко жертвующей своими людьми? Или ее утверждение после окончания холодной войны лишь повысило вероятность горячей? Агрессивные речи Президента, начиная с мюнхенской, велят задуматься. Утверждения Кондолизы Райс будто Россия и США – союзники в борьбе против терроризма и наркотиков, лишь говорят, что одна сторона надеется на союз с одними террористами против других. А другая не спешит открывать карты.

Но бескомпромиссность нынешней власти проступает не только в вооруженных действиях. В те же дни, что и Черкесов, российский Министр культуры указал, что выставление в Париже картин, три месяца спокойно висевших на Крымском валу, станет позором России. Не видя картин, трудно судить, хороши ли они, но и в худшем случае они бы позорили лишь своих авторов. 142 с лишним миллиона наших сограждан, кроме, понятно, несовершеннолетних и умалишенных, в состоянии нести ответственность за себя, свои картины, романы, спектакли и даже кинофильмы, не возлагая ее на Российское государство, пока оно позволяет каждому сочинять как вздумает, лишь бы не нарушая Уголовного Кодекса. Выступление Министра явно дает понять, что такие возможности сокращаются, и дело идет к восстановлению Закона о введении единомыслия в России, писанного еще Козьмой Прутковым. На крюк приказного единства страну подвешивают не только органы безопасности. Черкесов недооценил соучастие в спасении советского порядка других не упраздненных организаций и учреждений.

Страна не хочет компромиссов не только из-за нрава Президента или устройства учреждений и самоотверженности их воинов, опять водрузивших ее на крюк. Как и в 1917, она в 1991 не сразу схватила, что с ней проделывают, а потом стало поздно. Неверно думать, что страна и раньше не сопротивлялась, миллионы в ГУЛАГе – не только жертвы, но в большинстве – участники сопротивления. Пусть лишь внутреннего, лишь нежелания выбегать вперед, служа не терпеливым воинам, своей верой в силу абсурдных команд приведших советский режим, как перед тем царский, к неизбежному крушению. Черкесов прав, люди, не смекнув, что с ними делают, опять позволили коллегам всплыть и возобновить старый порядок, хоть и не во всех деталях. Воины, как видим, мало чему научились, но ничего не забыли.

Некоторым утешением в социальной катастрофе, которой стал все нарастающий возврат к советской, по существу, системе, хоть и в иных тонах, может быть то, что над нынешним режимом висит не только дамоклов меч падения цен на нефть, но открытие новых месторождений энергии. Но ему не снести своей бескомпромиссности, и еще неизвестно, кто в этом смысле опасней – коррупционеры Патрушева или «честняги» Черкесова. Пока они вместе стоят на своем, русские люди по отдельности теряет надежды, но у России в целом надежда в том, что, рано или поздно, новое самодержавие упрется в тупик и в третий раз, настанет возможность компромисса. Упустят ли ее тоже?

ФЕНОМЕН КАГАРЛИЦКОГО

Российское отречение 1991 года от советского порядка выразилось отречением Ельцина от государственной «марксистско-ленинской» идеологии. Теперь никто не обязан изучать «научный коммунизм» и его «первоисточники». Ни Маркс, ни Ленин, ни даже Сталин, из библиотек и продажи не изъяты, читать их и чтить можно, и КПРФ чтит, хоть больше Сталина, чем Маркса. Интерес России к нему подрубил 1917 год. Убили Бухарина и Троцкого, а отвратили от Маркса и Ленина, даром что печатали их и в твердых переплетах, и «летучим дождем брошюр». Но жизнь пошла не по их прописям, и всепобеждающее учение стало мертвечиной. А объяснения тому, что государство рабочих и крестьян, созданное по ленинской прописи, рухнуло, кроме измены, у коммунистов нет. Свое банкротство они не могут признать. Это, как вера в бога.

Советская эпоха продемонстрировала печальную судьбу Маркса. Фанатизм Ленина и ловкость Сталина, не говоря о большой работе их товарищей, тоже внесших свою лепту, уродовали Маркса и манипулировали его заблуждениями. Опыт наладки идей для текущих нужд, - сперва власть взять, потом удержать, потом увеличить, - новым поколением почти забыт, как и сама теория Маркса. Но забыли не все. Борис Кагарлицкий, из младшего советского поколения, опубликовал объемистую книгу «Марксизм». Он тоже не входит в причины утраты обществом интереса к былой идеологии, и ее увядание валит на власть, но его личная верность Марксу примечательна.

Краеугольным камнем марксизма долго была вера, что социализм созреет, как плод капитализма. Даже Ленин так думал до 1917 года. А потом и развитие производительных сил, пошедшее иначе, чем полагал Маркс, и советская практика, утопию обнажили. Но Кагарлицкого, как некогда Ленина, ее несообразность с российской реальностью не смутила. В 1982 году, при Горбачеве, его посадили, как диссидента из молодых социалистов, желавших видеть социализм иным, чем современный, а в октябре 1993 при Ельцине, отвергшем советскую идеологию, Кагарлицкий, в отличие от Зюганова, Анпилова и прочих, не реставрируя советский режим, отстаивал марксизм-ленинизм, что было тогда редкостью. Чтобы это оценить, надо отвлечься от советской трактовки истории, сводящей годы от 1917 до 1991 к победоносному социализму, и вспомнить кризисы контр-реформ восьмидесятых годов XIX века, все обострившиеся, вопреки, -- хоть во многом благодаря,-- активному развитию промышленности. Хоть и Бунге, и Вышнеградский, и Витте, и потом Столыпин, делали разумные шаги, самодержавие не поняло экономических проблем перехода от феодализма к капитализму, особенно, в деревне. Кризис национальных отношений в империи, считавшейся единой, тоже усугублялся. Временное правительство, затянув выборы в Учредительное собрание, не спешило разрешать ситуацию. А потом Ленин пытался справиться с давним кризисом, сломав прежнее хозяйство и строя социализм.

Брежнев, не настаивал, что социализм в СССР создан по Марксу, а называл его «реальным». В отдельных отраслях СССР достигал больших успехов, но общий кризис продолжался. Водородная бомба защищала нашу империю на случай войны, , но спасти от мирного

распада не могла. Конец XX века отличался от его начала скорее количественно, чем качественно. В эту ситуацию и попали родившиеся после смерти Сталина, в том числе Кагарлицкий. Не все они жалели, что большевизм тормозил социальные процессы, начатые отменой крепостного права. Но преобладало разочарование в результатах. В диссиденты шли по преимуществу люди далекие от официальных представлений. Но возникало и марксистское диссидентство. Сама официальная идеология внушала, что беда -- не так в установках, как в ошибках при их применении, и чтобы не довести до беды, надо верно выполнять установки. Кагарлицкий стал диссидентом, ожидая, что власть будет верна Марксу и Ленину, хоть, в текущих проблемах она все меньше соотносилась с их утопиями. Но Кагарлицкий стоял на своем. По привычке выбирать лишь окраску самодержавия, красную или белую, многие тогда хвалили имперские традиции, чуть не крепостное право, что толкало других к либеральности. Но власть, переодетая, но оставшаяся авторитарной, вытеснила либеральные и демократические идеи с телеэкранов и радио, и газет и журналов. Не одна партийная номенклатура, принявшая православие и самодержавие, а часто и люди ей чуждые, противясь дореволюционным порядкам, не морщась, искали опору в марксизме, словно забыли, как под его знаменем цвело красное самодержавие, а двуглавый орел вполне уживался с советским гимном.

Не то что Кагарлицкий ощущал себя новым Лениным, но он не ощутил, что после советского опыта обращение к ленинским рецептам, превращает трагедию в фарс. Провал буржуазной революции и несвершение национального самоопределения ввергли Россию в непрерывный кризис и бедствия, ныне временно заслоненные золотым нефтяным дождем. Молодой марксист искал выход в учении, которому, искренне верил, считая, что оно «всесильно потому, что верно». Видимо, в школе не говорили, что теорема Пифагора и законы Ньютона, хоть и верны, но не всесильны. Не стал он и приглядываться к опыту, упустив, что ни Ленин, ни Сталин, российский кризис преодолеть не смогли. Ленин, однако, считал, что Маркса для России надо перелицевать, и Кагарлицкий делал эту работу. Но видя, что так не выходит, не только невольно пародировал Маркса, но и в идеях Ленина, таившихся под марксистской фразеологией, не углядел их самобытного содержания, как раз и определившего природу советской власти.

Но погодим смеяться над Кагарлицким, приписавшим марксизму всеисиле. Нынешний «марксизм» не просто отрывок старого. Когда пройдет нефтяная благодать, и споры, как России жить дальше, оживятся, сторонники Кагарлицкому найдутся уже потому, что марксизм не отвергнут, а отброшен, себя не осознав, и осталась ностальгия. А стоит, хоть с опозданием, взглянуть на объективную картину.

Маркс

Маркс - один из самых заметных мыслителей второй половины XIX века. Разве что Ницше и, потом Фрейд сопоставимы с ним по влиянию.

Некоторые его мысли поныне живы. Он глубже других понял значимость производительных сил, как основы развития человечества. Он видел, что оно меняет производственные отношения, и социальные,

и политические и другие, и показал, что «общественное бытие определяет общественное сознание». При всех необходимых уточнениях, начиная с обратного воздействия идейного, социального и даже политического развития на производственные отношения и само производство, марксово материалистическое понимание истории плодотворно влияло на последующее сознание. Принципиально важно и, вызывающе вброшенное известным, как бы утопическим, призывом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», глобальное осознание мира. Маркс прояснил связь производства с обнаруженной еще французскими историками классовой борьбой. Ему принадлежат и другие социальные прозрения. Но важное место его трудов, как предмета изучения в университетах, и признание его классиком социальных наук кажутся Кагарлицкому недостаточно почтенными. Он требует чтить Маркса не как выдающегося мыслителя, а как безошибочного пророка, почти бога. А приложение идей Маркса к практике неоднозначно. Социальная жизнь, как всякая, при исследовании не замирает, а продолжается, и повороты реальности меняют понимание вещей, часто обращают вчерашнюю всеобщую истину в частный случай. Внедрение идей Маркса в текущую борьбу за социальную справедливость, их влияние на рабочее движение, на профсоюзы, помогло улучшить жизнь людей при капитализме, но исходившие из соседних идей надежды заменить капитализм более продуктивным и более справедливым социальным строем не сбылись. Победа коммунизма в СССР сорвалась не только оттого, что она, по Марксу, возможна лишь на высшем уровне капитализма и сразу в глобальной системе, а «отдельно взятая» Россия к капитализму еще лишь подступала. Неудача вызвана не только волюнтаризмом и аморальностью Ленина, Троцкого, Сталина, Хрущева, Брежнева и их партии, но уже тем, что сам проект Маркса – утопия. Кагарлицкий не в силах это признать. Настаивая, что пролетариат может наладить иной, но не менее эффективный способ производства, чем капитализм, и сочтя логичным, что «Маркс нигде не объясняет, каким способом пролетариат наладит производство после того, как закопает буржуазию», он, словно прошлого не было, обещает,, что «революция освободит миллионы людей, даст им возможность реализовать свою потенциальную творческую энергию»(38)¹. Главное - сломать, не гадая, что будет потом! Но Маркс мечтал о грядущих временах, а Кагарлицкий рассуждает о свершившейся русской революции. В отличие от Маркса, он знает, к чему привела миллионы освобожденная творческая энергия, и как пошло производство. После трагической истории тоталитарного советского государства он твердит, что пролетариат, как «самый многочисленный общественный класс иным (кроме демократического, - П.К.) способом просто не сможет организовать» (40). То есть, выгораживает не так даже мечту Маркса, как отнюдь не демократические действия партии Ленина с января 1918 года до нынешних дней.

Чтобы не валить на Маркса ответственность за ужасы русской революции, стоит помнить, что и прежде новые общественные порядки складывались не просто по замыслам великих умов, Кальвина или Вольтера, тоже звавших людей верить в свою творческую энергию. Куда

¹ Цифры в скобках обозначают страницы книги Б.Ю.Кагарлицкого «Марксизм»,М.2006.

важней, что в кризисную пору в недрах слабевавшего строя возникали ростки иных хозяйственных структур, и, опробованные и осмысленные, они-то, и становились маяками социальных преобразований. Потому Франция и читала вольтеровы «Письма из Англии».

Да и Петр I, феодальный конкурент буржуазных преобразователей, не зря поехал учиться в Англию и Голландию, а не в более приличествующие царской особе Париж или Вену. При Петре Россия обрела доступ к новым производительным силам, но, вопреки Марксу не изменила производственных отношений, а лишь усугубила и ожесточила крепостной гнет. Тем острее крестьянство нуждалось потом в земле и воле, то есть в буржуазных преобразованиях, которых не хотели ни цари, ни звавшие вернуть землю и волю народники. Если волю, хоть и куцую, царь 19 февраля 1861 дал, то землю в Октябре дала революция, которая, победив, вскоре отобрала не только землю, но и волю, данную царем, обрекая крестьян на гибель. Если не счесть коллективизацию, вернувшую крепостничество, ключом к коммунизму.

Кагарлицкий принимает эти силовые акции партии Ленина-Сталина по «строительству социализма» за его ростки, и зовет порядок, с ними заведенный, социализмом, не проясняя, в чем этот социализм состоял и чем отличен от прежнего строя. А отличие было в том, что неограниченная власть, которую, разогнав Учредительное собрание, взяли себе коммунисты-большевики, стала еще беспредельней царской.

Капитализм

«Долой капитализм!» – требует Маркс и вторит Кагарлицкий. Но, что такое капитализм, оба не вполне проясняют. Маркс наблюдал капитализм, как способ экономических отношений, в которых рабочий по договорной цене продает предпринимателю свой труд. Маркс отвергал капитализм. Он считал, что там не полностью оплачивают труд рабочего, а удерживает прибавочную стоимость. Он хотел этот строй упразднить, а вместе с ним государство и принуждение к труду. Люди, считал он, должны трудиться добровольно, а их труд оплачен целиком. В этой связи говорят: «Не обманешь, не продашь!» Но суть не в обмане, а в обмене. Без обмена нет капитализма. Наемный труд, его первое отличительное свойство, это тоже обмен, -- обмен рабочей силы на оплату труда, пусть даже натуральную. А деньги -- инструмент обмена. Меж эксплуататорами и эксплуатируемыми, как социальными противоположностями, идет классовая борьба. Если крепостной при работе на барщине или по оброку не заинтересован в наличии барина, и его устранение облегчает жизнь, то рабочий в капиталисте заинтересован, как в работодателе, отказаться от которого он рад лишь сыскав лучшего. Маркс предполагал, что устранение капиталиста сделает рабочий коллектив собственным работодателем. Ему казалось, что, можно думать лишь о борьбе, без всякого единства. Он верил, что устранение капиталиста устранил и государство, и другие силы, кроме рабочих. Но марксистские революции их не только не устраняли, но крепили государство, делая его работодателем, да еще монопольным. Капитализм живет продажей товаров ради прибыли. Его столпы, -- наемный труд, товарное производство и обмен. Главный -- наемный

труд, обмен особого товара, -- рабочей силы.

Маркс все это отлично знал, но суть капитализма видел в том, что ценность, полученную наемным рабочим в виде заработной платы, тот создавал лишь за часть рабочего времени, а остальное тратил на создание прибавочной ценности (именуемой у нас «прибавочной стоимостью»), как прибыль присваиваемую капиталистом. По Марксу, неоплаченная часть труда рабочего и дает капиталисту прибыль. Сперва этот источник прибыли был для капиталиста главным, если не единственным. Установив прибавочную ценность, Маркс сделал великое открытие, ставшее одной из теоретических опор ширившегося рабочего движения. Капитализм, однако, развивался.

Маркс относил к рабочему классу лишь людей физического труда, ручного или при машине, уже вошедшей в обиход, но воззрений Маркса не изменившей. В середине XIX века, когда складывалась его теория, роль машины в создании ценности еще была невелика. Маркс называл капитал, шедший на машины, постоянным, а на заработную плату – переменным, справедливо считая, что каждодневный труд по умножению ценности надо регулярно оплачивать, а вложенное в машину, используемую еще отцами нынешних рабочих, к которой потом еще встанут их дети, расходуется десятилетиями, и в ценности произведенного товара сводится к ничтожной доле. Неведомо кто, изобрел колесо, веками умножавшее людские богатства, а мы пользуемся им даром, думать не думая оплачивать великое изобретение, да и некому платить. В философии, в религии, в морали, в политике, в науке, мысли не оплачивают, ими пользуются бесплатно. Так было и на производстве, где мысли хватало на сотни тысяч товаров.

Но в XX веке обстоятельства переменились. Хорошо, если машины и оборудование простоят лет пять. Да едва ли простоят, - конкуренты создали новые, и надо подтягиваться. Машины теперь меняются, если не каждодневно, то регулярно и быстро. В машины и в само производство вкладывается все новый овеществляющийся умственный труд, - практически каждодневно. На этом втором, машинном, этапе развития капитализма, начатом еще изобретением паровой машины, двигателя внутреннего сгорания и электромотора, в совместной работе интеллектуального труда создателей машины и физического труда рабочего, первый приносит все большую долю прибыли. Вложенный в машину труд изобретателя с лихвой возместил физический труд многих, хоть, конечно, не всех рабочих, поднял производительность их труда без дополнительных затрат их рабочей силы, и сократил их число. Явилось понятие, неведомое Марксу, при нем не нужное: «интеллектуальная собственность», которую капиталисту приходится недешево покупать. Вложенный в машину интеллектуальный труд, создает и важную долю прибавочной ценности, присваиваемой капиталистом, но лишь отчасти созданной рабочим.

Мало того, с внедрением компьютера капитализм ныне вступил уже в третий этап своего развития, возможности которого, открытые еще лишь отчасти, наращивают перевес интеллектуального труда над физическим, еще наглядней показывая, что тот не является единственным источником ценности. Это, понятно, не повод, отрицать за

ним эту роль, и не повод отрицать значение классовой борьбы рабочих за полную оплату их труда, там где не доплачивают, и за социальные гарантии. Но надо сознавать, что с изменением доли физического труда в производстве меняется и природа классовой борьбы.

Но Кагарлицкому эти перемены и их отображение в социальной жизни не любопытны. Он затемняет тот непреложный факт, что Маркс относил к рабочему классу исключительно работников физического труда. Он нарочито подчеркивает: «Маркс имел в виду работников наемного труда» (31), а Маркс, действительно, называл рабочими наемных, а не феодально или иначе зависимых, но все же именно лиц физического труда. Кагарлицкий (и не он один, а все правоверные «марксисты») не видит нужды учесть и объяснить происшедшие изменения в составе участников капиталистического производства и рост производительности труда. Он не признает, что с развитием производительных сил выяснилось, что физический труд, - хоть и непреложный, но отнюдь не исключительный, участник создания ценности, не признает, что в нем все важнее умственный труд, придумавший машину, в которой он овеществлен, и все быстрее обновляется. А признание этого вынуждает признать, что не только физический труд бывает недоплаченным и создает прибавочную ценность. И хоть эту прибавочную ценность, в отличие от созданной физическим трудом, не измерить неоплаченным временем, ее наличие невозможно отрицать, и пора признать, что ныне капиталист может за ее счет в большей мере, а то и полностью, и даже с лихвой, оплачивать рабочее время физического труда.

Резкое повышение уровня жизни рабочих развитых стран во второй половине XX века не объяснить иначе, как тем, что капиталист резко сократил, а то и вовсе прекратил удерживать у них прибавочную стоимость, полученную от взятого производством интеллектуального труда. В ходе классовой борьбы рабочие порой уже не довольствуются отказом от удержания у них прибавочной стоимости и полной оплатой, но хотят прибавки от прибавочной стоимости интеллектуального труда.

Кагарлицкий игнорирует эти изменения, не хочет прояснения ценностных отношений меж участниками производства, и убежден, что после Маркса ничего не изменилось. Он и природу, - ни полезные ископаемые, ни особые климатические условия для определенных производств, - не признает источником ценности. А Маркс упустил другие источники прибавочной ценности не по глупости и не по слепоте, а потому, что тогда они казались неограниченными, не то что теперь. Ныне Арабские Эмираты по валовому внутреннему продукту на душу населения обошли и Германию, и Францию и Японию. А прежде считалось, - так думал и Маркс - что стоимость полезных ископаемых сводится к затратам на их добычу, на труд рабочих. Теперь, понятно, что нефть, этот дивный дар природы, - ценность уже потому, что количество ее не безгранично. И нефтяников в Эмиратах оплачивают с лихвой, прибавочную стоимость не экспроприируют.

XX век произвел множество подобных перемен, не обративших капитализм в земной рай, а частное присвоение владельцем производства создаваемых ценностей в эталон справедливости. Но эти

перемены показали, что ресурсы продуктивности капитализма, как экономического строя, и его способность повышать благосостояние трудящихся отнюдь не исчерпаны, а никакой другой строй не способен с ним состязаться в чем-нибудь, кроме всеобщего уничтожения. Надежды на то, что свои ребята, если не ограничивать их власть, все сделают как лучше, себя явно не оправдали. Лучше выходит только для схвативших власть, сообщество которых, сперва даже включавшее культурных, одаренных и, не исключено, что искренних, людей, неизбежно перерастает в хунту, в банду, в монопольную партию, использующую государственную власть отнюдь не на благо людей. Маркс помогает понять, почему так происходит, но не теорией неизбежности победы коммунизма и установления диктатуры хунты с его портретами, а своим материалистическим пониманием истории, если его обернуть на построения самого Маркса и дела его последователей.

Свобода

Рассуждая о свободе, Кагарлицкий не любопытствует, зачем она, почему стала первым лозунгом Французской буржуазной революции, и от этой «Либерте» пошел пугающий его либерализм. Новому марксисту плевать, что без свободы от внеэкономических зависимостей не найти работу, наемный труд невозможен. Но если не нанимать рабочих, не будет и прибавочной ценности, то есть, без свободы, нет капитализма. А при коммунизме он не видит в свободе нужды.

Свобода, хоть и общее, чуть не абстрактное, понятие, есть лишь там, где доступна каждому. Как персональная или групповая привилегия, она неполноценна. Это не значит, что она безгранична. «Палле не один на свете», и уже нужда считаться с другими, которые не хуже нас, ограничивает каждого. Запреты десяти библейских заповедей: не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй потому и не потеряли смысла. Нелепо приводить их в доказательство, что свободы нет и быть не может, норовя ее упразднить без тоталитарного режима и тюремных стен. Но она есть лишь там, где она для всех, где свободен каждый, - не только дворянин, но и крестьянин, не только номенклатурщик, но и беспартийный, не только русский, но и чеченец.

Примечательно, что русские переводчики Маркса немецкое слово «каждый» обычно переводят русским «все», что грамматически как бы верно, но упускает отдельность каждого человека, и то, что общество, его классы и элиты, состоят, хоть из многих, но отдельных людей. В советском переводе все одинаковы и едины. Но и единство, а на деле преобладание в классе, нации или другой социальной группе тех или иных взглядов и настроений, - плод раздумий многих отдельных людей, хоть и кажется лишь плодом доверия к телевизору ныне или к церковной проповеди прежде. И социальный уклад определяется деятельностью или бездеятельностью многих отдельных людей, а не просто спущенными указаниями, при всем их влиянии.

Свобода оставляет каждому в этих множествах возможность иначе думать и иначе действовать, индивидуально совершая свою малую долю и свою тенденцию социального соучастия. Кагарлицкий убежденный, что при капитализме свободны лишь крупные

собственники, забыл, что рабочий продает свою рабочую силу только потому, что теперь он, а уже не помещик, даже отпустивший его на оброк, - ее собственник, и отличен от более крупных лишь размером собственности, но тоже свободен ею распоряжаться. Либерализм, в отличие от радикализма, лишь этого и хочет, не льстясь возможностью разом дарить общую благодать царским указом по вертикали.

Либеральность не зря синонимична терпимости, она надеется не на безошибочное знание власти, как людям жить, а на частные инициативы людей по созданию годной для них жизни, почему и ратует за порядок, при котором инициатива возможна, а не наказуема. Радикалы упрекают либералов в половинчатости, в малости преобразующих действий, порой даже в узости обретенной свободы. А худо не то, что она порой узка, а что не всегда прочны ее процедуры. Радикализм часто лишь меняет одну форму несвободы на другую, нередко более свирепую, ради призрачного воплощения воли угнетенных классов или наций, а либерализм терпит не лучший порядок, пока тот охраняет неприкосновенность личности, независимый суд и другие опоры свободы, блюдет минимум, которым радикал жертвует ради «конечной цели». Кагарлицкий сводит либерализм к формуле «максимум свободы при минимуме демократии» (224), противопоставляя ему, как радикальных, «максимальных» демократов, не только английских левеллеров или французских якобинцев, но и русских большевиков. Он не первый противопоставляет либерализм демократии, трактуя ее как переход власти к угнетенным, так сказать, к большинству. Но таким переходом ему видится не расширение массового представительства, а тоталитарная диктатура. Идентичность тоталитаризма и демократии он силится доказать мнениями консервативных философов, и рассуждениями о жесткости демократии, казнившей Сократа (131).

Но афинская демократия была элитарна, - она была лишь для местных уроженцев мужского пола. Среди выносивших приговор Сократу не было женщин, иногородних и, понятно, рабов, хоть они и составляли в Афинах большинство. Спарта, не знавшая и такой демократии, была еще суровой, но и Афины далеки от нынешнего понимания демократии, восходящего к британскому парламенту XIII века, где были и бароны, и рыцари, и горожане. Британская демократия от афинской отличается тем, что опирается на признание феодальной элитой нужды считаться с другими, даже и нижестоящими слоями общества, с рыцарями и горожанами. Создавая парламент, она шла с ними на компромисс.

Современная демократия признает права всех слоев общества на голоса в решении общих и своих проблем. Это не закрепляет отношения на вечные времена. Перемены в хозяйстве, появление капитализма, классовой борьбы, ощутимо меняли состав парламента. Но и потом в нем звучали голоса, не имевшие большинства в стране, и для либерализма и для демократии это непреложно. А при тоталитаризме и авторитаризме меньшинства не слышать. «Руководящая сила» добивается там не компромиссов, а покорности, лишь свои внутривластные отношения, да и то лишь по началу, строя иначе. Сперва советская элита проводила партийные съезды относительно демократично, но правление страной от этого

демократическим не становилось, не считалось с мнением большинства населения, его направлял вождь партии при помощи ЧК-ГПУ, а в итоге и внутрипартийная демократия съездов быстро сошла на нет.

Кагарлицкий на это отвечает: «Масса всегда права. Это закон демократии... даже если большинство неправо, как часто бывает, надо уважать решение большинства» (233). Считаться с мнением большинства, понятно, приходится, но за что уважать неверное, как он сам задним числом признает, мнение толпы? Впрочем, ни в ходе избрания Учредительного собрания, ни после его разгона, большевики никогда не выражали волю большинства, за вычетом отпора агрессии национал-социалистической Германии, в котором интерес партии совпал с общим интересом граждан, поскольку Гитлер большевиков бы не щадил. Да и насколько реально было в СССР большинство в 99.99%, голосующее «за»?

Кагарлицкий утверждает: «Либерализм готов признать равенство в правах, но не в доступе к власти». Но именно равенство в праве избирать и быть избранным открывает доступ к власти. Маркс считал, что либеральные системы Англии, США и, возможно, Голландии позволяют там на очередных выборах, без насилия, без революции, перейти от капитализма к коммунизму. Этого новый марксист не помнит, а тоталитаризм хвалит за то, что «Он поднимает людей снизу вверх». А что, поднявшись снизу, тоталитаризм манипулирует массами, оправдывает тем, что «и при демократии манипулируют!»

Но либерализм, отстаивающий свободу, и демократия, состоящая в компромиссах, - в идеале всеобщем, - ширящих свободу социальных слоев, не так противостоят, как совпадают и подпирают друг друга. Общество живет вкладами всех общественных классов, - уже не нужные ему, как античные рабы, исчезают, но ни у одного, даже вкладывающего больше, нет оснований для классового руководства и господства. Их нет у капиталистов, и рабочее движение не зря с ними спорит, но их нет и у рабочего класса, -- он не случайно сокращается. Его нет и у не вполне признанной классом, научно-технической интеллигенции, ставшей в XX веке классом. Всем классам, включая крестьянство, нужна свобода своего труда и свои права. Кагарлицкого эта свобода общества, как общества, не заботит и ему не уйти от тоталитаризма.

Это не личное заблуждение. Заведомая ограниченность индивидуальной, да и общественной, свободы наличием других людей и обществ, вынудила ее конкретизироваться, как право, как сложившаяся в общественной борьбе свобода, -- условие производства, развития и жизни, необходимое любому общественному строю, и особенно капитализму,. В советском обществе практика понимала право, как законность, установленную государством. Но государство, аппарат насилия, подпирающего правящие силы, сплошь и рядом противоречит праву, издает не правовые законы и распоряжения, ограничивает свободу людей и общества. Государство – заведомый враг свободы, потому общество и требует его демократизации, а построение коммунизма по Марксу – и вовсе его отмирания. Кагарлицкий не хочет признать, что «в государстве Маркс не видит ничего, кроме насилия». Вспоминает, что по Марксу государство при коммунизме отомрет (35). А Маркс надеялся на это потому, что при коммунизме ожидал

исчезновения общественных классов, в том числе и правящих, а с ними и нужды в насилии.

Равенство

Маркс не преувеличивал зловещую роль насилия, она и при капитализме велика. Но признавать государство, даже отчасти, блюстителем молчаливого общественного договора, ему не хотелось. А Кагарлицкий, вспомнив суждение Гоббса о добровольном отказе народа от своих договорных прав в пользу государства, принял авторитарную концепцию, как должное, твердя, как нынче модно, что и просветители авторитаристы и тоталитаристы. А не влезающего в эти формулы Руссо объявил утопистом, хотя Руссо вдохновил не только Робеспьера и Бонапарта, -- его портрет был единственным над столом Канта.

Признав, что эксплуатация носит при капитализме потаенный характер, и хваля Маркса за выявление этого, Кагарлицкий настаивает, что там правит откровенный неограниченный произвол. Меж тем, буржуазное государство то и дело утыкается в ограничения «параграфов» неписанного общественного договора. Конечно, порой ими пренебрегает. Но со времен Маркса положение изменилось. Развились производительные силы, умножилась роль умственного труда и значительной части работников физического приходится повышать квалификацию. И приходится полней осознать человека, как важную ценность. Буржуазия не только ради социального мира шла на социальные гарантии, начиная с пособий по безработице и пенсий по нетрудоспособности и старости. Не по доброте душевной буржуазное государство стало оплачивать образование и здравоохранение. Это плод не только борьбы трудящихся, но и самосознания правящего класса. Не все ладно, денег не хватает, но люди живут уже не только продажей своей рабочей силы. Люди, хоть вроде не равны, одни богаты, другие бедны, одни старательны, другие ленивы, одни талантливы, другие – не слишком, но все они члены общества, и в правах равны.

Представление о правовом равенстве (в призывах Французской революции равенство стояло вторым после свободы) и независимой судебной системе утверждается все полней. А Кагарлицкий находит, что правовая система авторитарна, поскольку «Закон один для всех. Справедливо, но авторитарно. Выполнение закона не допускает плюрализма» (229). На деле все наоборот. В авторитарном мире нет единого закона для всех. А равноправие перед единым законом, как раз и означает демократию. Она предполагает, что не чиновник спецслужб или милиции, именуемых в России правоохранительными органами, действуя авторитарно, вершит закон, а единственный подлинно правоохранительный орган – суд, независимый от других властей. Он отдельно по каждому делу выясняет соответствие обвинения и законных претензий предписанию прокурора и мнению назначенного судьи. Суд не предустанавливает вину, ее определяет коллегия присяжных, справедливость приговора которой опирается на исходный плюрализм подхода и оценок ее участников. А у Кагарлицкого суд - административный орган, как в СССР и ныне в России.

Демократическое и тоталитарное (авторитарное) государства

различаются, прежде всего, тягой первого и небрежением второго к правовой системе. Если государство и его обращение со своей Конституцией и прочими законами носит не правовой характер, записанные в Конституции права остаются формальными. Представительная власть (парламент), исполнительная власть (президент и правительство с силовыми и административными органами) и судебная власть, сохраняя свою отдельность, составляют государство втроем. По их взаимоотношениям различают демократию и тоталитаризм. Демократия предполагает их взаимный контроль, а тоталитаризм (авторитаризм) – их единство, при котором парламент и суд подчиняются исполнительной власти, что и делает ее диктаторской.

Маркс считал современное ему государство, в котором избирательное право часто ограничивалось социальными, гендерными, имущественными и другими цензами, диктатурой буржуазии. Кажется, раза два он предположил, что государство, где избирательное право будет всеобщим, а пролетариат составив большинство населения и будет един, станет диктатурой пролетариата. Но такого, чтобы пролетариат составил большинство, и был един, еще не случилось. Диктатуру пролетариата провозглашали там, где он большинства не составлял, да и всеобщего избирательного права не было, а власть именем пролетариата захватывали партии меньшинства, наводившие свою диктатуру. Кагарлицкий не только игнорирует этот общеизвестный ход событий, но прямо объявляет возникавший в его итоге тоталитаризм видом демократии, поскольку и при нем, как при демократии, социальные перевороты выносили в правящий слой людей «снизу» (234), словно так не бывало и при азиатском, и при рабовладельческом, и при феодальном способе производства, где далеко не большинство видных фигур восходило к родовой знати. А разделение властей и правовые отношения меж ними его не занимают.

Братство

Маркс провидел глобализацию. В буржуазной колонизации отсталых стран он видел путь к прогрессу, хоть и жестокий, и тяжело оплачиваемый. Если он и оговаривал, что путь всех народов не кажется ему единым, то и никакого другого, кроме как через капитализм к коммунизму, не ждал.

Кагарлицкий ждет прогресса слаборазвитых и развивающихся стран после падения передовых западных держав, «центра», тормозящего периферию финансовыми рычагами и захватами ее капиталов, то есть, после все того же свержения капитализма, но без марксовой надежды на его плоды.

А современная глобализация – это не единый порядок для всех, но связь и взаимозависимость разных порядков. Всюду они изменяются преимущественно по внутренней необходимости. До разгрома Великой Армады Испания соперничала с Британией, но и после него удерживала феодальную империю в Южной Америке двести с лишним лет. Аргентина и Уругвай, избавясь от ее феодального гнета, развивались иначе, чем Соединенные Штаты, ушедшие из буржуазной Британской империи. А для Кагарлицкого внутренние стимулы ничто перед внешними силами, и даже в российском крепостном праве и прочих

ужасах нашей феодальной реакции он винит западный капитализм. Но российские феодалы сами создали свой феодальный порядок с крепостным правом, за счет которого дешево продавали Западу зерно. А Кагарлицкий возлагает вину за то, что хлеб выращивали крепостные, на покупателей, внушая веру в некий «центр», всем в мире вертящий. Он игнорирует особенности социальной жизни в каждой стране, роль в ней ее участников и их ответственность за себя.

А «общее» не упраздняет «отдельное», и глобализация не отменяет независимость (как все на свете относительную) отдельных стран. Отсюда и национальные проблемы, числимые Кагарлицким мифологическими и отброшенные в конец книги. Их никчемность доказывается тем, что границы стран определяют не биологические факторы, играющие в различиях наций небольшую роль. Цвет кожи или ее складка у глаз не определяют таланты или поведение, и, конечно, расовая мифология не выдерживает критики. Но этнические и национальные различия, – явления не биологические, -- служат знаками социально-культурных. Они не выдуманы.

Задолго до капитализма на людях сказывался их образ жизни, но не только тем, что одни натирали мозоли на руках, а другие при езде верхом искривляли ноги. В разных группах и племенах формировались разные нравы и разные понятия о жизни. Не было плохих и хороших племен, но были успешные и неуспешные, и зависело это не только от них, но часто от случайных обстоятельств. Племена объединялись, одни покоряли других, групповые нормы обновлялись и усложнялись. Сливающиеся племена часто восходили к разным корням, но в объединение люди нередко входили даже не племенами, а мелкими группами, семьями и поодиночке. Задолго до капитализма складывались разные народности, и то, что при капитализме это осознали ясней, и возникло понятие «нации», вызвано не романтизмом, как думает Кагарлицкий, а потребностями буржуазного общества, которые романтизм лишь выразил.

Это общество нуждалось в благоприятных условиях покупки и продажи рабочей силы и своих товаров, то есть, в охватывающем территорию своей страны, своем, как говорили, национальном, рынке, связующем народ и землю. Рынок формировался вместе с нацией, а нация с рынком. Французская революция их создавала призывом к братству. Чтобы на единой территории сложился единый народ, поныне тратят немало сил, - и не только при буржуазных порядках. Но без реальной почвы реальное единение все равно не возникает. В СССР, навязывая русский язык и советские обряды, пытались создать единый советский народ, а страну соединяла не горизонтальная общность всех ее краев, а единообразие приказов сверху.

Теперь страна распалась, и новые поколения часто уже не понимают по-русски. Да если бы и понимали, и он даже стал их родным языком, национальное сознание, веками складывавшееся, поддерживается не плохим знанием русского языка, а иным, чем у русских, положением народа и его культуры. Ирландия английский язык сохранила, а по валовому продукту на душу населения даже обошла бывшую метрополию, хоть у той весьма высокие показатели. Но проблемы Ольстера, - откуда Британия нынче рада бы уйти, да не очень

налаживается мирное сосуществование католической и протестантской общин, - ирландцы все еще воспринимают как национальные. А они не биологические, да и различие религий скорее память о давнем завоевании. Но империя с опозданием предоставила Ирландии право на самоопределение, и вот даже за удержание провинций, где католики в меньшинстве, платит войной, ныне затихшей, но неизвестно надолго ли.

Кагарлицкий, хоть и признает угнетенное положение многих наций, ценит слова Энгельса о «неисторических нациях», и уверяет, что создание небольших национальных государств мешает экономическому развитию, хотя в Европейском Союзе эти преграды снимаются в согласии с волей населения. А в Советской империи их сокрушало насилие Москвы, и «неисторические нации» отвечали русофобией. Возражая против нее в Прибалтике Кагарлицкий объявляет, что массовые репрессии там проводились по социальному, а не этническому признаку, да и среди репрессируемых были не так латыши, литовцы и эстонцы, но, большей частью, поляки и евреи, составлявшие там буржуазию, и масштаб репрессий не превосходил проводившиеся в самой России (397). Но, не потеряй Прибалтика независимости, репрессий бы там не было. Что бы ни вызвало массовые репрессии в России, у Прибалтики не было резона повторять их у себя, ничего подобного российскому 1917, там в 1940 не происходило, а после 1917 они шли иным, чем Россия, путем.

Но Кагарлицкий, как некогда большевики, переступает отдельные «мелкие» группы и народы ради «общего» коммунистического идеала, ни одну из этих групп и народов не привлекающего. Ничего хорошего в антирусских настроениях Прибалтики, других советских республик и бывших социалистических стран, конечно, нет. Они дурны тем, что могут против любого русского обернуть преступления правящего класса Советской России и его холуев, поныне отрицающих свою вину теми же доводами, что Кагарлицкий. Но за несправедливой русофобией различим справедливый социальный протест, изуродованный тем, что целые народы теряли право на социальную самостоятельность, не имели возможности решать иначе, чем завоеватель, даже идентичные проблемы, и социальное обрело облик национального, как в борьбе Нидерландов против Испании. Кагарлицкий как бы не замечает, что марксистский интернационализм обернулся в СССР имперским великодержавным шовинизмом, а все оттого, что он глядит лишь на марксистский идеал, а не на реальное общество конкретных людей. Претензии Советской власти «по праву руководства» решать за других, за жителей Российской империи, за народы захваченных стран, за развивающиеся страны, а в перспективе и за весь остальной мир, привели СССР не только к несообразным с экономической продуктивностью расходам на вооружение и хозяйственному провалу, но и к массовой, хоть и тайной, русофобии и обострению национальных проблем, не менее значимых для его политического краха. Без массового кровопролития обошлось лишь потому, что у разбитого корыта правящая верхушка, скрепя сердце, согласилась с правом на самоопределение хотя бы союзных республик, но, опасаясь инерции, вскоре начала кровопролитие в Чечне, поведшее Россию от национального самоопределения народов, не только чеченского, но и

русского, вспять, к возрождению империи. В 1991, как и в 1917, она была на грани гибели, а правящему слою все не усвоить, что век империй прошел, и за жажду их удержать придется платить кровью. Французы и голландцы не зря голосовали против превращения Евросоюза в единое государство. Да и глобализация плодотворна, пока добровольна, и в каждом из мирно сожительствающих регионов с разными хозяйственными укладами люди на деле могут независимо выбирать социальное будущее.

Рабочее движение или революция

Рабочее движение, нашедшее в трудах Маркса теоретическую опору, зримо изменило общество. Без присущего капитализму мощного развития производительных сил перемены были бы немислимы. Но развитию было важно, что предприниматели и рабочие разом и сохраняли единство в процессе производства, и открыто противостояли в классовой борьбе за свои интересы. Чтобы выстоять в ней, капитализм усердней развивался и стал внимательней к другим источникам и видам ценности, не только к прибавочной от физического труда. Важнейшим на этом пути был еще переход к машинному производству. Сперва он лишь отчасти менял отношения предпринимателя с рабочими. Только с середины XX века обнаружилось, что, с одной стороны, утверждение социальных гарантий, как нормы общества, а с другой интенсивное научно-техническое развитие, могут избавить капитализм от общего кризиса, грозившего ему с начала века. Между тем, производство, опирающееся на принудительный труд, тоже не исчезало, а кое-где даже ширилось. Это дополнительно осветило рабочее движение.

Кагарлицкий по-ленински обличает Эдуарда Бернштейна, полнее и дальновиднее других осознавшего роль марксизма в понимании рабочими своих насущных интересов, что позволило их профессиональным союзам находить с предпринимателями выгодные компромиссы и добиваться более справедливой оплаты труда, не откладывая благополучие до торжества утопии, в которой, как потом выяснилось, справедливости куда меньше. Маркс и Энгельс могли сердиться на Бернштейна, выдвигавшего экономическую борьбу рабочих на первый план. Но сегодня трудно отрицать, что именно она принесла главные успехи практическому марксизму.

Кагарлицкий признает, что Бернштейн теоретически не отрицал возможностей революции, тем более не отрицали их ортодоксы, Каутский или Плеханов. Но он и их винит в проповеди пустой надежды, что коммунистические плоды сами свалются с дерева капитализма. Между тем, все они усердно призывали это дерево трясти, но сознавали, что пока яблоня даже не зацвела, хоть ветви руби, хоть даже спили ее целиком, яблоки не появятся. Между тем, росло число веровавших, что революция, как некое чудо, заставит обрубки плодоносить и даже еще обильнее живого дерева.

«Вся суть революции в этом новаторстве» (38), - пишет Кагарлицкий. То есть в способности совершить нечто желанное, а наперед неведомое. Но революция все же совершается в конкретных условиях, и то неведомое, что она в себе, конечно, таит, возникает из

наличных данных, из сложившихся отношений, и теория Маркса сильна как раз демонстрацией противоречия общественного производства и частного присвоения. Наперед было не угадать, как конкретно изменятся формы присвоения, но Маркс, пусть даже неверно прогнозируя перемены, анализировал имеющиеся реальности, а не уповал на божественное чудо революции.

Расхождение энтузиастов рабочего движения, вроде Бернштейна, и энтузиастов революции, которыми были и Каутский с Бебелем, и Плеханов, и эмоционально, конечно, сам Маркс, вызвано не «ревизионизмом», да Бернштейн, которому пришили такое обвинение, ничего, - особенно в сравнении с позднейшими марксистами, - и не ревизовал, он лишь работал в одном направлении, не надеясь на другое. А расхождение, все более роковое для марксизма, выявилось в разном понимании сущности революции.

Социальная революция – важнейшее и, увы, не слишком редкое явление. В ней выплескивается конфликт традиционализма и развития, не укладывающийся в частные и постепенные переходы от плохого к лучшему, и толкающий к катастрофе общество, где традиционалисты «тащат и не пуцают», а жизнь и новые производительные силы требуют новых возможностей. Беда не в том, что катастрофу не предвидят. Людовик XVI потому и приглашал Тюрго, что ее опасался. Но двор и дворянство не хотели самоограничений и жертв, при реформе неизбежных, Тюрго уволили, и тринадцать лет спустя разразилась катастрофа, сгубившая и Людовика, и его жену, и их детей, и цвет дворянства, и множество простых людей, и наполеоновских солдат, несших в чужие страны уже не только свободу, добытую Францией для себя. Но как бы мало нам это ни нравилось, трудно оспорить, что Франция потом работала эффективней. Революция - это катастрофа, хотя бы отчасти расчищающая путь дальнейшему развитию, это кризис, за которым нет хода к прежнему, как его ни реставрируй.

У многих последователей Маркса сложилось иное понятие о революции. Они не надеялись на стихийность и овладевали ею, как искусством, полагаясь на социальное знание, которым, якобы, обладали, и на власть, которую жаждали захватить, чтобы перестроить страну и мир согласно своему знанию. Уже тогда другие последователи Маркса, и люди далекие от него, указывали на волюнтаристский характер таких представлений, на то, что у Маркса больше детерминизма, что для социалистической революции одного желания мало, ей надо вызреть. Но в XX веке волюнтаризм преобразил марксизм.

Немалую роль в расхождениях социалистической революции с рабочим движением сыграло то, что, хоть классовая борьба рабочих обрела в теории Маркса опору, сама по себе она отнюдь не ориентировалась на социализм и коммунизм. Каутский говорил о внедрении в рабочее движение сознания, то есть коммунистических идеалов. А Ленин прямо писал: «Стихийное развитие рабочего движения идет именно к подчинению его буржуазной идеологии... ибо стихийное рабочее движение есть тред-юнионизм». Это чистая правда. Рабочий класс Европы и Америки потратил двести лет на то, чтобы буржуазия, сперва монополизировав выгоды нового хозяйства, начала считаться с другим его участником, рабочим классом, и благосостояние на Западе

выросло, социальные гарантии укрепились, совсем иным стал современный капитализм, в котором рабочие не столько отдают предпринимателю свою прибавочную ценность, сколько делят с ним полученную из других источников.

Волюнтаристское представление о революции выросло не из реальной социальной борьбы, а из веры в лучший общественный строй и возможность его установить, не дожидаясь материальных предпосылок, предполагавшихся Марксом. Эту свою веру многие считали знанием. Кагарлицкого это не смущает, он убежден, что «просвещенное меньшинство руководит отсталым большинством по праву знания» (218), и, не выяснив, достоверно ли само знание, опять повторяет, что «знание передается от немногих ко многим, сверху вниз, и отнюдь не путем свободной дискуссии». Но, отмечая, что «любая школа авторитарна», он забыл, что революция – не домашнее задание, и ее поднимают не по учебнику, да еще произвольно его перетолковав, а разобравшись, хотя бы внутри своей партии, в спорах, которые до поры вели и большевики. И если вышло иначе, чем сулили, надо объяснить почему. Не потому ли, что знание, а точнее вера, на которую полагались, была неверной, отчего и утверждалась авторитарно. А наука добывает знание в опытах и дискуссиях. Но Кагарлицкий стоит на своем.

Ленин

В начале книги Кагарлицкий справедливо отмечает, что со смертью Маркса (1883) и Энгельса (1895), и активизацией массовых рабочих партий «классический марксизм заканчивается» (42), но всего через семь страниц, в том же разделе «Классический марксизм», помещает главу о Ленине, достойном, конечно, самого пристального внимания, но уж никак не классическом марксисте. Ленин преобразил почти все понятия Маркса, и его понимание революции и коммунизма открыло другую эпоху.

Родившись на полвека позже Маркса, и не в Рейнской долине, а в Симбирске, Ленин, много лет живя потом в Европе, видел более разнообразный мир. Восхваляя Ленина-политика, Кагарлицкий, однако, считает, что он «не был мыслителем такого масштаба, как Маркс» (51). Но масштаб мыслителя виден не только по его сочинениям. Написанное Лениным не так существенно, как его практика. Она выдает и дерзость мысли и редкостно-зоркое восприятие происходящего. Смолodu ненавидя власть, он видел вокруг мир куда менее стройный, чем Маркс, и не только в молодости, но и умирая. Это не личная заслуга, а ход времени, но не все глядели так пристально на заголявшийся мир, на текущее мгновение. И даже если он плохо видел предстоящее и будущее, и проложил путь не тому, чего хотел смолodu, и не осуществил утопию Маркса, так это не удалось никому, и то, что он принес в мир даже теоретически не очень осознано.

По Марксу «передовая страна показывает более отсталой картину ее собственного будущего» (50), но Кагарлицкий спешит добавить, что к концу жизни Маркс свой взгляд пересматривал, и указывает на ответ Вере Засулич с анализом перспектив отсталой России. На деле Маркс и там недвусмысленно пишет, что наверстать отставание Россия сможет

лишь с помощью победивших капитализм передовых стран, отнюдь не давая повода себя заподозрить в пересмотре принципиальной позиции. Но Ленин, коллега Засулич по редакции «Искры», видел, что в России победе революции над капитализмом, к тому же, не взявшим еще верх над феодальным порядком, мешает эта не затихшая схватка, и русским марксистам надо особо разбираться с «крестьянским вопросом» и вдобавок с «национальным», то есть, с борьбой народов Российской империи за самоопределение. Самоопределение Ленин затянул, право на него, формально данное в 1922, сработало лишь в 1991, но «крестьянский вопрос» был решен губительно для крестьянства. Трагична судьба еще одной его догадки. Одним из первых, если не считать Руссо, он понял пагубность монополизма, углядел в нем самоубийственный тупик, куда капитализм себя загонял. Но, строя коммунизм, он обратил все хозяйство страны в единый концерн, которым стало управлять государство, то есть, в циклопическую сверхмонополию, как раз и подкосившую СССР в конце восьмидесятых.

Дело тут не в промахах гениального ума, в котором объективные и волевые начала, смешались настолько, что в предсмертном письме съезду анализ состояния партии завершался советом ввести в ЦК сто «сверх-проверенных» рабочих. Но Ленин не наивностью интересен, она не объяснит корней разлада его замыслов с реальностью. И не он один, а почти все радикалы XX века, тоже оказались не там, куда шли.

Хорошо было Марксу, перебравшись в Англию, писать «Капитал» и строить схемы будущего. К той поре немногие клочки земли выбрались из внеэкономического мира. А прочие в нем остались, и не были готовы второсортной когортой шагать в единый буржуазный и даже пост-буржуазный мир. На это не много имели резонов даже правившие там классы. Они вступали с передовыми странами в экономические отношения, но не спешили сами их завести. Перевес «передовых» в военной технике и колонизация доброй половины мира до поры поддерживали веру в неминуемость прогресса. Однако во многих странах внеэкономические порядки удержались не только в силу неравномерности развития. Российская империя отказалась от крепостного права лишь проиграв Крымскую войну. Но, преодолев трехвековую феодальную реакцию и став развивать хозяйство, все еще феодальное государство, подружилось с крымскими противниками, уже не противодействовавшими русскому феодализму, поскольку их больше пугала растущая агрессивность немецкого, угрожавшего отнять колонии Запада и колонизировать Восток. Вот Российская империя и устояла, и удержала колонии, даже Польшу, и забыла об актуальности аграрной реформы.

После Первой мировой Российская империя могла бы уподобиться Австро-Венгерской или Османской. На ее развалинах тоже могли возникнуть страны, в которых, начиная с крупнейшей, России, теоретически тоже мог победить капитализм. Так, однако, в 1917 году не случилось, да в стране и не было массовых буржуазных и даже мелкобуржуазных партий. Самая массовая - эсеры (социалисты-революционеры) была социалистической, большевики – тоже. Те и другие мечтали не об экономической свободе, как во Франции в 1789, но об установлении внеэкономического коммунизма, который Ленин в 1917

сразу и установил, как «военный», упразднив частную собственность и заменив товарно-денежную систему бесплатными раздачами. Пределы доступного русскому марксизму в ту пору очертили меньшевики. Но Ленин лишь в собственном воображении был марксистом, а его партия - марксистской. Их разрыв с Марксом уже тогда видели и констатировали. Но подобно тому, как Троцкий потом критиковал Сталина, но признавая его государство «пролетарским, хоть и с извращениями». А и у Ленина, и потом у Сталина, это были не извращения, а принципиально иной взгляд на вещи и иные стремления, - не преобразить исчерпавший развитие капитализм, в России жалкий и слаборазвитый, в общество пролетариев, составлявших в России меньшинство, а создать новый, невиданный, строй, как они, во всяком случае, Ленин, считали, более справедливый. Понять, каким они хотели этот строй сделать, можно лишь по тому, что они делали

Население империи, преимущественно крестьянское, избавившись от царя, больше всего хотело земли. Земля стала почти всеобщим лозунгом, у большевиков он вышел на первое место. Декрет о земле, списанный с эсеровской программы, был провозглашен новой властью сразу после Декрета о мире. Проблема была в том, кому распоряжаться землей, будет ли крестьянин самостоятелен. Но массовой партии, аналогичной венгерской, в не очень ловком переводе именуемой «партией мелких сельских хозяев», в России не было. Ею не были не только большевики, но и эсеры, далеко не все они последовательно отстаивали буржуазную самостоятельность крестьянства.

Сказывались и последствия крепостного права, и традиции общинной собственности, и слабость запоздалой столыпинской реформы, лишь по идее разумной. Не то, что эсеры «изменили» крестьянам, они скорее остались верны крестьянским понятиям времен феодальной реакции. Английские и французские крестьяне тоже не вдруг стали думать, как в дни революции. Но русские вошли в нее при едва преодоленной феодальной реакции, на более раннем этапе самосознания империи, державшейся, в отличие от английской и французской, больше силой, чем хозяйством.

В таких обстоятельствах освободителем от несправедливого, подмененного царя крестьянство видело доброго царя, самозванца, и не убитого женой, как Петр Федорович, а скрывшегося, то есть, Пугачева. Ленин, хоть никак не посягал на такие ассоциации, стал в их сознании новым Пугачевым. Это легко понять, если помнить, что голосовавшая за большевиков четверть населения России не слыхала о диктатуре пролетариата, и голосовала за преобразование порядка, а не просто свободу. Потом говорили: за что боролись, на то и напоролись. Но так отрицали не революцию, а претензию революционеров учредить новый порядок, вопреки всенародным выборам.

Именно Ленин счел сотворение «лучшего» порядка, без оглядки на граждан, не только правом, но долгом. Ради этого он преобразил старое политическое орудие – партию. Для него это уже не подспорье при выборах и не орудие пропаганды, а организация профессиональных революционеров, и Ленин убежден в правомерности такой профессии. Он считал, что его партия внедряет в сознание рабочего класса, не вполне, как отмечал, сознающего свои интересы, теории, выразившие

эти интересы, якобы, верней. Ее роль еще вырастает, когда, взяв власть, она может уже не поднимать всякий раз класс на борьбу, но давать ему указания, или просто его замещать, принимая в партийных комитетах решения от имени рабочих, не спрашивая их согласия, а потом и преследуя не согласных. Потом она требует согласия и покорности уже и от беспартийных, создает Чрезвычайную Комиссию по борьбе с иными мыслями, наделенную особыми полномочиями, а потом переименовывает ее в Главное Политическое Управление, - орган политического насилия, пресекающий внесударственную жизнь.

Верно или неверно Ленин оценивал ситуацию в России и в мире, главное то, что на решения, вытекающие из оценок, не требовалось согласие граждан, они определялись волей Ленина и его соратников по власти, опиравшихся на силу своих единомышленников и подчиненных. Такая, сугубо волюнтаристская система казалась им идеальной, к тому же, никакой ответственности перед теми, кого вынуждали подчиняться, ни Ленин, ни Троцкий, ни Сталин, ни партия, как целое, не несли, партийцы отвечали лишь перед вышестоящими, как царь лишь перед богом.

Нидерландская, и Английская, и Французская революции противостояли как раз такому порядку, добиваясь ответственности власти перед гражданами. В этом русле развивались демократические общественные движения XX века, не исключая марксизма. В ходе русской революции Ленин поставил проблему с ног на голову и, освободив от ответственности власть, восстановил ответственность граждан перед властью, не ими над собой поставленной, и это усвоили не только в России, не только большевики. Русский пример **революции созидания**, оттеснив **революцию освобождения** вошел в XX веке в мировой обиход, порождая волюнтаристские режимы. Они боролись разом и с подобными себе, и с «передовыми» державами, успешно отстаивая места под солнцем. Не то, что Ленин эти разнообразные движения направлял или поддерживал, но он - первый, кто дерзнул выводить страну из кризиса не реформами, и не революцией, которой надлежало быть буржуазной и крестьянской, какой Октябрьская по его признанию и была, а захватом власти и созданием нового порядка. Пример был преподан.

Потом уже не одна Россия, а все концы земли ввязались в глобальное переустройство и борьбу за место в нем. Ныне иллюзии о стабильных преимуществах «передовых» и «развитых» развеяны. «Передовая» держава может стереть «отсталую» с лица земли, но не изменить ее образ жизни. Глобальный рынок вроде закрепил перевес «передовых», но тут же подорвал его в их боевых схватках с «отсталыми», вручив «отсталым» передовое оружие, и практику движут уже не теории, а сиюминутная дерзость глазомера, вознесшая Ленина, как крупнейшего политика XX века, - не освободителя, а провозвестника «гиршей, но іншей» жизни, - над Марксом и всеми его правдами и утопиями, и сделавшая влияние Ленина на XX век даже более значительным. Кагарлицкий странным образом этого не видит.

Ленин - провозвестник других волюнтаристских режимов, не только коммунистических, но и живших совсем иными идеалами, однако следовавших за Лениным в одном - в безоглядном, ни перед чем не

останавливаемом воплощении своего идеала. Он - прообраз тоталитарного вождя, каких потом были десятки, но превосходил их всех и умом, и дарованием, и даже искренним желанием счастья всех, единственно, что и он уже не считал нужным их спросить, хотя ли они такого счастья. Его личное превосходство над Муссолини, Сталиным, Гитлером и прочими, вплоть до бен Ладена, очевидно. Да и политика его была потоньше, и само коммунистическое движение, с Лениным во главе, куда в большей мере ощущало реальные социальные противоречия и искало им разрешения, чем схожие с ним итальянский фашизм, немецкий национал-социализм или современный «исламский социализм». Но не уйти и от того, что коммунизм, сперва противостоявший другим тоталитарным движениям, внутренне все больше им уподоблялся еще при Ленине. Проведя единственные в истории России свободные выборы, но, не получив большинства и разогнав собрание, он не назначил новых, откровенно показав, что мнение тех, кого он стремится осчастливить, ему безразлично.

В нем ярче, чем в ком-либо другом, воплотился XX век, ополчавшийся на угнетение классов и наций с безжалостной жестокостью к десяткам миллионов отдельных людей, часто именно из угнетенных классов и покоренных наций, в итоге лишь усугублявший угнетение, против которого восставал. Эту безоглядную беспощадность первым олицетворил Ленин. Но Кагарлицкий игнорирует хлынувший следом поток волонтаристских движений и даже не пытается вспомнить хотя бы начальные отличия ленинского от остальных. Видимо, все же сознает, что волонтаризм, в каких бы одеждах и с какими бы намерениями не являлся, неизбежно перерастает в тоталитаризм, живущий уже по собственным законам, обращающим гипотетический прогресс в оголтелую реакцию, как раз и восторжествовавшую в СССР.

СССР

Создав перед смертью Советский Союз, Ленин, вопреки логике революции, спас обреченную на гибель империю, отсрочил «национальный вопрос», дав крупнейшим республикам показную независимость в крепкой партийной узде, мешавшей вырваться до общего кризиса 1991. Это позволило Сталину, в отличие от Гитлера, не сразу приступить к восстановлению империи, а выглядеть до союза с Гитлером и вторжения в Польшу и Финляндию миролюбом. Зато «крестьянский вопрос» мужикоборец Сталин решил четко, - коллективизация свела крестьян в колхозы, не дав им, в отличие от прочих даже паспортов, и, понятно, земли и воли. Между тем, по Кагарлицкому, «нэп рушится естественным образом». «не свертывается, а рушится» (281), намерений его свернуть, якобы, вовсе не было, и коллективизация, губившая крестьянство, оказывается, тоже не результат замысла, а вынужденная необходимость. Впрочем, и признав термидор, Кагарлицкий находит, что, поскольку «капитализм, как мировая система не рухнул», «все развитие постсоветской России шло не по тому сценарию из которого исходили лидеры большевизма в 1917-1918 годах» (283), никак не оговаривая, что у того воображаемого сценарий и не было причин сбыться, кроме веры религиозного свойства.

Да и, вообще, история не кино, и совершается не по сценарию.

В суть термидора Кагарлицкий не входит. А чтобы осознать большевистский термидор, полезно помнить, что и французское 9 термидора (27 июля 1794 года) не было актом реставрации, что якобинскую диктатуру Робеспьера, покончившую с феодализмом, но не нашедшую компромисса ни с буржуазией, ни со средним крестьянством, ни с рабочими, свергли другие якобинцы, и пять лет спустя власть перешла к Наполеону, возглавившему буржуазную империю, и не более склонному реставрировать Бурбонов, чем Сталин Романовых. В России и в первые месяцы после Октября революцию тоже поддерживала не только левая часть рабочего класса, именем которого большевики действовали, но и немалая часть крестьянства, мелкой буржуазии и национально-освободительных движений, тем более, что первые декреты большевиков, отчасти даже сочинялись по их программам.

Однако, отвергая компромисс в главном, не встретив согласия на ликвидацию частной собственности и другие свои программные требования, большевики уже в январе 1918 года, разогнали Учредительное собрание, совершив первый термидорианский переворот, который и вызвал Гражданскую войну. Но, выиграв ее, Ленин и Троцкий, чтобы удержать власть, пошли на уступки, как им казалось временные, и провозгласили НЭП, отсрочив окончательный термидор на неопределенный срок. Однако возрожденное в годы НЭПа хозяйство требовало прямого ответа - будут ли его и дальше вести в таких формах, и, соответственно, введут более демократическое правление, или вернуться к исходному ленинскому плану, отменив НЭП. Что и сделали.

Среди большевиков тоже были сперва расхождения во мнениях. Кто выступал против захвата власти в Октябре, кто против введения НЭПа, кто против его свертывания. На Десятом съезде Ленин провел резолюцию «О единстве партии». Но к реальному единству партию привели не резолюции. Оно выросло из наступившего после ликвидации НЭПа единства собственности. Хоть «владения» колхозов числили особой, кооперативной собственностью, государство, а точнее, партийное руководство, распоряжалось ею столь же свободно, как государственной. К тому же, в кооперативно-колхозную собственность не включили «навечно» предоставленную колхозам в пользование землю, что тоже, при неоднократной реорганизации колхозов, было фикцией.

Но в советском государстве еще значимей, чем единство собственности, на деле полностью огосударствленной, и практически идентичной безграничному праву власти распоряжаться всем, было само по себе право руководства правящей партии чинить произвол. Единый концерн, которым по завету Ленина стало хозяйство страны, даже временно мог рационально функционировать лишь при едином руководстве, уравнивающим и координирующим разные участки и направления. Так оно казалось Ленину. Но на практике это было невозможно уже потому, что для удовлетворения одних только текущих потребностей, не говоря об отдаленных, государство не располагало необходимыми техническими, сырьевыми, продовольственными, финансовыми или кадровыми ресурсами. И это, не говоря о неподъемной задаче просчитать все наперед, да еще без компьютеров, в столь огромном концерне, каким уже тогда было советское хозяйство.

Это и побуждало мыслившееся плановым хозяйством постоянно перевыполнять планы, то есть, постоянно ломать и нарушать плановую сбалансированность. Мало того, полная централизация хозяйства, его фактически распределительный характер, упразднение при как бы товарном производстве рыночного механизма, отнимали возможность определять создаваемые ценности без оглядки на мировой рынок, способный их оценить лишь в той мере, в какой они туда поступали.

Кагарлицкий сопоставляет новые формы хозяйствования с государственным капитализмом, возможным при НЭПе, но не после его ликвидации, поскольку государство, ликвидируя конкурентов, оставляя рынок лишь одному продавцу – себе самому, и само перестает быть капиталистом, как выборы из одного кандидата перестают быть демократическими. Еще менее убедительно его сравнение советского способа производства с азиатским, как предлог не признавать классовый характер советского общества. Он говорит о бюрократии, но не о номенклатуре, как правящем классе, заинтересованном в термидоре. А хоть большая часть первичной номенклатуры при этом ликвидировалась, в целом термидор совершался в ее пользу, и она росла. XVII съезд партии, делегаты которого чуть не поголовно репрессированы, не зря звали съездом победителей. Он сделал былью мечту Ленина об абсолютной власти. Другое дело, чем за новый абсолютизм поплатилась страна и сама ленинская партия.

Парадокс такого порядка не только в том, что, вопреки успехам в военных отраслях, он обрекал хозяйство в целом на стагнацию. Не менее важно, что подчинив все хозяйство единой, вертикально управляемой системе он механизировал человека, упразднил даже ту относительную, частичную свободу, которую тот надеялся обрести с революцией. Маркс предрекал не единое хозяйство, а управляемые рабочими отдельные предприятия. А единство требует механизации не только рядовых граждан, но и от стоящих на всех ступенях вертикальной власти, что для многих участников революции оказалось неожиданным. Но бывшие товарищи их выбросили. Как некогда якобинцы свергали якобинцев, так большевики свергали большевиков, Сталин, Молотов, Калинин, Каганович, Ворошилов, свергли Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова, Троцкого. В этом и состоял термидор.

В отличие от якобинцев, их убили не сразу. Большой террор, малопонятный большинству тогда и поныне не осмысленный социально, начался через десять-пятнадцать лет после расправ с помещиками и капиталистами, но вскоре после коллективизации. Даже современная ему пропаганда, не называла иных причин массовых убийств (по сугубо официальным данным расстреляли около миллиона и морили в заключении около семнадцати миллионов), кроме вредительства и подготовки мифических покушений на Сталина и его соратников. Одни объясняют большой террор жестокостью большевиков, другие – надобностью расширить применение рабского труда, третьи – борьбой за власть, а Кагарлицкий, помимо необходимости «поддерживать лояльность управляемых» (293) еще и тем, что так обеспечивали «невероятную вертикальную мобильность для представителей низов». Он пишет: «Общество сталинского образца сочетало в себе страх и энтузиазм. Одно без другого не работало. Если бы не было

возможностей роста для людей из низов, страна не могла бы выигрывать войны, не могла бы стремительно развиваться!». И далее: «Сталинский террор был системно организован и являлся частью воспроизводства общества. Причем от него еще очень многие выигрывали Масштаб репрессий опроверг подобные суждения. Жестокость большевиков, конечно, безмерна, но убивая выдающихся ученых и инженеров они не могли не понимать, что стране и ее хозяйству от этого явный ущерб. Склонность большевиков к рабскому труду росла, но, чтобы расширить его применение, надо бы не убивать рабов, а сохранять им жизнь. Конечно, в партии шла яростная борьба за власть, но далеко не все ее старые члены партии шли за Троцким и Бухариным, а Центральные Комитеты, избиравшиеся довоенными съездами, были истреблены почти поголовно. И если, по Кагарлицкому, верхушку Красной Армии уничтожили ради победы, почему же тогда уцелевшие отступали до Волги? Не расправы ли с военными были тому причиной? Рассуждая о терроре, Кагарлицкий заявляет, что «Террор в Гражданскую войну с обеих сторон зачастую был более интенсивен, чем при Сталине, даже если взять 1931-1932 или 1937-1938 годы» (293), забывая, что Гражданскую войну вели две вооруженных и организованных стороны, а при Сталине террор вела одна, вооруженная, против безоружной и неорганизованной!

А великий террор был великой зачисткой, призванной навсегда истребить дух свободомыслия, порожденный свержением самодержавия и революцией, лозунги которой повторялись ритуально, не сказываясь на реальной политике и даже прямо ей противореча. От старого, выдохавшегося самодержавия к более свирепому самодержавию свежей крови, Россия прошла за восемь месяцев свободы, порой чуть не анархии, и никаким другим путем, кроме массовых убийств, внушавших страх всем и каждому, вытравить память об ощущении свободы было невозможно. Смешно списывать реки крови на дурной характер Сталина. Чтобы осуществить свои волюнтаристской задачи ленинская партия нуждалась в неколебимом палаче и нашла его в лице Сталина, личными качествами лучше подходившего для поддержания в стране безропотного подчинения и нового абсолютизма, чем второй, за Лениным, вождь Троцкий и «любимец партии» Бухарин. Говорят, доживи Ленин до тридцатых, он предотвратил бы злодеяния и взял сторону убитых. Оснований этому верить нет. Неужто Ленин, Троцкий, Бухарин и другие, в отличие от Сталина, впрямь шли бы «всерьез и надолго» на компромисс с объективной реальностью, не поддававшейся их волюнтаризму? Или, не убей их Сталин, они сами стали бы «верными сталинцами», даже устранив Сталина? И не со страха, а потому что в бескомпромиссном волюнтаризме суть большевизма. В дни больших процессов Французский писатель сказал: «Сталин – это Ленин сегодня». Это не личная характеристика, а признание «сталинизма» единственным путем развития ленинизма, не считая, понятно, капитуляции. Ленин мог быть чуть помягче или чуть жестче, но свою генеральную линию никак иначе проводить не мог, не мог уйти в оппозицию, признать существование в обществе других сил и их прав, в особенности при том, что они составляли большинство. Разоблачая «культ личности Сталина»,

коммунисты на деле этот культ создавали, приписывая политику партии воле одного человека, который практически выражал преступную волю партии. Да и вырос сталинский порядок из предпосылок, заложенных Лениным, и уже поэтому он и был ленинским.

Кагарлицкий отождествляет ленинский порядок с коммунизмом Маркса, утопия которого такого поворота все же не предполагала. Верны или неверны, дурны или хороши, утопичны или пусть даже реалистичны, были выкладки Маркса, он сознавал нужду найти им поддержку у социального большинства. А Ленин знал, что большинства за ним нет и по доброй воле не будет, что его порядка большинство не хочет. Но насаждал этот порядок, считая его наилучшим.

Отчего же наилучший не устоял? По Кагарлицкому оттого, что, после индустриализации и победы в войне, оказалось, что «мобилизационный механизм уже не работает так, как раньше» (294). Видимо, беда в смерти Сталина, хоть прямо это не сказано. Но говорится, что именно после нее, с конца пятидесятых, после хрущевской «оттепели» и освобождения жертв репрессий, бюрократия стала менее эффективной. Кагарлицкий признал нужду в децентрализации управления, но ее проявлением счел дробление министерств, назвав его бюрократической децентрализацией. А Сталин дробил наркоматы еще до войны, никак не умаляя власть центра!

Главный источник зла сыскан в договорном планировании, заменявшем прежнее директивное, отчего уже «официальный государственный план есть не более чем результат согласования интересов между ведомствами» (296). Отсюда вывод: «Общество все более становится организовано вокруг корпораций. Эти корпорации пока не являются частными» (296). И дальше: «Закономерным итогом эволюции советской системы оказывается корпоративно-олигархический капитализм, который мы имеем сегодня в России» (297). А причиной распада СССР объявлены попытки властей сбалансировать хозяйство, сообразовать планы с возможностями. Но и самая заметная из них, косыгинская, была робкой, а не хоть сколько-нибудь полной, да и она, и другие, скорее продлевали, чем сокращали, жизнь СССР. Ее не могло на необходимом уровне поддерживать директивно-партийное руководство хозяйствованием, не пресеченное олигархами, а лишь перешедшее от партийных органов к государственным, но частным, капиталистическим, отнюдь не ставшее. Но признать, что СССР губила не измена, а верность исходным ленинско-сталинским принципам волюнтаристского партийно-государственного руководства хозяйством, сбитым в единый концерн, Кагарлицкий не в силах.

Из-за исторической преемственности марксизм и ленинизм описывают одинаковыми терминами. Но они несопоставимы уже потому что один - несбыточная утопия, а другой долговременная и не исчерпанная реальность, Останься большевики социал-демократами, затянутые Романовыми узлы, возможно, распутывали бы другие люди, даже более прямолинейные, хоть столь же кровавые. Но, порвав с утопистом Марксом, ленинский сиюминутный реализм, не считавшийся с последствиями, стал примером государственного волюнтаризма и для Сталина, и для других. Он сеял надежду удержаться волей и силой, пусть не навеки, пусть под другими лозунгами и с другими намерениями.

Можно предполагать, что лично Ленин, в отличие от преемников и подражателей, впрямь был полон абстрактно-благих намерений. Но ими вымощена дорога в ад, который он уже в плодах своей деятельности мог видеть. Если не живой, то запечатленный на портрете работы Петрова-Водкина.

Россия

Объясняя распад СССР и переход России к капитализму расслоением номенклатуры, а приватизацию неумением КПСС координировать работу советских корпораций, Кагарлицкий странным для марксиста образом не выясняет, в какой мере этот процесс, если он имеет место, закономерен.

Почему достояние страны, почитаемое общенациональным, дробилось, а «центр», крепко его державший в куда более трудных ситуациях, бездействовал? Никакое объяснение, кроме напоминания о пользе сталинского террора, не дано. Террор при Хрущеве и Брежневе, конечно, сократился, для номенклатуры прекратился. И волюнтаристскому режиму без него было трудно. Но почему его сократили, не сказано.

Таких неувязок очень уж много. Как ни ценит номенклатура западные материальные ценности, она вполне сознает, что далеко не каждый, кому перепали большие деньги, становится там крупным капиталистом. На это все же нужны какие-то способности, иные, чем для карьеры в номенклатуре, где способности тоже нужны, но другие. Нелепо предполагать, что члены Политбюро и даже функционеры обкомовского уровня могли скопом рисковать своим положением ради этой химеры, если не считать их кретинами, каковыми они не были.

Изображаемые Кагарлицким картины жизни российских капиталистов выдают его самобытные понятия о капитализме, в котором борьбу за частные интересы ведут государственные секретные службы, а капиталист Ходорковский попадает за решетку, проиграв своим конкурентам, поддерживаемым Кремлем (298). Но как раз Ходорковский никому не проиграл и вел дела более, чем успешно. Да и трудно допустить, что кремлевское руководство, лишь ради обогащения кого-то из своих, пошло на незаконную посадку Ходорковского, подорвавшую коммерческий престиж страны. Приписанные ему политические претензии, тоже не повод для каторги. Претензия, его погубившая, была куда серьезней, - он впрямь вздумал быть капиталистом, то есть, сам решать свои коммерческие дела, как Рокфеллер. Ходорковский совершил ту же ошибку, что и Кагарлицкий, - поверил, что в России «реставрирован капитализм», с той, однако, разницей, что он-то хотел этим капитализмом в полную меру практически пользоваться, чему противился не какой-то завистник в Кремле, а Кремль, как властный институт, желающий продемонстрировать переход России к капитализму, отнюдь не допуская подобного перехода. Кагарлицкий лишь поддакивает Кремлю, что в России возрожден капитализм. Он – известный противник капитализма, и в его устах такие заявления кажутся правдой. А это желательная Кремлю пропаганда.

С «новым русским капитализмом» не так все просто, как в книге

Кагарлицкого. Советское хозяйство с конца семидесятых переживало кризис, вызванный, прежде всего, несоответствием продуктивности и претензий государства. При продуктивности (то есть, ВВП на душу населения) в несколько раз меньшей, чем в США, СССР поддерживал равный с ними, а то и превосходящий, уровень вооружения, военной готовности и численности армии. Уже это вело к диспропорциям, ломавшим хозяйство. Оно страдало и от самого своего устройства, как общегосударственного концерна, и от других проявлений волюнтаризма. Сверх всего прочего к началу восьмидесятых резко сократились дополнительные ценности, обычно в него вкладывавшиеся, - упали мировые цены на многие виды советского сырья и, в частности, на нефть. Партийно-советскому руководству в обычных рамках было не выйти из этой ситуации, уже не казавшейся временной. А что через десять лет цены на нефть опять резко подскочат, было не догадаться.

Решительно изменить хозяйственные принципы, как не раз и не два предполагалось, партийное руководство и при Горбачеве не посмело, такой инициативы не проявляли. Они надеялись, что, ослабив давление гонки вооружений на западные страны, сократив военную угрозу и пойдя на некоторые внешне-политические уступки, можно ожидать финансовой помощи и займов Запада, не говоря о сокращении собственных военных расходов. В этом и был смысл перестройки Горбачева, ради нее отменившего ряд нелепых, подрывавших доверие Запада запретов внутри страны и, как шаг к демократии, провозгласившего гласность, но не коренные перемены в экономике. Да и наивно было бы ждать, что при растущей гонке вооружений можно советское хозяйство сбалансировать в прежнем виде при прежних претензиях. Не исключено, что систему еще можно было удержать, реально допустив независимое массовое предпринимательство, подобное нэповскому, но и таких стремлений власть не проявляла.

Да и как мог Горбачев рисковать, если большая часть партийно-советского руководства, подобно Кагарлицкому, надеялась, напротив, укрепить центр и директивное, вертикальное хозяйство, без оглядки на что-либо. Эту позицию обозначило введение в Москву 19 августа 1991 воинских частей. Психологически то был, конечно, шаг к террору, что и напугало население. Выяснять, стоял ли за мятежом сам Горбачев, нет смысла, - если он и согласился с силовым решением, не он был его инициатором. Но ничего не вышло. Почему не вышло, никто, включая Кагарлицкого, внятно не объяснил. Видимо, все же потому, что танкам противостали сотни тысяч москвичей, а поддержать переворот не вышел практически никто. То был высший миг гласности, обнародовавший реальное отношение советских граждан к своему режиму, показавший, что оппозиция Советской власти, какой по общему убеждению не было, на деле существует и не малочисленна. Конечно, Москва – еще не Россия, тем более, не СССР, но и в Ленинграде и в других больших городах, куда войска не вводили, тысячи людей тоже вышли на улицы, и это ненадолго определило дальнейшее. Оно, однако, состояло не в революции, которую долго потом славили, но которой не было. Оттолкнув затеявших переворот, а с ними и Горбачева, номенклатура рангом ниже овладела положением, сплотившись вокруг президента России Ельцина, после стычек с центром и лично с Горбачевым

слывшего фрондером и этим симпатичного стоявшим против танков. Но не выступавшие на митингах диссиденты, а номенклатура помоложе занимала ключевые посты и принимала ключевые решения. Важнейшим был роспуск Советского Союза, разом избавивший и от верхнего слоя партийно-государственных структур, управлявших Россией, и от заботы о сохранении в союзных республиках советского строя. Проведенная вскоре так называемая «либерализация цен» позволила торговым предприятиям менять цены на товары не запрашивая, как прежде, Государственный ценовой комитет. Экономический строй это не изменяло. По реальному содержанию «либерализация цен» мало чем отличалась от способа, каким Сталин отменил после войны карточную систему. Тогда тоже цены резко взлетели, многие лишились накопленных денег, но в итоге открылись магазины, в которых продавали необходимое, хоть и по ценам несоразмерным зарплатам большинства. Страна перешла на тяжелый продовольственный режим, избавясь однако от угрозы полного голода. Как ни расценивать эту реформу Гайдара, она скорей могла помочь советскому порядку удержаться, чем его преобразовывала.

Обособление РСФСР от остальных республик само по себе тоже не было социальным преобразованием. Национальные проблемы в России даже обострились. Кроме советского административного деления, нет объяснения тому, что, в отличие от эстонцев, которых около миллиона, татары, которых около восьми, независимости не получили, и каким шрифтом им писать на татарском языке, решает Москва. Да и русские, составляющие в России уже не половину населения, как в СССР, а четыре пятых, все еще пребывают на советском положении, не как самостоятельный, а как имперский, «объединительный», народ, что выражается оголтелым шовинизмом в разных формах, вплоть до перелицовок немецкого национал-социализма на русский лад с культом Гитлера, как «народного» вождя. Худо, однако, не только это.

Наряду с уродливым имперским шовинизмом, еще в советские времена возникал анти-имперский русский национализм, сознававший империю петлей на шее русского народа, от которой необходимо освободиться. Перейдя от царизма почти сразу к ленинизму, не пережив глубокой буржуазной революции, русский народ так и не совершил национального самоопределения, начинавшегося, вместе с буржуазным развитием, после великих реформ. Как всюду, оно проявлялось противоречиво, - и взлетом при Александра III и Николае II имперского шовинизма, раньше менее свойственного русскому народу, и заботой о национальной культуре, ведшей и к созданию П.М.Третьяковым его замечательной галереи и к открытию Антоном и Николаем Рубинштейнами консерваторий в Петербурге и Москве.

Ленинизм как бы отвергал имперский шовинизм, а заботу о культуре даже разделял, хоть и подвергая ее жесткой обедняющей цензуре. Но понимание национального лишь как помехи всеобщему братству, даже и до сталинского мракобесия не вело дальше признания равенства людей всех наций, но куда менее отчетливо к пониманию нужд наций. Маяковский, чуждый всякому шовинизму, чистосердечно призывал «без России, без Латвий, жить единым человеческим

общежитием», не задумываясь о том, что в общежитии два миллиона латышей растворятся среди ста миллионов русских и не смогут быть латышами. Да и русский крепостной народ, не знавший национального самоопределения, убеждали беречь империю, а не отстаивать для себя демократию.

За известный призыв: «Смирись, Кавказ! Идет Ермолов» Пушкина винили в империализме, но поэт не скрывал, что ждет от народов Кавказа подчинения русским. А ныне чеченцам, желавшим выйти из федерации, в которую они никогда добровольно не вступали, отвечали, что в ней они равноправны, словно массовой высылки не было, и нечего на нее ссылаться. Действуют, как при Пушкине, а пропаганду ведут по Маяковскому, не додумавшему свою формулу, лишаящую небольшие народы права на существование. Таков ныне интернационализм, а стремление к самоопределению именуют сепаратизмом.

Глобализацию парадоксально винят в том, что она лишает народы самостоятельности, а их лица самобытности, то есть делает, якобы, именно то, что прежде делал Советский Союз, а теперь Российская федерация. Но глобализация не оспаривает независимость государственных образований, не только империй, не только их метрополий, но освободившихся колоний, не только бывших, но и нынешних. Глобализацию слепо отождествляют с мифическим однополярным миром, обличая желание Соединенных Штатов его создать, словно такое возможно. Но помимо того, что, вообще, всякий полюс (по первичному смыслу это слово означает – ось) непременно предполагает и противоположный себе полюс, исчезновение Советского Союза, вопреки российской пропаганде, не усилило, а ослабило влияние Америки. Тогда в ее помощи и поддержке нуждались все, не желавшие покориться СССР, а теперь, не ощущая его угрозы, на Америку и не оглядываются. Волюнтаризм государств нагнет, демократические тверже отстаивают самостоятельность. Это обостряет ситуацию.

Место России на глобусе, ее судьба и будущее русского народа напрямую зависят от его самоопределения и создания русского национального демократического государства, отдельного от колоний, на удержание которых, не только вооруженное, он тратит немалую долю сил и средств, не говоря о людях. Хочется надеяться, что демократическое русское государство не потерпит ксенофобию, а колонии, обретя самостоятельность, преодолеют русофобию. К тому же, не обязательно разрывать отношения, они могут быть и федеративными, и конфедеративными, и союзными, - лишь бы добровольными, без наведения одной стороной «конституционного порядка» в другой. Решение «национального вопроса», хоть запоздалое, облегчило бы и преобразование хозяйственных отношений, необходимость которого очевидна.

Нынешний псевдо-капитализм возник не из-за раскола номенклатуры или склонности корпораций вместо слепого исполнения приказов центра, сговариваться меж собой, как уверяет Кагарлицкий. Причиной была, напротив, косность и неповоротливость государственных корпораций, зажатых нелепыми ограничениями. А прельщенные надеждой на экономические отношения с развитыми странами, верхи российской вертикали ощутили нужду в организациях

способных их поддерживать. Внутри советской государственности такие было не создать. Отсюда и так называемая «приватизация».

Она, однако, состояла не в законодательном дозволении любому желающему, заниматься предпринимательством, не испрашивая разрешения, лишь уведомив власть. Она так же не возвращала миллионам собственников того, что отобрали у них революция и коллективизация (не говоря о советских обесцениваниях денег). Она не провозгласила и прав на другую частную деятельность, и не издала законов, предостерегающих администрацию от посягательств на частную деятельность и частную собственность, хотя всюду капитализм утверждался на почве правовой регламентации. Российская «приватизация» стремилась к другому и шла с другого конца. Она, согласно общему мнению, создала пятьдесят крупных, как их называли, «олигархов», которым разными способами дали формальное право собственности на значительную часть имущества, числившегося до того государственным. Эти люди получили возможность из доходов вверенного им хозяйства отчислять немалую долю себе. Их доходы и уровень жизни превысили уровень жизни членов Политбюро, не говоря о советских министрах, прежде выполнявших эту работу. Возможно, «олигархов» было даже не пятьдесят, а пятьсот. Но если в Америке за два столетия сложившиеся пятьсот семейств владеют где-то пятой частью имущества страны, то наши новоиспеченные – четырьмя пятими, что не может не удивить, не бросаясь в глаза их круговая зависимость от власти, какой зато нет нигде.

Американские миллиардеры активно влезают в политику, Нельсон Рокфеллер был даже вице-президентом, думал о президентской должности. Хоть советская пропаганда и лгала, твердя, что Америкой правят пятьсот семейств, их готовность отстаивать свои политические позиции неоспорима. Но не все решают деньги, и американским богачам, которых и «олигархами»-то не называют, не всегда просто убедить хотя бы большинство людей среднего достатка. Нередко наших «олигархов» считают реальными правителями, которым услужает официальная власть. Даже либеральный Андрей Пионтковский назвал фрондерскую книжку: «За Родину! За Абрамовича!», вписав Абрамовича вместо Сталина, но не только его пост губернатора Чукотки, а и собственность его и подобных ему - больше декорация, чем реальность.

Гусинский всего лишь поддержал не того кандидата в президенты, которого наметили, а потерял на этом практически все оставшееся в России. Естественно спросить, был ли он собственником? Пришлось ли бы американскому телемагнату, поддержавшему на выборах не Хилари Клинтон, а Монику Левински из-за этого бежать, потеряв состояние? И не то же ли самое вышло с Невзлиным и со многими? И разве судьба Березовского, которому Россия обязана Путиным, как президентом, не такая же? Разница в том, что Березовский загодя переправил деньги и бежал, а Ходорковский принял показуху за реальность. Его, конечно, жаль, но и Путина, ничуть не оправдывая противоправность его действий, можно понять. Не расправься он с Ходорковским беспощадно, остальные «олигархи» повели бы себя точно также, веря, что в России капитализм, а они не хуже американских магнатов. Не разобравшись с псевдо-капиталистами, Кагарлицкий ставит, однако, более важный

вопрос, хоть не на российском, а на польском опыте. Он видит, что польские рабочие, создав «Солидарность», выступали не против буржуазии, которой не было, а против социалистического режима. И негодую отмечает, что «в выигрыше оказывается буржуазия» (300). Но не былая, а формирующаяся «на основе той самой партийной номенклатуры, с которой рабочие так героически боролись». И даже находит у Троцкого предсказание подобного поворота, сочтенного тем наихудшим для СССР. И обнаруживает поворот к капитализму уже в том, что за Польшу, как и за Венгрию, еще при Брежневле платил богатый нефтью СССР, и они не свои проблемы решали, а обслуживали внешний долг, то есть экономика перестроилась «с решения внутренних задач на внешние». А в той мере, в какой СССР и другие соцстраны были включены в международное разделение труда, их «некапиталистические производственные отношения, поставленные на службу капиталистическому рынку, становятся конкурентным преимуществом» (301). Это, конечно, верно. Крепостное право тоже давало России преимущества на европейских хлебных рынках. Но этим и тогда не отменялось первенствующее значение внутренней экономики, что Россия ощутила в полной мере. Не отменяется оно и сейчас, ни в Польше, ни в Венгрии, ни в России!

Но, прежде, чем вернуться домой, досмотрим польскую ситуацию. Вроде бы верно, что рабочий класс сыграл решающую роль в возвращении Польши к капитализму. Но честно ли объяснять это слепотой рабочих? Они поступили именно так, как, не забудем, предвидел Ленин, понимавший, что «стихийное развитие рабочего движения идет именно к подчинению его буржуазной идеологии... ибо стихийное рабочее движение есть тред-юнионизм...» Польские рабочие создали профсоюз «Солидарность». А переубедить их, как хотел Ленин, потому и не удалось, что они не страдали слепотой, а знали социализм уже не по брошюрам, а по собственному опыту, и этот опыт отвергли. А Кагарлицкий как раз и гневается, что они не были слепы.

Теперь им приходится отстаивать себя в капиталистической системе. А переход осложнен еще тем, что некоторые предприятия, жившие заказами СССР, как знаменитая Гданьская верфь, где новое польское рабочее движение началось, вынуждены были сократить свою деятельность, что сказалось на рабочих. Но современный переход к капитализму не означает отказа от социальных требований, в социалистическом лагере удовлетворявшихся хуже, чем в буржуазной Европе, куда Польша вступила.

Польскую ситуацию Кагарлицкий уподобляет российской. Но они противоположны уже тем, что Польша, при всех огрехах, к капитализму все же перешла, а Россия лишь перестроилась, хоть и не по Горбачеву. Монопольно правившая номенклатурная РКП/б/- ВКП/б/- КПСС оттеснена, но не демократическим движением, а своим «передовым отрядом», ЧК-ГПУ-НКВД- КГБ, правящим привычными ему методами, но без прикрытия марксистско-ленинской фразеологии. Оттого нынешний порядок и выглядит иным, чем советский, хоть различны они лишь в мере откровенности и форме камуфляжа, - теперь им служит уже не портрет Маркса и даже не Ленин с простертой вперед рукой, а рекламные плакаты капитализма, тоже, однако, поддельного. Ельцин

отдал власть не лично Путину, а в его лице – КГБ. Два предыдущих премьера претендовали тоже как тамошние. Можно гадать, добром ли Ельцин отдал власть, но Чеченскую войну развязал он.

Мероприятия нового президента, - возрождение советского гимна, холощение Совета Федерации, отмена выборов губернаторов, формализация выборов в Государственную думу и другие представительные органы, не расследованные политические убийства, постоянные антизападные истерики, - перечислять можно долго, даже не возвращаясь к прямому командованию привязанными «олигархами», - означают движение не к капитализму, а к иной разновидности прежнего порядка. Производство не преобразилось, но текут бешенные доходы от нефти, и газа и инвестиций щедрого на них Запада, всегда готового, как говаривал Ленин, «продать нам веревку, на которой мы его повесим». Вот власть и симулирует капиталистическую экономику и даже демократию. Никто не знает, как долго это продлится. Но движение к социальному компромиссу, то есть, к реальной демократии и подлинной, не директивной, экономике, покамест вроде исчерпано, а движение к новому абсолютизму, к ленинизму без Ленина, идет, и, если цены на нефть упадут, может стать вполне откровенным.

Заключение

Это вселяет в Кагарлицкого оптимизм. Объявив, что, нарушив ленинское единство, номенклатура довела до реставрации капитализма (299), он вдруг спохватывается и признает, что «обуржуазившаяся номенклатура» это не «полноценный предпринимательский класс» (304), завершить модернизацию нашему капитализму не по силам, и новые революционные импульсы неизбежны, то есть, Ленин, в конечном счете, прав. Схоже судит и власть, возрождающая ленинское силовое правление, хоть и без марксистско-ленинской лексики.

Винить в этом Ельцина или Путина – смешно. Не Путин и даже не Ленин виноваты, что марксистский прогресс несбыточен. Роль рабочего класса еще велика, но он уже не единственный творец ценностей. В их создании выросла роль умственного труда, не только живого, но и овеществленного, машинизированного, растет она и в организации труда. Численность рабочего класса падает, и его претензии на гегемонию теряют почву. Развитие производительных сил не оправдало предположений Маркса. Даже экспроприация экспроприаторов диктатурой пролетариата не позволяет распределять ценности по трудовому вкладу каждого, поскольку нет мерил определяющего вклад умственного труда, а значит социальные проблемы так заведомо не решить. Современному производству, напротив, необходим отказ от диктатуры и от власти одного класса, даже рабочего, ему нужны демократические компромиссы меж всеми участниками производства. Маркс не мог предвидеть развития, активизировавшегося с середины XX века, и хоть уважение к основоположнику могло бы побудить к честному анализу его экономических и политических предположений и просчетов, Кагарлицкий уклоняется. А ленинская надежда на упреждающее насилие показала, что добра не сулит.

Это не означает, что ленинизм сойдет со сцены. Процесс

развития передовых стран не прост, по ходу его немалая доля физического труда оттесняется уже не так в колонии, которых почти не стало, как в менее развитые страны, подобно Китаю, умножающие производство по образцам. Там, как некогда в СССР, воскресает и ленинский призыв «догнать и перегнать» и ленинский призыв «учитесь торговать», то есть надежда капиталистическими методами поддерживать «социализм». Ныне хозяйство социалистических стран и тяготеющих к ним не всюду строится по советской откровенно централизованной силовой схеме. Важно, однако, различать за пестротой знамен направляющую партийно-государственную внеэкономическую руку. Она и есть воплощение ленинизма. Его отставание от Запада растет даже в более гибких, псевдо-капиталистических производствах, и не только от нехватки передовых образцов. Разрыв нагляден в двух ракурсах. Прежде всего, в продуктивности, выражаемой размером ВВП на душу населения, - тут передовые страны в несколько раз превосходят самые сильные развивающиеся, даже Россию или Бразилию, а в таких, как Китай или Индия, она меньше и в двадцать, и в сорок, а в таких, как Бангладеш, и в сто раз. Велик разрыв и в уровне благосостояния населения, важнейшем показателе развития. Рост валового продукта за счет природных ценностей в стране с малым населением, как в Арабских Эмиратах, - редкость. А богатство развитых стран создал труд, умственный и физический.

Красноречиво и сопоставление уровней жизни верхов и низов передовых и отсталых стран. Но сопоставлять надо не общие доходы верхов, большей частью вкладываемые в производство, а объективную стоимость личного потребления людей высших уровней с низшими. Тут и обнаруживается, что в сравнении с расходами местных рядовых людей стоимость частной жизни западного богача не намного выше, если, вообще, выше, частной жизни члена советского Политбюро за счет государства или расходов иных мусульманских лидеров. Этот разрыв социализм не преодолел.

Но и передовые страны не остались прежними. Характер и социальная структура капитализма ныне далеко не столь отчетливы, как при Марксе и даже в начале XX века. Тогда правомерно было различать противостоящие классы наступавшего капитализма, капиталистов и рабочих, и отступавшего феодализма, помещиков и крестьян. Но почти сразу после революции Ленин говорил, что нет единого понятия «крестьянин», а есть кулак, середняк и бедняк, и был прав, если отвлекся от того, что он атаковал лишь кулака, а середняка, не говоря о бедняке, звал сотрудничать, хотя вскоре коллективизация ущемила не только середняка, но и бедняка, который, при всей своей нищете, перед революцией уже не был и еще опять не был крепостным.

Классовое деление Коммунистического манифеста «буржуа и пролетарии» давно не отвечает реальности, нынче не зря, говоря о «среднем классе», определяют положение людей по уровню жизни, а не по отношению к производству. Общественные классы не исчезли, но расплылись по новым сословиям, к тому же, еще не всецело вбирающим в себя граждан, входящих в несколько. Сегодня это – владельческое сословие, управляющее сословие, изобретающее

сословие, рабочее сословие, сословие земледельцев, обслуживающее сословие, зависимое сословие, а вырастают и другие. Первые – владеют капиталами, но ими владеют, пусть в меньшей степени и не поголовно, и люди других сословий, кроме разве зависимого. Управляющее сословие, менеджеры, вкладывает в хозяйство умственный труд, повседневно поддерживающий производство, изобретающее сословие – умственный труд в виде проектов машин и технических приемов, оба эти сословия частью входят и во владельческое, Рабочее сословие повседневно вкладывает свой физический труд, земледельческое, уже из-за особенностей связи с природными ценностями, часто входит разом и во владельческое и в рабочее, то же можно сказать и об обслуживающем сословии, весьма широком, включающем в себя и университетского профессора, и врача, и парикмахера, и продавца, при том, что первый, да и второй, часто входит одновременно и в изобретающее сословие, а зависимое составляется из неполноправных лиц, эмигрантов, постоянных и временных, без которых не обойтись, но попадающих в новую внеэкономическую зависимость.

За дробностью различимы традиционные классовые позиции владельцев капитала и владельцев физической рабочей силы, но самая эта дробность показывает, что позиции тех и других расплываются, и всплывающие новые свидетельствуют о нарастании глубоких перемен. К тому же, Маркс мог по отдельности исчислять рабочим временем и труд рабочего, компенсирующий оплату его рабочей силы, и его труд, создающий прибавочную ценность. А умственный труд, создающий прибавочную ценность, не исчислить отдельно затраченным временем, не обособить от труда, создающего ценность, оплачивающую умственную рабочую силу. Не просто учесть и предварительные затраты ума на образование и становление. Невозможно проверить на рабочем месте или на отдыхе пришла изобретателю в голову та или иная идея.

Умственный труд отчасти вносит в производство коммунистический элемент. Невозможность учесть весь его конкретный вклад неизбежно оставляет часть вклада неоплаченной, как бы обезличенно обогащающей общество интеллектуально. Но если создатели интеллектуальной собственности не имеют авторского права и на ограниченный срок, стимулы к ее созданию сокращаются, а чтобы их поддержать надо менять оплату умственного труда, охранять права добившихся в нем прибыльных результатов, что, к тому же, хоть отчасти мешает хищной экспроприации прибавочной ценности, ими созданной. Производство лишь начало учитывать весомость интеллектуальной собственности, оплата ее авторства, дополняя повременную, может умножить перспективы развития, но вводится медленно.

В то же время монополизация производства тормозит развитие передовых стран и пагубна для их политических систем. Компьютеры позволяют одолеть такие тенденции и вернуть капитализму дробность и плюрализм, а с ними и конкуренцию, ведущую к прогрессу. Но и защиту от монополий, как и компенсацию авторских прав, оспаривают. Рост опоры на умственный труд и борьба с монополиями – не мирная эволюция, а острые схватки, и внутри передовых, научно-индустриальных стран, и со странами, некогда отсталыми, а ныне

включившимися и в международное разделение труда и в ядерную гонку, меняющую расстановку сил в мире и перспективы развития.

Потерявших надежду догнать передовые страны порой влекут силовые, террористические, военно-партизанские атаки, вплоть до ядерного терроризма, сулящие вынудить передовые страны к капитуляции, заставить их кормить и вооружать победителей, и это не пустые надежды, - на каждого Гитлера находится свой Чемберлен, готовый отступить, и после холодной войны опасение горячей их умножает. Передовые страны растеряны, а отсталые не спешат к демократии, там разрастается новый ленинизм. Кагарлицкий принимает живучесть этого ленинизма за успех марксизма. А многообразный нынешний «ленинизм» зашел дальше Ленина и ближе к российским черносотенцам, чем к Марксу. Новых ленинцев, уповающих на силу, еще парадоксально зовут «левыми», а либералов, помнящих про экономику и хоть отчасти про Маркса, - «правыми». Неизвестно, когда и чем кончится противостояние, теряющее смысл, и кто возьмет верх. Но лишь развитие экономики предполагает жизнь. Осознание открытий и заблуждений марксизма было бы ей полезно. А Кагарлицкий зовет повторять пройденное. Вот и весь смысл его книги, весь ее марксизм, весь прогресс!

РУССКИЕ СКАЗКИ

Русские сказки

Оценки нынешнего состояния России и его причин пестры. Отход от прежнего порядка объясняют, кто - предательством Горбачева, кто - Ельцина, кто – обоих. Немногие признают, что к телодвижениям, в ходе которых проступили давно зревшие тенденции, власть толкал кризис, настигший советский строй. Столь же разнообразно трактуют и реставрационный поворот нового тысячелетия.

Библиотекарше из под Вологды, сетовавшей на радио «Свобода», что ей не дали выписать оппозиционную областную газету, главный редактор питерского журнала ответил: «Кто же создал всю ту ситуацию, в которой это стало возможно? Кто требовал, а это было немалое количество людей, возвращения советского гимна? Кто говорил о том, что в советские времена мы жили замечательно, а теперь такой ужас?» Он твердил: «Что бы мы ни говорили о выборах – подтасовывают, не подтасовывают, известно, что реально подтасовать в таких условиях, в которых мы живем, результаты выборов невозможно... Особенность ситуации состоит в том, что мы, общество, народ, выбрали ту власть, которая над нами, собственно, сейчас и существует. Николая Первого никто не выбирал и Бенкендорфа никто не выбирал, и сместить их ни при каких условиях, переизбрать, нельзя было. Если бы большинство сегодня вдруг проголосовало против «Единой России», «Единая Россия» не вошла бы в парламент».

Незадолго перед тем, другая заметная фигура нынешней элиты, глава одного из федеральных силовых ведомств, опубликовал в газете «Коммерсант» иное толкование событий. Он писал: «Страна в начале 90х пережила полномасштабную катастрофу. Известно, что после

катастрофы система рано или поздно начинает собираться вокруг тех своих частей, которые сумели сохранить определенные системные свойства». Частью, оказавшейся «в социальном плане наиболее консолидированной», он считает воинов советской госбезопасности, и подчеркивает, что «падая в бездну, постсоветское общество уцепилось за этот «чекистский» крюк. И повисло на нем. А кому-то хотелось, чтобы оно ударились о дно и разбилось вдребезги». Он настаивает: «мы помогли в конце концов удержать страну от окончательного падения. В этом один из смыслов эпохи Путина, в этом историческая заслуга президента России».

Две концепции выглядят противоположными. По литератору – общество само установило нынешнюю власть, по чекисту – общество валилось в бездну, и лишь крюк, которым его подхватили чекисты, его спас. Даже не выясняя, что именно спас чекистский крюк, было ли начало девяностых катастрофой или освобождением от советской системы, отметим, что чекист, в отличие от литератора, признает, что общество не само потянулось к отвергнутому,

Литератор как бы не замечает «чекистского крюка», вполне способного фальсифицировать не просто подсчет голосов, но самые выборы, лишая независимых претендентов доступа к телевизору, да и просто снимая с выборов, как «Яблоко» в Петербурге, а избирателей лишая нужной информации о кандидатах. Конечно, у Николая Первого надобности в избирательных церемониях не было, но в том и «заслуга» чекистов, что они, принужденные соблюдать церемонии, ныне имитируют свободу выборов даже изящней, чем при советской власти. Что же до Бенкендорфа, которого «никто не выбирал», так ведь и занимающего ныне его место Патрушева не на выборах выбрали. Конечно, чекист изложил в газете не вполне официальную позицию власти, он проговорился, защищая себя и своих подчиненных, за что и получил втык. К официальной позиции ближе литератор, утверждающий, что нынешнюю власть над Россией поставил народ России. Но и его суждение власть уточнила. По началу говорила, что России нужна не обычная демократия, а управляемая. Потом назвала ее суверенной. «Суверенная демократия» - формула, выброшенная властью в умы!

Хоть официальной идеологии вроде не стало, к деформации массового сознания ведут не только упразднение гласности и цензура. Лишь в утопической схеме Маркса советская идеология удержала подобие внутренней логичности. На практике она стала скопищем догматических формул, часто противоречивших друг другу, но обязательных для верноподданных. Нынешняя власть, не обременяя себя подобием логики, внедрила в умы целый букет разъедающих формул, в которые стоит взглядеться. Они извращают реальное положение вещей и мешают его понять. Популярны разные формулы:

Российская федерация – не федерация,
 Россия считалась страной, а была империей,
 Россия -- не Советский Союз,
 Россия для русских,
 Национализм не шовинизм,
 Россия встает с колен,
 Суверенная демократия,

Разделение властей,
 Номенклатура и элита,
 Советы и комитеты,
 Левые -- это правые,
 Социализм и национал-социализм,
 Власть и владение,
 Продолжительность жизни мужчин

Хоть российская власть от советской идеологии отреклась, массовое сознание деформируется ныне не только цензурой и безгласностью. Идеологии не обязательно быть стройной и складной. Советская казалась логичной лишь в утопическом пророчестве Маркса. На практике она, как всякая вера, смешивала уцелевшие в ней истины с корыстными догмами, противоречившими им и друг другу, но обязательными для верующих и верноподданных. Нынешняя власть уже не гонится за логикой, но внедряет в умы ложные понятия вне связи друг с другом. Они извращают реальное положение вещей и не дают его понять. Но широко распространяются.

Революция

Говорят, в начале девяностых у нас произошла революция, и из распавшегося СССР выделилась самостоятельная Россия, отвергшая советскую власть. Путин потом говорил, что в начале девяностых произошла катастрофа, но не оспаривал, что то была революция. А революция - всегда катастрофа, если не для страны, то для социальной системы. Недоговоренную мысль Путина ныне прояснил Черкесов, заявивший, что катастрофа грозила погубить систему и в силу этого страну. Ни Литва, ни Польша, отбросив нашу систему, не погибли. Но уточняя, что катастрофа постигла не прямо страну, а именно советскую систему, Черкесов прав, и остается лишь понять, была ли та катастрофа революцией.

Ныне ответ упростился. И не разделяя веры Черкесова, что чекистский крюк, подцепив страну, ее спас, можно видеть, что он, во всяком случае, ее подцепил, и советскую систему, - но не страну! - впрямь спас. Из всего руководства России вслух это признал лишь попавший впросак чекист, за что получил втык. Остальные помалкивают, понимая, что миф о революции в конце советского строя лишь ведет к новой его разновидности.

Западные страны забыли холодную войну и приняли Россию как доброго друга. Страна Достоевского и Толстого, Лобачевского и Менделеева, Чайковского и Анны Павловой, Набокова и Баланчина, да еще пострадавшая от тоталитарной власти и гитлеровских захватчиков, и все же выстоявшая и победившая не только гитлеровцев, но, оказывается, и свою тоталитарную власть, вызывает симпатию. А свою власть она не победила, то был оптический обман, хоть миф о революции и внушал, что советская власть рухнула. Но в России не было революции.

Социальная катастрофа перерастает в успешную социальную революцию лишь там, где власть переходит к другим общественным силам, где радикально меняются общественные и экономические

отношения. Но катастрофа советского режима привела Россию лишь к частичным, временным, косметическим переменам, помогавшим правящему классу удержаться. Перемены начал Горбачев, объявив гласность, допустив выборы не из одного кандидата, сняв ограничения на выезд за рубеж, прекратив войну в Афганистане, перемещая реальную власть из рук Политбюро и генсека КПСС, которым он был, в руки государства и его президента, которым он стал. Уже он говорил: «Мы живем в другой стране», хотя основа осталась прежней. Когда же путч партийно-государственной верхушки продемонстрировал зыбкость послаблений, руководители республик, и первым Президент РСФСР Ельцин, увидели случай освободиться от всевластия центра, тем более, что самостоятельность отвечала воле населения большинства республик, за вычетом разве что самой России, создавшей новый центр..

Российская федерация

Так сегодня называют нашу страну. Но федерация – это союз субъектов, самоуправляющихся единиц со своими конституциями и властями. Объединяясь они создают общую, федеральную Конституцию и федеральные власти. Федерация – это Соединенные Штаты Америки, это Федеративная Республика Германия. Советский Союз лишь формально, как состоявший из якобы самостоятельных союзных республик, на деле лишь в декабре 1991 ставших самостоятельными.

Российская федерация объявила своими субъектами механически провозглашены русские края и области, начертанные Сталиным для удобства управления, а также национальные автономии и округа. По Конституции федерацию составили 89 субъектов. Но лишь 15 могли себя прокормить и подкармливали остальных, которые не могли выжить самостоятельно. Отказ от группирования русских областей в 15-20 способных себя прокормить, исторических сложившихся краев сам по себе обрекал Российскую федерацию на унитарность. К тому же, новый президент заменил выборы губернаторов их назначением, и страна стала и по форме унитарна. Но по-прежнему зовется федерацией, подпирая названием иллюзию российской демократии.

Распад Советского Союза

Разделение Советского Союза зовут распадом, а Путин - величайшей в XX веке геополитической катастрофой. Наивно отрицать, что между входившими в Советский Союз землями разных народов, покоренных еще Российской империей или им самим, возникали многообразные и нередко плодотворные связи, порой вызывающие ностальгию. Но столь же нелепо отрицать, что Москва, Петербург, а потом советская Москва, попирали покоренные народы, и те, как могли, сопротивлялись, порой даже возлагая вину за унижения и обиды, причиненные русским государством, на русский народ.

Даже народы, некогда добровольно вошедшие в империю, ощутив ее власть, мечтали освободиться. В XVII веке Богдан Хмельницкий присоединил Украину к России, оговорив условия присоединения, но империя условия нарушила, в XVIII веке Екатерина II закрепостила

украинцев, прикрепила к земле, и Тарас Шевченко последними словами поносил Богдана. Грузия, присоединясь к России в поисках спасения от мусульманских империй, после 1917 года тоже попыталась вернуть самостоятельность, но и ее усмирили.

Незабываемы советские поголовные выселения народов, наполовину выморившие крымских татар, чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, калмыков и других участников великого союза народов, как ныне по прежнему величаю Россию. А в том и беда, что она никогда не был союзом, отчего, едва центральная власть ослабела и потеряла возможность удерживать «союзников» силой, кто мог уйти, уходил. Но и жалея, что он распался, многие его сторонники не жалеют, что Советский Союз не был союзом.

Единая и неделимая

Россия в сознании большинства людей и прежде и теперь в одном ряду с Италией и Англией, передовыми европейскими странами, а Москву и Петербург сопоставляют с Римом и Лондоном. Но Англия или Италия, когда обладали империями, были их метрополиями, отдельными от своих колоний странами. А Россия ею не была. Ездившие в Якутию или Бурятию, считали, что были в России. А ездившим в Индию или в Нигерию в голову не шло считать, что они были в Англии. Лишь в Британской империи. Россия тоже была империей, но завоеванные земли вбирала внутрь, силясь выглядеть единой и неделимой страной. О Советском Союзе и о нынешней России запросто говорят – наша необъятная Родина. А она не только наша, в ней много разных Родин.

Английские и итальянские колонизаторы были не милосердней русских. Но имелось важное различие. Британская, и даже итальянская, империи опирались на развитие капитализма, а Российская - на ужесточение феодального угнетения русского народа, на крепостное право, не случайно родившееся вместе с империей при Иване Грозном. Как ни худо было английскому рабочему, описанному Энгельсом, его положение улучшалось, да и было исходно лучше, чем в африканских колониях или Индии. О русском крепостном так не скажешь. Забранный в николаевские солдаты, он, видя, что грузины или латыши живут богаче, чем его деревня, не ощущал их добавочного бесправия. В «Хаджи-Мурате» Толстой запечатлел, как это сказывалось не только на горцах. От того, что русский народ тратил силы на усмирение других, он сам был покорней.

Сепаратизм противопоставляют неделимости страны. Но сепаратизм - это право на отдельность от сильного соседа, а рассуждения о целостности страны - прикрытие претензий этого соседа на захваты и его жажды держать захваченное. Тяга к захватам, прежде повсеместная, но слабеющая на западе, империи которого распались, у нас не утихла. Не только открытые мракобесы, но и лидер российских «демократов» Чубайс ратует за империю, которую именуется либеральной, хоть соединение этих слов - оксюморон, «либеральная империя» звучит так же странно, как «сухая вода» или «живой труп». Но российское государство не мыслит себя иначе как империей. Не то ведь и русские захотят жить, как люди. Вот и нужна война в Чечне.

Россия для русских

С чего бы такой призыв в огромной стране, где пятая часть населения – нерусские, а больше половины территории занимают национальные автономии? Только ли затем, чтобы гнать с рынков азербайджанцев, продающих товары, которые в России не растут? Об этом спорят, пишут о росте русского национализма. Вроде и похоже, но национализм какой-то странный. Националисты, конечно, и азербайджанцев, и таджиков, и прочих бить горазды, но обычно помнят о своих. Будь происходящее впрямь национальным движением, его первой заботой было бы право русских жить в России, за нынешними границами которой их осталось миллионов двадцать пять. Десятки тысяч демонстрантов стояли бы на площадях, требуя принять закон о возвращении, дающий этническим русским беспрепятственное право переезда в Россию на постоянное жительство и материальную помощь на это, как в Германии или Израиле. Но требуют не русских впустить, а нерусских изгнать, к тому же изгнать не только жителей бывших союзных республик, но и граждан Российской Федерации, тех же чеченцев, которым отказывают в праве на самоопределение и в то же время не желают терпеть за пределами Чечни, как выяснилось в Кондопоге.

Оказывается, то, что часто зовут русским национализмом – это не любовь к своему народу, а шовинизм, ненависть к другим, и цель его не защита русских людей и русских культурных ценностей, состоящая не только в открытии новодельных церквей, а защита империи, в которой русские, выдвигая из своей среды господ, царей, генсеков и президентов, в массе будут оставаться крепостными да пушечным мясом колониальных войн. Тут и дорога к национал-социализму. В его власти Германия, ранее с трудом создавшая национальное государство, кинулась покорять других. У России большой и давний опыт покорения других, уже с Ивана Грозного она не была русским государством. Чтобы им снова стать, не обязательно разрывать отношения с автономиями, надо лишь не стремиться любой ценой быть среди них первыми и главными, но быть равноправными, и не расовую чистоту русских беречь, а богатство и разнообразие русской культуры и русской жизни. Чуть забота о своем народе, любовь к нему, оборачивается желанием командовать другими, совершается переход от национальной любви к шовинистической ненависти, ведущей в тупик фашизма, агрессии и гибели. Нынче Россия от этого не застрахована.

Россия встает с колен

Говорят, Россия встает с колен. А после монгольского ига, когда Александру Невскому и другим русским князьям приблизиться к трону великого хана в Каракоруме дозволялось лишь ползком, она на коленях ни перед кем не стояла. Случались тяжкие времена, нелепая, а то и преступная, политика разоряла страну, как Иван Грозный приведший к Смутному времени, плохи были тогда внутренние дела, плохо их вели, но истоком зла были не внешние соперники. Советская система разоряла Россию, народ жил бедно, богатства уходили на производство

ненужных гор оружейного металлолома да содержание номенклатуры. Сельское хозяйство разорили до того, что бывшей кормилице Европы пришлось покупать хлеб за рубежом. Но и при Хрущеве, и при Брежневле, покупавших хлеб, страна не стояла на коленях, и нет причин считать Сталина, его не покупавшего, и коллективизацией доведшего страну в начале тридцатых до голода, большим патриотом, чем они. При Хрущеве и Брежневле Соединенные Штаты, Канада, Австралия хлеб нам продавали, при Горбачеве и Ельцине и они, и другие страны тоже продавали и давали многое взаймы, помогая вылезть из кризиса, к которому пришел советский строй. Разве воспользоваться помощью, если просчитался, означает встать на колени? И разве помочь – означает поставить на колени? Другое дело, как Россия этой помощью воспользовалась, преодолела ли советские порядки, наладила ли хозяйство. Этого, к сожалению, сказать нельзя. Мы живем ценами на нефть, даром небес, а получить подарок – не значит встать с колен. По валовому производству мы и сегодня, двадцать с лишним лет спустя, к докризисному уровню, в целом не вернулись.

Отчего же так охотно говорят о вставании с колен? Да оттого, что наша власть, как и советская, не хочет признать, что внутренняя жизнь страны, благосостояние ее граждан и ее развитие, важнее внешних отношений, если те не ведут к войне. А наша власть, и прежняя, и нынешняя, судит о положении страны не по внутренней жизни, а по внешнему почтению. Она гордится, если нас боятся. Мы и впрямь могли и сегодня еще можем спалить весь мир! Но какой в этом прок, если в том огне и Россия неминуемо сгорит? Вставание с колен отсчитывают с напугавшей весь мир речи нашего президента в Мюнхене. Теперь он и другие развивают ее мотивы. Но такие речи разве что укрепляют в иных державах заботу о том, чтобы своевременно нам ответить. Мы на коленях не стоим, но, цены у нас растут, и придется затягивать пояса, а они и на колени перед нами не становятся, и пояса не затягивают.

Советы и комитеты

Советы рождались как представительные органы самоуправления. Их предшественником и прообразом был деревенский сход, правивший напрямую. Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов возникали в революцию 1905 года и в Февральскую в 1917. Большевики, не имевшие там большинства в конце концов его добились, и, разгоняя Учредительное Собрание, указывали на Советы, как на народную власть. Вот они свою власть и звали потом не большевистской, не коммунистической, а советской.

Но, как многие новации, сперва имевшие смысл, Советы, а вместе с ними и Советская власть, стали формальными названиями. Власть принадлежала коммунистической партии, а Советы ее оформляли. Решения принимали партийные комитеты, и даже не весь их состав, а лишь руководители, а советы их лишь публично подтверждали. Важнейшие решения принимало Политбюро ЦК КПСС, а часто и лично товарищ Сталин, Генеральный Секретарь. Потом в Верховном совете СССР отдельно по палатам или на их совместном заседании

единогласно избранные депутаты от блока коммунистов с беспартийными единогласно за них голосовали. В республиках, кроме Российской Федеративной, где завести отдельную от общесоюзной партию опасались и спускали решения из ЦК КПСС, свои решения, помимо тоже спущенных из Москвы, принимали Бюро Республиканских ЦК и их Секретари, и, опять же, подтверждали единогласные Верховные Советы Республик. В краях и областях решали Бюро и Секретари Крайкомов и Обкомов и подтверждали Краевые и Областные Советы, в районах – Бюро и Секретари Райкомов и подтверждали Райсоветы. Комитеты и составляли истинную вертикаль власти, не обязанную оглядываться на Советы и, тем более, на их избирателей, а указующую тем и другим. Власть коммунистов была не советской, а комитетской, и на вертикали комитетской власти висел тоталитарный режим. Без комитетов и вертикальной подчиненности тоталитаризм терял стройность. Чуть впускали голос со стороны, хоть и бессильный изменить решение, он портил картину. В пору катастрофы пришлось таких вольнодумцев сперва терпеть, и, обращая их наглость себе на пользу, объяснять, что революция сменила тоталитарный режим на авторитарный, а это, дескать, совсем другое дело.

Суверенная демократия

Подобно тому, как комитетскую власть именовали советской, авторитарный режим стали звать демократией. Но выходит еще менее кругло. Не помяная древность, демократия в Европе заметна с XIII века. При ней властные решения принимает не единолично император, царь, король, президент, генеральный секретарь, и не комитет, пусть даже центральный, а представители разных общественных сил, разных участников единого общества. В XIII веке Англией правил король, сильны были бароны, но в парламент вошли и представители рыцарей и даже горожан. Далеко не сразу демократия стала держать людей за равноправных, голоса знати и богачей долго весили больше. Но уже тогда голоса не знатных и не богатых, хоть и слабей, все равно звучали, и приходилось их тоже учитывать.

Демократия стала и осталась не чем иным, как формой социального компромисса. Она позволила не начинать чуть что гражданские войны, а сопоставив разные нужды, требования, возможности, средства, силы, принять решения, не то, что радостные для всех, но терпимые, никого заведомо не обрекающие на гибель, то есть, поддерживающие благосостояние и развитие общества, с согласия и под контролем его разных участников.

Тоталитарная, авторитарная, комитетская власть, напротив, стоит на утверждении своей воли, что бы ни думали другие. И, если обстоятельства, а точнее сказать, интересы или приличия, ее вынуждают выглядеть демократией, она заводит управляемую демократию, то есть именно такую, какой была советская демократия, в которой комитеты управляли советами, существовавшими для проформы. Иные считают эпитет «управляемая» стыдным, поскольку демократии надлежит самоуправление. Они предпочитают академичное выражение «имитационная демократия». Но третьи ни в коем случае

не хотят следовать чужим образцам, даже для вида. У нас, говорят они, свои понятия о демократии, английский парламент и граф де Монфор, его создавший, нам не указ. Наши понятия о демократии ни от кого не зависят, они суверенны, и демократия у нас тоже суверенная.

Слово это происходит от французского «суверен», означающего «независимый верховный правитель» и обретшего нынешнее значение в 16 веке. Но тогда же, если не раньше, и в русском языке возникло подобное слово, и странно, что Сурков, так пекущийся о нашей самобытности, что и демократию объявил «суверенной», забыл слово «самодержец». А оно тоже означает ни от кого не зависящего верховного правителя, и ради патриотизма, нашу демократию надо бы называть самодержавной, а можно тоталитарной, авторитарной, комитетской. Смысл уцелеет.

Разделение властей

Демократия существует лишь там, где не только учитываются интересы всех участников общества, но их учет осуществляет демократическая власть. Демократическая означает не самодержавная, не абсолютная, не сосредоточенная в единых руках. Наименование «самодержец» для великого князя или царя возникло обозначая независимость от других держав. Иван Третий, не говоря о киевских князьях, после стояния на Угре держал свою власть не от ордынского хана, а правил сам по себе. Это было рождение нашей страны, как независимой. «Самодержавный» значило -- независимый от других держав. Но очень скоро, уже при внуке Ивана Третьего, Иване Грозном, это слово обрело новое, внутреннее значение. Самодержец стал независим и от российских граждан и, более того, все они стали кругом зависимы от него, царь обладал абсолютной властью. В России она длилась непомерно долго, что и было причиной почти всех ее бед. Чтобы их избежать, нельзя допускать абсолютной власти, и демократия жива тем, что ее разделяет.

Традиция знает власть представительную, исполнительную и судебную. Представительная обычно издает законы, не слишком вступая в текущее управление. Исполнительная правит в рамках законов представительной власти, и судебных решений по спорам. Независимый суд разбирает споры граждан с властью и между собой. Такое разделение властей придает жизни стабильность. Люди и власть сознают последствия своих действий, и это сдерживает произвол.

В Российской империи суд лишь недолгое время, после реформ Александра II был достаточно независимым. Представительная власть Государственной Думы, возникшей уже в XX веке, была сугубо совещательной, ее решения царь мог отменять. Царская власть, законодательная и исполнительная разом, была практически неограниченной. Советская комитетская тоже, да и советский суд, выполнял ее волю безоговорочно. В новой России уже Конституция возвышает президента, формально являющегося лишь ее гарантом, но на деле сосредотачивающего в своих руках всю полноту нераздельной власти, фактически над всеми властями, и над правительством и над Думой, да и над судом. Его власть по объему не уступает царской, до Александра II. Разделения властей по-прежнему нет.

Между тем, разделение единой вертикали власти на три вертикальных ветви – лишь половина необходимого, чтобы обеспечить свободу и правосудие. Необходимо разделение власти и меж разными ее этапами, обеспечивающее, в рамках общих законов страны, самоуправление каждого уровня. Местная власть в своих пределах, юридических и финансовых, призвана, выражая интересы граждан, решать местные проблемы и, если она не нарушает закон, вмешательство сверху в ее действия на подведомственной ей территории без ее согласия допустимо лишь в чрезвычайных, наперед оговоренных обстоятельствах. Совершенно так же должна быть самостоятельна и зависима лишь от общих законов и своих избирателей власть каждого субъекта Федерации, распространяющаяся на общие для этого субъекта дела. И точно так же общегосударственная власть, законодательная – Думы и исполнительная - Президента и правительства, должна принимать лишь общие для всей страны решения, а особые действия в том или ином конкретном субъекте федерации не должны проводиться в жизнь без его согласия. Ничего подобного такому разделению уровней власти в России не существует, права местной власти и властей субъектов федерации уже в Конституции определены расплывчато. Но и они непрерывно ужимаются. Губернаторы и президенты субъектов федерации, не забудем, уже не избираются на всенародных выборах, а назначаются Президентом России, что на деле обращает федерацию в унитарную диктатуру.

Никому не стыдно, что ни вертикального, ни горизонтального разделения властей у нас нет. В отличие от других примет демократии его даже не слишком имитируют. Нет, и нет! Мы во всем дорожим единством, забыв, что оно – первая примета фашизма, и, подобно ему, первую примету демократии, - открытую разногласицу, именуем хаосом и презираем.

Рейтинг Путина

По всем данным рейтинг президента Путина перевалил за 80%. Объясняют это, кто – его достоинствами, кто - покорностью социологических контор. А на деле у Путина никакого рейтинга нет, ни высокого, ни низкого, как не было его у блока коммунистов с беспартийными, собиравшего 99,99% голосов, но при выборах из одного. Рейтинг – знак успеха в соперничестве. У бога нет рейтинга, он не соперник ни Иисусу, ни святому духу, они - не другие боги, а его ипостаси. Рейтинг явится, если сопоставлять с Аллахом, считать, кого больше, христиан или мусульман. Говорят, правда, что и Аллах – все тот же бог библии, и сам себе не соперник, и рейтинга, выходит, нет.

То же и с Путиным. Достоинства его известны, он – человек не глупый, соображает быстро, окончил Университет, учась там очно, а не заочно, знает иностранные языки, не стар, физически здоров, не пьяница. Недостатки у него тоже есть и тоже известны. Но не его достоинства и не его недостатки сделали его Президентом России. Никаких усилий он для этого не прилагал, популярности не искал. Ельцин, чтобы стать президентом, очень старался, и рисковал, и на жертвы шел, и выиграл это место. А Путин, говорят, сперва даже

отказывался. А в президенты вышел потому, что Ельцин ему обеспечил избрание, назначил премьером, и ушел в отставку. Путин, никому прежде неведомый, стал и.о. президента и избирался на должность, уже ее занимая. Поскольку человек он не глупый, соображает, не стар, не пьет, вот и выбрали. Трудно сказать, выбрали ли бы, баллотировался он еще не будучи президентом, а в прежней должности главы ФСБ, да еще соперничай, скажем, с генералом Лебедем и даже с академиком Примаковым. Ни тогда, ни потом, диспутов с другими возможными претендентами, ни с Зюгановым, ни с Явлинским, ни с кем другим, он не вел. А тогда был бы рейтинг, и трудно сказать так ли был бы высок.

Искусственный рейтинг заоблачной высоты, конечно, сбивает избирателей с толку, и они вторично проголосовали за Путина, а надо будет, и третий, и четвертый раз радостно проголосуют. Но это не просто личное коварство. Он ведь выступает не сам по себе, как независимый гражданин, а как бог из машины, которого политическая машина подняла и вбросила. Совершенно так же, как прежде выдвигала Генеральных секретарей. Конечно, напоследок в Политбюро многие понимали, что кризис, и хорошо бы иметь человека, способного вертеться, а таких среди них было немного, в сущности, один Горбачев. Он тоже не плошал, уступил Громыко почетный пост главы государства, и стал первым.

В 1998 году второй срок Ельцина шел к концу, популярность падала, а тут опять кризис, дефолт, обнаживший фальшь реформ. Номенклатура, удержав власть и не допустив в конце 1991 революции, решила вернуться и власти силовых органов, к сильной руке. Бог ведь, как выяснялись отношения, как выбирались кандидаты, почему отвергались, добровольно ли Ельцин отдавал власть, как выторговывал себе гарантии. Путин не плошал, но выглядел пассивно, Волошина оставил, Касьянова премьером поставил, и другие, свои обещания выполнил. А тут цены на нефть, упавшие при Горбачеве, вынудив к перестройке, опять взлетели, помогая возродить былое.

У Путина нет нового политического курса и программы, он - воплощает прямоту власти КГБ, прежде действовавшего под некоторым контролем коммунистической верхушки. Он следует комитетским традициям, но без идеологических маскировок и занавесов. Он - равнодействующая Иванова, Сечина, Патрушева, Черкесова, и прочих, которые не хуже и не лучше его, если учились в школе КГБ не менее усердно, да если нефть устоит. Вот и обсуждают не судьбу страны, а кого Путин выберет преемником. Разницы нет, поскольку рейтинг Путина - это общий рейтинг чекистов, спрятавших партбилеты.

Власть и владение

Говорят, хорош Путин или плох, пришла в Россию демократия или нет, а капитализм там установился. Но и это - легенда.

Само по себе товарно-денежное обращение - не знак капиталистического строя. Его формы использовали в СССР. А капитализм - это экономическая свобода, рыночная конкуренция и наемный труд. Его наличие выдает поведение власти. Если она, в экономическую деятельность не слишком вступая, регулирует

финансы и охраняет независимость суда, если власть и владение разделены, - это капитализм, экономический порядок. Если же вотчинами и поместьями владеют феодальные правители, или на теплых местах номенклатура кормится из государственного котла, или государство разоряет своевольных «капиталистов», которых само назначило, полагаясь на их послушание, и передает их имущество более доверенным лицам, это – внеэкономическая власть, не столь важно, зовут ее феодальной или социалистической. Гусинский, Березовский, Ходорковский, сочли себя Рокфеллерами, вот Путин их и «поправил».

У капиталиста потому и **частная** собственность, что его позиция – **частная**, он – действует сам за себя, на свой страх и риск. Разумеется, государство тоже может завести завод, но на свой страх и риск, на общих началах, не претендуя на особые права его продукции в товарно-денежном обращении. А чуть претендует, капитализм кончается и начинается социализм, будь это хоть в самой разбуржуазной Америке. В России именно это и происходит, частное тут не имеет прав. Даже в общественной жизни неправительственным организациям места нет. Чтобы они общались с иностранцами, да еще деньги от них получали, хоть бы и на благотворительность, требуется особое разрешение. Но и в чисто хозяйственной сфере положение не лучше. Коррупция, о которой все говорят, а она слушает да ест, в России не просто плод развращенности чиновников, а способ регулирования псевдо-частного хозяйствования, его удержания в круговой зависимости от государства. Организация российского хозяйства под номенклатурой изменялась и сразу после 1917 года, и в 1921 при установлении НЭПа, и с 1929, после его ликвидации, и во время хрущевских реформ и во время косыгинской, и, конечно, при Ельцине и Чубайсе, но государство осталось ее законодателем, хозяином и судьей одновременно. Характерно, что современный российский «капитализм» возник сразу в виде нескольких десятков крупных концернов и несообразно малого числа средних и мелких предприятий, тогда как история реального капитализма шла в обратном направлении, и могучие концерны увенчивали его развитие.

Мифология российского капитализма полна мифологических историй, за привычными названиями скрывающих не то, что ими обычно обозначают. Если на западе понятие «средний класс» подразумевает широкий слой людей, обладающих относительно независимыми источниками существования, то в России его сводят к людям с повышенной зарплатой, то есть, сотрудникам псевдо-капиталистических предприятий да чиновничеству, но люди с высокими зарплатами были и в СССР, а среднего класса, как социального явления, не было.

Любопытно, что рассуждая о демографии и, в частности, о падении в России рождаемости, сокращении населения и нехватке дешевой рабочей силы, российские власти не берут во внимание, что при капиталистическом строе население сокращается всюду, кроме Соединенных Штатов, а мигрантов используют, даже Соединенные Штаты. А о том, что в России, в отличие от остальных, непомерна смертность мужчин, не доживающих обычно до пенсии, говорят нехотя и сводят ее к пьянству, хотя в ее основе - хищническое обращение с мужской рабочей силой, жестокость в армии, обилие заключенных, по преимуществу тоже мужчин, и весь порядок российской жизни. На что

еще полвека назад указал видный демограф Урланис в знаменитой статье «Берегите мужчин!» Но власти рост рождаемости заботит больше, чем продолжительность жизни: новые поколения работают и рано умирают, и пенсию можно никому не платить. Большое удобство!

Не осознав, что Россия все еще страна внеэкономического хозяйства, нельзя понять живучесть ее тоталитарного строя, в пору кризиса на время «смягчившегося» до авторитарного, Но не угадать, что сулит ей будущее, а без этого не уразуметь, что грозит ей, и чем грозит она.

Равнодушный народ

Более, чем когда-либо, распространились утверждения, что такого порядка и хочет народ России, и, прежде всего, русский народ. Одни подобострастно ссылаются на его исконный монархизм, другие, высокомерно, - на непреодоленный груз крепостного права, одни - русофилы, другие - русофобы, но их практические позиции не очень разнятся. Они стоят на том, что народ к политике равнодушен, и решать за него, как всегда, ныне, - как сперва дворяне, а потом номенклатура, - должна самозванная «элита». Народ, говорят они, хочет не политики, а еды и крыши над головой. Народ и впрямь вроде безмолвствует, на марши да митинги собирается много, если тысячи две, а то и пятьсот и даже двести человек. Где тут вспоминать, что, когда в Москву ввели войска, на улицы вышел чуть не миллион.

Народ России умен, поскольку учен, не зря считает, что за битого двух небитых дают. Он знает, что наша власть ни дубинками не брезгает, ни пулями, и подставляться не хочет, и правильно делает. Он видит, что правящие партии, из которых предлагают нынче выбирать, - и при коллективизации, и в дружбе с Гитлером, и на Колыме, и в Будапеште, и много где и в чем, практически показывают, чего от них ждать, - это обычно пустые муляжи все тех же коммунистов. Возникают правда, и честные партии вроде «Яблока», но они слабы, и к борьбе с КГБ не готовы. За них голосуют, показывая, что не приемлют нынешнюю власть, и это правильно, но большинство им не собрать.

Мужик не перекрестится, пока не грянет гром, но власть все же нервничает, ощущая, что может и грянуть, - не только могут упасть цены на нефть, но и цены на продовольствие растут на ровном месте. Внутренние законы внеэкономического хозяйства еще темней рыночной стихии и совсем плохо предсказуемы. Но русскому народу присуще не одно без усталости воспеваемое терпение, а и способность, когда грянет гром, не только перекреститься, но и кинуться вперед, о чем, полагаясь на терпение, забывают. Забыл Николай II, забыли Ленин и Сталин, забыл Брежнев, забыли Янаев с товарищами, еще помнит Путин. Бог весть, чем это кончится, но и Путин не вечен

Афиши и вывески

Россия опять сбилась. Вместо гласности - монополия государства на информацию, вместо свидетельств и фактов - выдумки и ложные понятия. Вывески вводят в заблуждение. Говорят, как бы о России, но словно не о ней. Опять правят ее историю, не мирясь с тем, что, как во

всякой, в ней было разное. Опять исходят из мнимых ценностей, забывая о правах на свободу, благосостояние и развитие. Но история России не кончилась и не скоро, надеюсь, кончится. Она выживет, но переменится. Хотелось бы надеяться, к лучшему.

КТО ГРОЗИТ НАЦИЗМОМ?

Март 2007

За выставку в музее Сахарова, составленную Ерофеевым с согласия директора Самодурова, обоих обвинили в разжигании национальной и религиозной розни. С национальной рознью вышло не кругло. Предупредить ее разжигание у нас всегда полезно, очень уж пылко ее разжигают, но Ерофеев и Самодуров тут не при чем. Обвинение их в русофобстве нелепо не так даже тем, что они сами русские, как тем, что отношение к православию, каким его у них ни сочти, не предопределяет отношения к русским. Не все русские – православные, не говоря уже, что не все православные – русские. Православие – вера вселенская, а не национальная. Это вера христианская, для которой «нет ни эллина, ни иудея, но все и во всем Христос», а не национал-христианская, в которую в России ее давно норовят обратить. Тут суд и пособлявшие ему православные активисты просто заврались.

Иное дело – рознь религиозная. Рознь, по-русски, - это различие, несогласие, неприязнь, нередко - вражда, ссора. Религиозная рознь, религиозная вражда, даже только неприязнь на религиозной почве, особенно учитывая, что религия – дело не одного разума, но и чувства, отравляет атмосферу. Есть тысячи религий, а было еще больше, и последователи каждой искони считают верной свою и неверными другие. Мировые религии с миллиардами приверженцев, как христианство или ислам, расколоты и полны внутренней вражды меж католиками, православными и протестантами или суннитами и шиитами. Неверующие считают неверной всякую веру, а верующие – всякое неверие. Если существование одной нации не задевает существования другой, пока не возникли реальные, обычно социальные противоречия, то утверждение «бога нет» оскорбляет чувства тех, кто ежедневно ему молится. Рознь разжигают и утверждение Рима, что святой дух исходит и от бога-отца и от бога-сына, и утверждение Византии, разделенное Москвой, что он исходит лишь от отца. И много таких размолвок, иначе, как кострами и войнами не решавшихся.

Меж атеистами не меньше розни, чем меж верующими. Часто светские идеологии, подобно религиозным, тоже объявляют себя единственно верными и, запрещая все другие, насаждают единомыслие. «Единственно-правильным» атеизмом числят так называемый «марксизм-ленинизм», противопоставший свободомыслию, как безбожная религия, где бога замещает вождь.

Но, по мере роста людского общения, спасение от всеобщей идейной вражды вроде нашли. Согласились, что живому свойственны различия, разные представления о мире и боге, о том, как следует жить и как умирать, - и это естественно. Единственная возможность достичь мирного сосуществования, - не только меж народами и странами, но внутри одной деревни, - признать за каждым право жить, думать и

верить по-своему, и на общей улице строить отдельные храмы разным богам, и молиться своему, не мешая другим.

Так постепенно и установивалось. Даже в Российской империи, где церковь не была отделена от государства, и государство часто дискриминировало неправославных, все же в столице, наряду с православными храмами, имелись и католический, и монофизитский, и синагога, и мечеть, и буддийский дацан. При советской власти большинство их, включая православные, позакрывали. Но советская власть еще злее преследовала светские мировоззрения, отличные от своего. Марксизм-ленинизм, то и дело уточнявшийся ЦК КПСС, был единственно дозволенным. Великий перелом положил конец равноправным дискуссиям с другими мировоззрениями. Тем более, не могло быть и речи о каких-нибудь кружках почитателей Декарта, Канта или Вебера. Иного от тоталитарного государства ждать было и нельзя. Никаких самовольных выставок, понятно, быть не могло.

И вот, вроде, стало иначе, выставку устроить можно. Но, права быть отдельным храмом, верить не так, как в других или вовсе не верить, и считать величайшими художниками не Тициана, Веласкеса и Рембрандта, даже не Сезанна и Пикассо, а кого-то подобной славы не обретшего, да и не заслуживающего, не вполне дозволено. Ерофеева и Самодурова, выставивших картины, не пришедшиеся некоторым пришедшим по вкусу, предали суду и осудили. Не учли, что выставку устроили в музее, в «отдельном храме», куда людям иной веры ходить не обязательно. Не учли, что картины там можно было видеть только индивидуально, через глазок, от всеобщего обозрения их прикрыли, и желавших поглядеть предостерегали, что картины могут уязвить религиозные чувства.

Ново здесь разве то, что неприкосновенным объявили не многократно правленое учение марксизма-ленинизма, а старое православие. Да еще то, что в советские времена нарушителей идейного порядка брали на цугундер так называемые правоохранительные органы, сметавшие бульдозерами выставки живописи под открытым небом. А нынче православные активисты, чтобы не сказать боевики, свободно вламываются в отдельный светский храм, срывают и топчут картины, и, в отличие от устроителей выставки, не несут никакого наказания. Положительная сторона происшедшего в том, что, устраивая суд и налагая штраф за организацию выставки, государство показало свое лицо. Бог знает, удачна ли выставка и хороший ли у Ерофеева вкус, что было интересно сперва, но любопытно, что в нашей стране штрафы, не говоря о трех годах заключения, испрошенных государственным прокурором, стали методами художественной жизни.

Казалось, европейская цивилизация в этом разобралась. Разные стили и направления искусства, разные политические взгляды, там сосуществуют. Даже призывы к насильственному переустройству мира и отношений в нем там не наказуемы, за вычетом разве конкретных призывов к конкретным убийствам. Деятнадцатый век жил иллюзией, что вместе с цивилизацией повсеместно установится терпимость. Но в XX веке тоталитарные режимы России, Германии и других стран отвергли сложившуюся в ходе Реформации, Просвещения и развития

капитализма европейскую цивилизацию. Потом вышли на политическую арену сбросившие колониальную зависимость страны, тоже нередко тяготеющие к тоталитаризму. Иллюзия нарастания терпимости рухнула. Не только у нас, не только потому, что наш еще не исчерпавшийся тоталитаризм претендует на исключительное господство над умами.

В европейских странах, где говорить и рисовать дозволено все, где публикуют карикатуры на богов и правителей, не исключая основателя христианства, исповедуемого большинством тамошних верующих, карикатуры на пророка Магомета вызывали в ответ убийства. Учитывая, что карикатуры на Иисуса из Назарета там дозволены, нельзя не понять, что убийцы, выступающие от имени мусульман, хотят для своей веры, даже там, где мусульмане не составляют большинства, исключительного положения. Его, конечно, хотят не все мусульмане Европы, многим тамшнее равноправие, которого в большинстве мусульманских стран нет, как раз по душе. Но есть, как видим, и такие, кому его недостаточно. Вот и у нас, оказывается, есть -- не мусульмане, а православные, но тоже не спрашивающие мнения хотя бы большинства православных, - но жаждущие осудить и пожесточе наказать Ерофеева и Самодурова.

Различие лишь в том, что в Европе так действуют отдельные экстремисты, а у нас государство. Самодурова и Ерофеева не убили из-за угла, не избили, - их судил государственный суд, их обвиняла государственная прокуратура. Суд над ними, если высшая судебная власть не отменит приговор и не оправдает осужденных, потому и станет вехой в развитии России после 1991 года, что введенная тогда власть едва ли не впервые так прямо явила свой экстремистский характер в нематериальной сфере, претендуя идеологически контролировать духовную жизнь, включая искусство, и, тем самым, снова сделала государство идеологическим.

Разумеется, формы воздействия идеологии на жизнь теперь иные, чем при коммунистах. Используя православие, как идеологию, власть не заботится о строгом соблюдении его утвердившейся в России никонианской формы и даже прилаженного к советскому строю сергианского варианта. Но и наш марксизм-ленинизм ушел от Маркса довольно далеко. Его надежду, что при социализме и коммунизме рабочие будут сами управлять своей фабрикой или заводом, а не слепо выполнять указания свыше, коммунисты начисто игнорировали. Но тоталитарной власти не столь важно теоретическое содержание идеологии, как ее ритуальное соблюдение гражданами, при сохранении за администрацией идеологию, где надо, ее уточнять.

Там, где у власти сменяются партии разных политических тенденций и мировоззрений, единая идеология невозможна, да в ней и нет нужды. Но тоталитарной власти без идеологии никак. Все ведь знают, что выборы, которыми она мотивирует свое правление, заведомо фальсифицированы, да и условия участия в них разных кандидатов не равны. А идеология придает тоталитарной власти легитимный вид, хотя правящий класс установил и держит эту власть отнюдь не по народному волеизъявлению, а силой и ложью. Так держалась советская власть, так держится нынешняя, отвечающая насилием даже на робкие попытки безоружного протеста. Царская власть тоже опиралась на силу и ложь,

но традиционность позволяла ей лавировать, и лишь полная неспособность учесть объективную реальность, какую она проявила в XX веке, привела к крушению.

Советская тоталитарная власть, в отличие от царской, оправдывалась не традицией, а целями, которые провозглашала и достигала сугубо волюнтаристским путем. Беда не в том, что эти цели были дурны. Декрет о земле и Декларация прав народов России, провозглашенные Лениным, едва он захватил власть, были самыми насущными тогда для России требованиями, насущными, кстати, и по сей день. Бедой было то, что эти и другие, необходимые народам России задачи Ленин решал без участия миллионов людей, составлявших эти народы, оставляя им роли слепых исполнителей. Большевики, и Ленин – первый, понимали социальную жизнь технологически. Он потому, в отличие от Маркса, и считал, что для социалистической революции не существенна мера развития капитализма, мыслившегося им как наращивание богатства, а не изменения отношений между людьми. Вот он и думал, что можно, взяв власть, наверстать технологическое отставание и войти в социализм обходным путем. Он не видел, что развитие общества возможно лишь путем общественного развития. При ошибках Маркса в трактовке капиталистических отношений и общей утопичности его проекта российский коммунизм был несбыточен. Но, что исходные благие пожелания Ленина не просто провалились, а стали дорогой в ад, виноват не Маркс, а волюнтаристский ленинский социальный технологизм. Коммунисты не умерили имперский гнет, а его ожесточили. Особенно после 1929 года. Иначе было не продолжить ленинский курс. Где им требовалось, они меняли порядки административно, не озираясь на общественную жизнь, которой и не допускали.

Банкротство советского порядка в восьмидесятые требовало существенных шагов. Власть могла административно позволить гражданам, индивидуально или нанимая работников, хозяйствовать на экономических началах, законодательно обговорив условия хозяйствования и защиту рискующих. Власть могла бы действовать и радикальней, но лишь сознавая, что одного административного усердия недостаточно. Было наперед ясно, что глубокие реформы станут ощутимы для каждого и потребуют глубокой ломки сознания. Но, взявшись за них, Ельцин и его помощники не сочли нужным внятно рассказать населению, что произошло с советским хозяйством и почему, и в каком оно состоянии, и какие меры по мнению власти необходимы. Не было и речи, о том, чтобы спросить, что думает население о новых предложенных формах хозяйствования. А в ходе реформ каждый нес огромные потери, не только в виде аннулированных денежных накоплений, облигаций и прочего. Не только пожилые, но люди среднего возраста, имеющие детей, теряли свое место в жизни и не получали поддержки в обретении нового, иного. Но не только Ельцин и его соратники, оставили у большинства недобрую память. Они выступали под знаменами либерализма и демократии, хоть ни с тем, ни с другим не имели ничего общего, лишь заимствовали их фразеологию. Но население, приняв названия мероприятий за чистую монету, разочаровалось в либерализме и демократии, на которое при Горбачеве

надеялось. Падение уровня жизни большинства, не только реабилитировало в его глазах советский порядок, но стало новой опорой все еще царившего в умах советского образа мыслей. В результате преобразование социально-экономических отношений в стране стало еще более сложной задачей, чем в начале девяностых.

Роспуск СССР ослабил советскую империю, но не настолько, чтобы она перестала подрывать развитие живущих в ней народов, начиная с русского в Российской Федерации. Даниил Коцюбинский указал на парадоксальность того, что Путина, всеми силами удерживающего целостность этого малого СССР, а где удастся, примысливающего отпавшие куски, оппозиция винит вовсе не в том, что он укрепляет этим имперский произвол, а в том, что своей политикой сам подрывает целостность. Понятно, что отвлекаясь от традиционной у нас связи укрепления империи и угнетения населения, оппозиция символическими жестами ничего добиться не в силах. Коцюбинский клеймит ее никчемность и, как ключевой в борьбе за свободу России предлагает лозунг: «Свободу Чечне!».

Лозунг честный, особенно, если вспомнить, что войны против Чечни как раз и крепили авторитарный порядок. Но, увы, Россия на этот лозунг не откликнулась ни в ельцинскую, ни в путинскую пору. На войне гибли русские солдаты, а русское население ей не противилось, и не одни Шаманов и Буданов, а подручный Ельцина, числимый либералом Чубайс, еще громче возглашал: «В Чечне возрождается наша армия». Коцюбинский прав, полагая, что народу Путин кажется спасителем великой державы от распада. Но нет объяснения, почему народным сознанием упущена взаимозависимость державной тоталитарной системы и массовой нищеты и несправия.

Империя у нас понимают как покорение других. Англичане покорили Индию и Северную Америку. Русские - Сибирь, Среднюю Азию и Кавказ. Надо покорять, мы не хуже англичан! Да только их империя росла при освобождении от феодальных зависимостей, а наша - с их нарастанием и укреплением. Можно сказать, что Российская империя покорила не только Сибирь, но и русский народ, а о Британской такого не скажешь. Запоздалое освобождение крестьян без земли большинству их не дало выхода из бедности, и они поддержали Ленина, установившего власть, вскоре раздавившую крестьянство коллективизацией и колхозным крепостничеством. И, как прадеды не связывали геройство в колониальных войнах царей с рабским унижением дома, так и советские люди не связали собственное несправие с Афганистаном, и свое нынешнее положение с Чечней. Такую связь и до 17 года, и теперь, сознавали не в народе. И мой лозунг: «За добровольную Россию!» не столь, вроде, резкий, как у Коцюбинского, массовое сознание тоже не подхватывает.

Нынешняя тяга к целостности, стремление удержать колонии, растет из положения русских во внутренней «империи», какую составляют, хоть и не обозначенные границами, земли их жительства, где у тех самых русских, именем, руками и жизнями которых держат внешнюю колониальную империю, не сильно больше прав и достатка, чем у колониальных народов. В прежние времена такое положение

официально закреплялось крепостным состоянием более половины русских, а после 1929 года колхозным строем.

Колониальные народы воспринимали свое тяжелое положение как плод власти русских, оттого и росла русофобия. Украинцы, - при том, что голодомор прошел не по одним украинским, но и по русским землям, - понимают, что отделись Украина в 1917 году от России, на Украине его бы не было. А у русских нет общего осмысленного объяснения ужаса жизни подавляющего большинства под властью коммунистов, хотя именно они этот ужас создали. Сталинские преступления, осужденные уже Хрущевым, еще продолжают официально осуждать, но ни при Ельцине, ни потом, общество не вникло в национальную катастрофу, к которой привели коммунисты, не вдумалось в ее корни, не осознало на каких путях есть надежда преодолеть ее последствия. Даже суд над КПСС был жалким, ее преступный характер не разоблачен, и она продолжает свою деятельность под схожим названием. А главное преступление коммунистов – отчуждение населения от хозяйственной деятельности, подчиненной интересам государства и правящего класса, взявшего несменяемую власть, в России даже не обсуждается.

А нынешние бедствия коренятся в нем. Это, прежде всего, тупиковое положение русского народа, потому и продолжающего цепляться за целостность империи, обрекающей его на всё новые раны, подобные которым отделившиеся республики уже залечивают, а надеющиеся отделиться имеют шансы залечить. Распад империи всюду болезнен, но не всегда столь тяжок для бывшего имперского народа. Британия после 1945 года утратила большинство колоний, но сохранила уровень жизни и положение среди ведущих держав, даже связи с бывшими колониями. Это удалось потому, что ее хозяйство и в колониальную пору и после нее продолжало развиваться, стояло на собственных ногах и само себя кормило. Так устоять, выйдя из режима коммунистической империи, русские не могли уже потому, что не было даже русского национального государства, которое объединило бы земли проживания русских. Потому Ельцин и схватился за предложения Гайдара и Чубайса, позволявшие без коренных политических перемен удержать малый СССР, свалив оплату сохранения его целостности на население.

Но одно появление в магазинах товаров не могло изменить самоощущение людей, поскольку несообразность цен и получаемых зарплат даже по сравнению с советскими годами не сильно упала. Лишь рост цен на нефть и газ на мировом рынке, сказавшись на ценах и зарплатах немалого числа жителей России, примирил их с положением в стране. Это произошло уже при Путине, укрепившемся этим, хоть цены на мировых рынках не от него зависели. Но этим укрепилось и стремление власти сберечь целостность старой страны и вернуть бывшие республики, что и позволило войти еще и в Грузию. Нефть, и газ и другое сырье, которым Россия стала жить, добывали не в Москве, и не на землях жительства русских, потому от богатых сырьем земель ни власть, ни оппозиция, ни население и не отказались, предпочтя войны.

Ни здравый смысл, ни опыт Британии, Франции и других бывших колониальных держав, не подсказал Путину, а до него Ельцину, что Россия нуждается в хозяйственном репрофилировании, в создании новой инфраструктуры, в развитии конкурентоспособных производств, в

смене сугубо военной ориентации промышленности на гражданскую. За двадцать без малого лет ничего в этом направлении не сделано, а это вывело бы массы русских из ощущения круговой зависимости от патерналистского попечения государства. Такого освобождения правящий класс, не просто Путин, не просто Ельцин, и не хотел, почему и уклонялся от радикального реперофиллирования страны и прежде всего земель жительство русских, где и сельское хозяйство надо реперофиллировать. Объективно это была анти-русская политика, и, ощущая это, многие выступают против Путина и нынешнего правящего класса, в большинстве состоящего из русских, как крайние шовинисты. Парадокс, однако, в том, что и правящий класс, ставя целостность империи выше развития страны, настроен националистически, хоть не столь же четко.

Шовинисты часто именуют нынешний режим оккупационным. Но будь оно так, оккупирующая держава, во-первых, взяла бы на себя хоть часть забот о местном населении, как американцы еще в 1945 в Германии, а ныне в Ираке и Афганистане. А во-вторых, на родине оккупантов, как нынче в США, требовали бы вернуть войска домой. Ни того, ни другого, нет. То-то и оно, захватчики у нас свои, строящие свое будущее на порабощении братьев и соседей. Это не просто пьяница Ельцин с шестерками от Чубайса до Путина, а мощный правящий класс, во многом продолживший прежнюю номенклатуру, и не видящий для себя перспективы более благоприятной. Он легко сбросил советские значки, нацепил новые, но мало переменялся, разве что стал чуть откровенней. Смешны рассуждения о различии и даже соперничестве Медведева и Путина, сулящем перемены. Советские вожди менялись, а режим не слишком. Горбачева толкнул к переменам небывалый хозяйственный кризис. Но судьбы страны опять определяется в номенклатурных небесах.

При власти сидящей на штыках частные инициативы разного толка примечательны лишь государственной, а порой и массовой, реакцией на них. Блестящий политический ход Лимонова, - выходы на Триумфальную по 31 числам в знак защиты 31 статьи Конституции (права собраний), - которому, как к Лимонову не относиться, нельзя не сочувствовать, любопытен неумением власти политически отвечать на политические вызовы. Мало того, что наша власть не допускает политики, она к ней не способна, и не понимает, что своим упрямством, демонстрирует именно эту неспособность. Но кроме избиений или реконструкции площади, ничего не может выдумать.

Она двусмысленно себя показала и в казусе «покушение на Чубайса». Дважды обвиняла полковника Квачкова и других, а суд присяжных дважды их оправдывал. В последний раз, признав факты покушения и изготовления бомб имевшими место, но отказавшись признать их делом рук обвиняемых. Открыто выраженным мотивом отказа, поддержанного множеством демонстрантов у здания суда и писем в интернете, оказалось участие Чубайса в ельцинских мероприятиях. Ничто, вроде, не мешает обратиться в суд или прокуратуру за выяснением, были ли те действия Чубайса преступными и, если были, назначить ему наказание. Будь у нас всамделишний суд, Чубайса, возможно, могли бы посадить, но и Квачков угодил бы в

соседнюю камеру, поскольку, виновен Чубайс или нет, инициативная расправа без суда, даже с преступником, по российским законам - преступление. Но по мнению огромного числа граждан – это убийство по совести, то самое, которое у Достоевского совершил Раскольников, то самое, к которому призывали миллионы во время процессов 1937-38 годов, вопя: «растрелллять, как бешенных собак!» Как видим, сознание немалой части сограждан все еще революционное, «советское».

Но ни президент, ни премьер-министр, оба дипломированные юристы, не разъясняют согражданам отношений преступления и наказания, не указывают, что даже смертная казнь именем государства, у нас теперь вне закона. Что государство не может допустить произвольных убийств ни чиновников, ни частных лиц. Возможно, Медведев и Путин в молодости читали фантастический рассказ писателя-диссидента Ю.Даниеля «Говорит Москва», повествующий об установлении в советской стране «Дня открытых убийств». Можно бы разъяснить согражданам, что для нынешней власти, как уверяют, уже не советской, установление такого дня немыслимо. Но потому они этого и не делают, что наше нынешнее государство столь же мало легитимно, как советское, и тоже держится произвольными убийствами в той же Чечне, насилием, побоями. Оно не способно внятно возразить желающим открытых убийств, да еще не в один какой-то отведенный для них день, а в любое время, но не смеет и открыто с ними согласиться. Вот и не углубляется в выяснение законности. Поклонники Квачкова говорят: по закону, может быть, убивать нельзя, но Чубайса по справедливости убить можно! И по той же логике законность подменяется идеологией.

Идеологии тоталитарных режимов растут из мировоззрений их создателей. После Октября обильно издавали книги Ленина и Троцкого, затеяли полное собрание сочинений Маркса и Энгельса, издали собрание Плеханова, издавали Каутского и многих других столпов марксизма. За двадцать лет репертуар сменился, Даже в собрании коммунисты не рискнули напечатать все известные работы Маркса. Ленина издали тоже не целиком. Перед войной обязательные для коммуниста знания вместились в Краткий Курс Истории ВКП(б). Практически ценились лозунги: «Партия – наш рулевой», «Народ и партия – едины» и все в таком роде. Главной в идеологии стала не ее положительная позиция, сводившаяся к повиновению властям, а запретительная. До последних дней невозможно было вслух сказать то, что было всем известно и понятно, но не было сильной стороной советской державы. Говорение и писание этого стало диссидентством, причастность к которому каралась долгим заключением, хотя практически оно ничем не грозило вооруженному до зубов режиму с двадцатимиллионной правящей партией и миллионами чекистов, милиционеров, солдат внутренних войск и сексотов.

Лишь Горбачев дал свободу не таясь разговаривать меж собой, а вскоре и печатать свои не согласные с партией писания в советских газетах и журналах. Если при Ельцине после 1993 эта свобода стала свертываться, то еще без открытого участия силовых и судебных органов. Больше и быстрее ее ужимали уже при Путине, но тоже

закрытием изданий или заменой редакторов. И вот создатель выставки и директор музея получили приговор. Дату его вступления в законную силу можно считать днем преобразования нашего режима из авторитарного опять в тоталитарный.

Не хочется его принимать, как окончательный приговор России. Говорят, даже и на самых честных и свободных выборах русский нацизм одержит сегодня полную победу или разделит ее с национал-коммунистической партией Зюганова. Это, однако, возможно лишь если средства массовой информации будут по-прежнему в руках государства. Доступ к ним реальных, а не назначенных государством, демократов и либералов изменит результаты избирательной компании. Если же свобода слова и собраний достигнет хотя бы уровня 1989 - 1993 годов и возникнет возможность создавать независимые партии и «отдельные храмы» с конкретными требованиями и программами, ситуация изменится и станет возможным развитие страны. Победой нацизма отнюдь не неизбежна, ею грозит лишь поведение нынешней власти. Она присутствует в приговоре Ерофееву и Самодурову. Власть выступила открыто. Так и надо понимать.

ТРЕХГОРКА

Не знаю, происходит ли Михаил Прохоров из известных Прохоровых, еще при Павле Петровиче, в год, когда Суворов перешел через Альпы, создавших знаменитую Трехгорную мануфактуру, да оно и не важно. Он и сам человек деловой. Его, правда, корят провозом в Куршавель группы девиц. Но все совершеннолетние, никого не принуждали, не указывать же молодому, холостому, рослому богачу, с кем отдыхать. Российская Конституция не ограничивает числа партнеров, и странно предъявлять такое требование одному Прохорову. Ничего особо порочного в его человеческом лице нет. Кроме, конечно, – для иных – самой причастности к Абрамовичам, Потаниным и прочим. Тем любопытней его политическое, новое лицо, тем занятней зачем оно ему и пославшим его.

Они вроде ждут, что успешный делец пособит избежать хозяйственных убытков, присущих социализму, то есть, правлению государственной партии. Сталин был выше растрат, но уже Хрущева они тяготили и он, создавал совнархозы. Недавно умерший Абалкин тоже гадал, как стране выжить, не преступая социалистические запретки. Но и Горбачев «Правого дела» не создал и не оставил Егору Кузьмичу «Единую Россию», то бишь, другую половину прежней КПСС. Мешала не только робость перед экономикой, но сознание, что наше единство двухпартийной системы не сдюжит, разве что одна партия признает другую руководящей и направляющей. Кстати, статью 6, отсутствовавшую в сталинской конституции, потому в конце семидесятых и завели, что такую возможность обсуждали. Но Хрущев, Абалкин, Горбачев, даже для вида не могли «поступиться принципами», рискнуть сверхдержавностью ленинской реализации марксистской утопии отмирания государства. Спасать социализм, для вида от него отрекаясь стали уже Гайдар, Ельцин и Чубайс.

Верный ленинец Путин старается удержать яйца в одной корзине. Возглавив партию «Единая Россия», как ассоциацию помощи трону, сам Путин в нее, правда, не вступил, но Грызлов, от имени партии возглавивший не единогласную Думу, открыто сказал: «Дума – не место для дискуссий». Но Путина прельщала видимость многопартийности, и наряду с «Единой Россией» завели «Справедливую». Ее глава Миронов, и видные ее члены вошли в роли и разговорились. Но Миронова согнали с третьего поста в стране, чем разъяснили, что и всецело верным Путину людям, лучше придерживать язык. Неясности внесло и вызванное своими причинами явление зитц-президента с перемещением национального лидера в премьеры. Роль президента доверили вернейшему человеку, но и он понес, что свобода лучше несвободы, а ныне пощли даже слухи о распре в тандеме, хотя сомнений в его единстве быть не может.

Трудно поверить, что при отличной школе, которую прошел Путин, это просто промашки. Скорее все-таки форма заверения, что у власти не фанатики, и при ней возможны здравые обновления. Но верили плохо, надежда на безопасность инвестирования капиталов не росла. Не помогло даже публичное предостережение правительству его главного бухгалтера Кудрина, имеющего возможность высказывать свои опасения правителю без огласки. А о нужде блюсти законность он заговорил вслух не из геройства, а в надежде, что ему поверят больше, чем другим. Но и ему не верят. И партия Прохорова - новая попытка убедить.

Зачем это нужно Путину, - а начал этого добиваться он сам, до всякого Медведева, сразу не поймешь. Путинская система сложилась. Пока нефть хлещет внутреннее сопротивление не грозит. Но такие системы рушит не массовое возмущение, к которому безуспешно призывают одни, а другие не боятся, как не боялись в советской России. Угроза в другом, во внезапном крушении хозяйства, вызванном даже не безмерными растратами государства или перекачкой его денег в карманы государственных лиц, а самим его устройством.

Май 2012

ПСЕВДОНИМЫ – НЕ ИМЕНА

Ловлю себя на том, что попади Буданов на преступную войну рядовым по призыву, изнасилуй и убей, одурев от внушаемой злобы, чеченскую девчонку, и получи по заслугам, и отбудь наказание, где положено, а не там, где губернатор твой начальник и друг, и восемь лет спустя выйди по УДО, чтобы бог весть кем и бог весть зачем быть убитым в центре Москвы, - мне было б его жаль. Но он - полковник. Защищая отечество, армия заодно, и генерал - тоже солдат. Иное дело подавление желающей отделиться автономии, против которой рядовой, как правило, воюет по призыву, а полковник – по убеждению. Но разные вроде люди, Бабченко, Навальный, Радзиховский, Проханов, Быков, называют полковника солдатом и жалеют.

Чеченскую войну объявили российским внутренним делом. Но не бывает во внутренних делах единства, кроме как из под палки, да еще в такой огромной стране. У нас помнят, что общество составляют люди разных наций, но забыли, что еще и разных классов и сословий. Зло не

просто в том, что Буданов – русский, а Эльза – чеченка. Он и с русской девчонкой мог обойтись так. Расправа с Чечней и с конкретной Эльзой – не столько национальная, сколько социальная проблема. И судьба полковника Буданова - сколок не одной этой расправы, но всего российского общественного порядка.

Общество, не ушло от советского единства, и не знает из кого состоит. Советское общество именовали бесклассовым. Этому идеологическому вздору уже не вторят, но врут иначе. Еще не сызнава затем, чтобы казаться «самыми передовыми» и заявлять «Мы вас похороним!», но, чтобы внушить, что у нас демократия и капитализм, и все хорошо, и зарубежные инвесторы зря боятся иметь с нами дело. Затем и показуха политической жизни, и еще до Путина созданные псевдо-партии, не выражающие интересы определенных слоев или классов, а каждая, подобно КПСС, - «партия всего народа».

Все знают, что демократия – дело древнее и в переводе с греческого означает «власть народа». Перевод правильный, но не уточнивший, как тут понимать слово «народ». Афиняне считали народом чистую публику, то есть взрослых мужчин, уроженцев Афин. Прочие, - женщины, уроженцы других мест, вольноотпущенники и, само собой, рабы, в народ не входили. В СССР на словах входили, но на деле власть принадлежала тоже чистой публике, - даже не всем членам КПСС, а только ее номенклатуре, где райкомовской, где обкомовской, где ЦеКовской. Говорили «народ и партия – едины» и правила «народная» номенклатура. Эту всеноменклатурную власть воплощала личность, культ которой и звали демократией.

Но уже в XIII веке родилось иное понимание демократии, не для одной чистой публики. В английском парламенте сидели и бароны, и представители рыцарства, и горожан и свободных крестьян. Представительство еще было совсем не равное, но представляло всех независимых членов общества. Там возникла современная демократия, ощутившая различия интересов и вынужденная их учитывать. Ныне она существует не только в Англии.

Но многие страны, не только наша, веруя, что в социальной жизни возможна единственно правильная для всех, истина, идеология, религия, не хотят демократии. И пользуясь ее именем, как псевдонимом, практикуют нечто совсем другое. Демократия – подвижный компромисс составляющих общество классов и сословий. Но убежденные, что они всегда и во всем правы, компромисса с неправыми не хотят, и считают логичным их убивать, жечь на кострах, губить в Треблинке и на Колыме. Сложилась и не столь откровенные формы пресечения демократии, - власть определяет, какая оппозиция ей удобна, не всем дает избираться, пресекает гласность, только и позволяющую разобраться, что к чему. Беда не только в том, что неверно считают голоса. Это деталь. При монополии власти на свою вертикаль и средства массовой информации, призывы к честным выборам, увы, беспредметны. Что голосуй, что не голосуй.

А демократическое государство лучше самодержавного (авторитарного) тем, что вынуждено больше учитывать объективную реальность, и не столь все же беспардонно в произволе по отношению к гражданам и в предъявлении им нелепых требований. Самодержавный

произвол трижды в XX веке привел Россию к катастрофе. Николай - торможением демократических преобразований к 1917 году. Сталин - террором и коллективизацией к трагическому поражению в 1941. Брежнев - внеэкономическим милитаризованным хозяйствованием, - к распаду СССР.

Демократия, родилась при феодализме, и сама по себе не определяет общественный строй. В Англии он изменился лишь четыре века спустя, и в преодолении феодального порядка демократию подпирал либерализм, жажда свободы. Демократия - это влияние граждан на государство, либерализм, как бы напротив, - растущая свобода граждан от государства. Уход от внеэкономического порядка, повсеместного до капитализма, и, в частности, от феодализма, наглядно отождествлявшего владение и власть, означал разделение власти и владения.

При экономическом строе государство сохраняет власть, а частные лица - владение, и демократическое, компромиссное государство защищает их частные владения даже от себя самого. Но и власти, и общество, далеко не сразу осознали сферу и полноту частного владения. При феодализме оно частично, крестьянин «держит» землю от рыцаря, тот - от барона, он - от короля. При экономическом строе и рыцарь уцелевшим имением, и предприниматель купленным оборудованием. владели уже всецело. Поздней пришло понимание, что рабочая сила, и еще поздней, что интеллектуальное достояние, - тоже частные владения. Производство, а с ним и общественные отношения, и вся жизнь, от этого стали меняться. Смысл демократии в компромиссном устройстве государства, смысл либерализма в снятии помех частной деятельности, не наносящей прямого ущерба другим. А наше государство держится силой, и потому бескомпромиссно мешает всему, что идет не от начальства

Режиссерские воплощения демократии нынешней властью реалистичней, чем советской с выборами из одного и единоголосными голосованиями. Ныне спускают несколько кандидатов на выборах и обеспечивают заведомое меньшинство голосов «против». Либерализм по-прежнему в меньшей чести. Показную демократию поддерживают в традициях Ельцина, начавшего Чеченскую войну и назначившего президентом главу органов безопасности, а показной либерализм, при нем популярный, при Путине и Медведеве иссякает. Обнажилось государственное руководство олигархами, явным стало удушение частных средств массовой информации, как и вообще всякой внегосударственной деятельности. Но и нынешняя власть не отвергла понятие «либерализм» как псевдоним грабительских экономических реформ. Либералом еще зовут Гайдара, освободившего («либерализовавшего») цены, позволив государству, монопольному производителю, их взвинтить, хоть конкуренции, способной их умерить, не было. Либералом зовут олигархического «приватизатора» Чубайса.

Как на доказательство, что с советским прошлым покончено, и власть «не такая, а совсем другая», указуют на хозяйство, ставшее рыночным и, тем самым, якобы капиталистическим. Но и в Вавилоне и в Риме рабовладельческое хозяйство, бывало и товарным, и рыночным, но не капиталистическим. Капитализм начинается с рынка рабочей силы и

рынка интеллектуального достояния, с того, что их продают и покупают, а не отнимают и не используют принудительно.

В России этому мешает не только практика моногородов и невозможность свободного перемещения людей туда, где на них есть спрос, но и неприкосновенность советских духовных принципов, непонимание коренного различия меж покупкой и принуждением. Вот хозяйство и двадцать лет спустя живет прежними понятиями даже в порывах к модернизации. Без коренных, не только экономических, но и политических, реформ, оно и не может иначе. Это не чья-то личная вина.

За двадцать-то лет реформы бы провели, но они подорвали бы правящий класс, с его административными привилегиями и коррупционной системой кормления, ущемили бы московских чиновников и местных начальников, генералов, полковников и прочих. Вот они и отвергли подлинную демократию и подлинный либерализм, оставив эти понятия псевдонимами своей прежней, по существу, деятельности. Население кличет выступавших под этими псевдонимами «дерьмократы» и «либерасты». Ведь без свободы слова, печати, собраний, людям не различить, где демократия и либерализм – имена реальностей, а где они - псевдонимы лжи. Да и подрыв доверия к жестоко обманувшей «постсоветской» псевдо-политической жизни не позволяет снова слепо верить.

Как рассказал Горький, еще Ленин пришел к мысли: «сегодня гладить по головке никого нельзя - руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми». Подполковник Путин, призывая бить несогласных дубинами по головам, уже понимает, что после почти столетних непрерывных избиений чекистами сослаться на идеал смешно. Полковник Буданов тоже не был идеалистом. За что боролся, на то и напоролся.

Обидно, однако, что то же самое происходит с Россией. Ее состояние, как и смерть Буданова или власть Путина, - плод того, что в 1991 году демократия и либерализм стали псевдонимами, и номенклатура удержала под ними страну, отнюдь не собираясь менять ее строй по существу.

ИЗ СЛОВ ВЫТРАВЛЯЮТ СМЫСЛ

Политические дискуссии в Советском Союзе всегда были дискуссиями о словах. Конечно, в словах был свой смысл, но они не его выражали. Чтобы сообразить, что за ними, надо было знать нашу реальность. На этом погорела западная советология, усердно изучавшая СССР, и вздрогнувшая от неожиданности, услышав Горбачева, в потом вести из Беловежской пуши. Ей, как и Политбюро, казалось, что Советский Союз с каждым днем все крепче. Но и советские люди, тончайшим образом ощущая повороты начальственных позывов, не могли объяснить, к чему эта структура и как устроена, Несовпадение слова и дела принимали, как неизбежность.

Иначе было нельзя самому начальству. Даже на закрытом заседании верхов наивно было говорить, что проще звать вещи их именами: люди знают каков порядок, и, коль скоро выбора у них нет, а граница на замке, готовы прилаживаться, соблюдать установки, не лезть на рожон, Так

будет выглядеть не в пример пристойней. Но основной закон советологии, так и не был открыт. А состоял он в том, что никакого четкого закона в советской стране быть не должно, поскольку он стеснил бы руководство, которое не может знать наперед, что придется приказывать. Говорят, в СССР царило беззаконие, но это не точно, неверно думать, что бандиты действовали вопреки воле партии. Если иные шли на риск, наказания были не слабей, чем политическим.

Неопределенность отличала все определения сколько-нибудь касавшиеся общественной жизни. И именно она догматизировалась. Существовало учение Ленина о партии или Сталина о нации, и другие. Они соединяли несовместимые друг с другом, но одинаково обязательные положения, устанавливающие, что такое партия, что такое нация. Явления эти впрямь противоречивы, и, конечно, их содержание и функции меняются. Но их рассмотрение, даже в противоречивом виде, почти всегда уводило от реальности.

Нация считалась явлением отмирающим, а национализм злодейством. При этом, однако, признавалось право наций на самоопределение, и некоторым создавали видимость самоуправления. Но что такое нация, что власти имеют в виду, произносилось это слово, понять было невозможно. В энциклопедиях перечислялись признаки нации, ей вроде присущие, но ни один не сочтешь непременно. Ныне людей спрашивают по какому признаку они определяют свою национальность. В Европе национальность объявили тождественной гражданству, но от национального стремления к автономизму и порой к сепаратизму, это и там не избавило. Главным называют язык, но разные нации часто пользуются одним языком – английским, арабским и другими. Называют религию: нередко часть нации исповедует одну, другая – другую. Называют общее хозяйство, но и оно не избавляет от межнациональных противоречий, порой совпадающих с социальными. Называют общность обрядов и традиций, и, конечно, культуры, но в одном народе нормы поведения да и культура в городе и в деревне часто различаются больше, чем с другими народами. Называют, конечно, кровное родство, производят национальность от родителей, где от отца, где от матери. Но современные исследования показали к примеру, что на генном уровне различия меж англичанами, шотландцами и ирландцами не превышают пяти процентов, но это все же три разные нации.

Разумеется, рассматривая национальные проблемы без предвзятости, учитывая социальные и исторические обстоятельства, легко убедиться, что коренных различий между людьми разных наций в способности быть людьми, думать и чувствовать, достигать вершин науки и искусства не существует. Но общество и его история, характер расселения людей и завоевания зон обитания явно различны, а отсюда и социальное неравенство практически создающее неравенство в положении наций. Оно обусловлено социально. Тем не менее в СССР паспортная система учитывала лишь этническое происхождение.

Словесная форма перевешивала значимость и в социальных, даже политических, явлениях. Хотя я не был коммунистом, ни даже комсомольцем, меня не тяготила знаменитая шестая статья советской брежневской Конституции. Скорей, напротив, когда ее ввели, я

подивился, что в нашей насквозь фальшивой Конституции появилось слово правды. Пусть не прямо сказано: «Мы, коммунистическая партия, милостью божией правим Советским Союзом», но смысл именно такой, как оно и было. Рядом с этой статьей другие, -- о советах, о представительной власти и выборах, -- выглядят совсем уже нелепо, но в сталинской конституции, не имеющей с реальностью ничего общего, они вовсе лишены смысла. На единственных в России относительно свободных выборах в 1917 большевики получили около четверти мест в Учредительном Собрании. Это лучший результат партии за всю ее жизнь. Даже тогда ее не предпочли другим. Она взяла власть силой, разогнала, если не поубивала, других, и правила, но записать так в Конституции робела. А Брежнев не робел.

Важно, не то, откуда власть. Не бога же винить. Но какова она? Ныне на бумаге растут права человека, в ельцинской Конституции их выше головы. Но права власти не окорочены, не оговорено, каких у нее заведомо нет. Власть делает, что хочет. Это не коммунисты придумали, и раньше так бывало. Надеялись, что царь - хороший человек, в бога верует и будет следовать христовым заповедям.

Царям противостояло самоуправление, демократия. Но образцом ей служили не так древние Афины, как средневековая Англия. Афинами правило народное собрание, куда входили все местные уроженцы мужского пола, составлявшие там явное меньшинство, однако решавшее за всех. В Англии решали даже не все свободные. До революции, и даже после реставрации, многое решал король. Но уже в парламенте, возникшем в XIII веке, бароны, представители рыцарей и горожан, ему перечили. Божья милость нередко не спасала короля от нужды отступить. Иные распоясывались и не хотели знать ограничений. Но отпор и перерастал в революцию.

Власть русских царей ограничений не знала. Лишь уступая революции 1905-7 годов, царь создал Государственную Думу и другие органы на манер европейских. Но Столыпин верно объяснял, что ни один из новых институтов, включая Думу, не ограничивает самодержца. И это основное свойство самодержавия революционеры-большевики сохранили в полной мере. Конечно, полнотой власти после 1917 обладал уже не потомственный монарх, а центральный комитет партии, - сперва кучка вождей, но потом культовая личность.

Власть называли советской, твердя, что правят советы, избранные трудовым народом, рабочими, солдатами и крестьянами. Избирали их сперва довольно свободно, но большевики не всегда получали большинство. Они взяли выборы под контроль, перестали к ним допускать не своих кандидатов. Никто уже потом и не претендовал, чтобы голову не потерять. Советы почти сразу стали декоративными, реальная власть была в партийных комитетах, центральном, областных (обкомах), городских (горкомах), районных (райкомах), и на предприятиях и в учреждениях (парткомах). Власть была не советская, а комитетская, И Советский Союз не был советским. Его бы надо звать Комитетский Союз. Но не вполне союз, не очень-то добровольный. Это была Комитетская Империя.

От абсолютной монархии она отличалась тем, что помазаннику божьему сверхъестественность источника власти позволяла уступить

обществу, вступать с ним в компромиссы, уделять ему часть власти. В конституционных монархиях, внутренние противоречия разрешались, как долгое время в Англии, полемикой помазанника с парламентом, бравшим себе все больше прав. Но комитетская власть не может быть конституционной. Уступив малость полномочий, дав независимость хотя бы мелким художественным группам, она ставит под сомнение все другие свои команды. Она жизнеспособна лишь как тоталитарная, лишь опершись на террор и насилие, пока они не съедят хозяйство и общество. В СССР борьба за ограничение полномочий власти была бесплодна и не велась, надежды на перемены связывалась с изменением самого источника власти и ее свободным избранием на свободных выборах. Так мы и воображаем, что смысл выборов в том чтобы во власть входили люди, которым мы доверяем. А власть этого-то и не хочет.

ЧТО НАДО МЕНЯТЬ

Победа СССР во Второй Мировой укрепила коммунистический тоталитарный режим. Он продержался еще сорок шесть лет сверх первых двадцати восьми, а в целом - три четверти века, в шесть раз дольше нацистского в Германии. Новые поколения не знали другого, и выходить из нараставшего кризиса им было сложнее, чем немцам. В Италии и Германии военное поражение осадило фашистское и нацистское начальство и возникли независимые движения и партии. А в СССР даже экономический крах восьмидесятых не лишил власти коммунистическое начальство. Конечно, ему пришлось отречься от коммунизма, но впрямь независимые движения и организации так и не были допущены.

Ныне советский режим числят скорее идеологическим, чем политико-экономическим феноменом. И говорят, что Россия теперь совсем иная, поскольку в 1991 отеклась от марксизма-ленинизма, и, тем самым, от утопии. Но коммунистическая идеология еще до 1917 отеклась от двух капитальных условий марксистской утопии - от перехода к социализму лишь по достижению капитализмом высшего уровня доступного ему развития и во всех развитых странах разом. А большевики пошли к светлому будущему не мешкая и в одной, отдельно взятой, отсталой, не вполне капиталистической стране. Экономическую утопию Маркса Ленин дополнил волюнтаристской утопией, искренне веруя, что упование Маркса на экономическое развитие капитализма он возместит практической работой революционной партии. Он создал такую партию, и в 1917 году она взяла власть.

Несообразность реальности с обеими утопиями побуждала коммунистов действовать железной рукой, распространяя насилие над буржуазией на все население, включая рабочий класс, что, в свою очередь, толкало подправлять устаревшего Маркса. Уже ленинская структура централизованного партийного управления хозяйством страны, как единым концерном, опрокинула марксистский идеал рабочего самоуправления предприятиями. А вскоре практика ленинского государства, объявившего себя социалистическим далеко ушла от признания Ленина, однажды сказавшего, что «когда будет социализм, не

будет государства». Не зря коммунисты мешкали с изданием на русском языке сочинений Маркса и Энгельса, и даже полного собрания Ленина. Государственная идеология отбирала нужные тексты, замалчивая другие, меняла наборы цитат, становясь наполовину сусловско-ильичевской. Ее Ельцин и отбросил в 1991.

Но не вполне выговоренные нормативы советской идеологии, определявшие структуру государственно-социальной системы, и при Ельцине никуда не ушли. Они продолжали жить в структурах «новой» России. Всевластие политбюро ЦК КПСС во главе с генсеком обернулось всевластием Президента РФ. Да и видимость свободы слова, печати и собраний обманула, в высказывании взглядов нет равноправия. Отличные от властных, в массовые СМИ, как правило, не допускаются, и даже в малотиражные трудно проникают. Одиночные суждения в интернете не вырастают в общественные дискуссии, там больше взаимной брани, чем полемических доводов, доказуемых или опровергаемых. Ельцин сетовал, что идеология не выражена в текстах, но люди России вычитывают ее из устройства и действий государства, и отвечают тоже не лексически, а практически. Можно дивиться сметке народа, понимающего, что и нынешняя власть, и нынешняя оппозиция, безнадежны и никаких прав людям не дадут, разве что подачки. Но без публичного выражения индивидуальная сметка миллионов не заменяет общественное сознание. Разве что при катастрофе.

Общественное сознание это прежде всего осознание устройства общества. Его развитие неравномерно. Не Рим, возобладавший в древности, а Римская империя германской нации лидировала в средневековье. Не она, а Британия первенствовала в Новое время, лишь в XX веке уступив США. Менялся не только образ жизни, но и образ мыслей, христианство прошло реформацию. Установился новый порядок хозяйствования, - экономический, названный капитализмом. В конце XVIII века, после буржуазной революции, в лидеры вышла Франция. Объединившаяся во второй половине XIX века Германия наверстывала упущенное. Россия, еще не вводя капитализма, перенимала его технические успехи, ставя к зарубежным станкам крепостных. Так феодальная реакция надеялась устоять.

В этой надежде усомнились лишь после поражения в Крыму. Царь-освободитель отверг феодальную реакцию, но еще не феодализм. Тогда же стала преодолевать отставание и феодальная Япония, а после Первой мировой и Китай, и еще некоторые страны. После Второй мировой и крушения колониализма их стало больше. А когда ушло противоборство сверхдержав, тронулся чуть не весь мир. Ждали, что, по-нынешнему говоря, проведут модернизацию и станут благоденствовать. Но мешали методы модернизации.

В России многие верят, что теперь у нас капитализм. А капитализму, который не надо идеализировать, все же присущи некоторые свойства, без которых его нет, но которых нет в России. Конечно, в СССР отношения производителя, которым было в основном государство, и потребителя, регулировались чисто административно, а ныне в России товарное производство вышло на относительно открытый рынок. Но ни товарное производство, ни рыночный обмен сами по себе – еще не капитализм. Древность знала огромные рынки, на которых продавали

товары, сработанные рабами Рима, но ни Рим, ни Вавилон, все же не были капиталистическими. Капитализм – это частная собственность, свободная конкуренция и наемный труд.

Капитализм начинается там, где труд и, вообще, продуктивная деятельность – не принудительны. В отличие от прежде существовавших порядков, при капитализме, как ни тяжка жизнь многих, их отношения в ходе производства – это отношения свободных людей. Человек, вынужденный искать работу, чтобы выжить, на конкретную работу нанимается добровольно, – капиталист его не заставляет, да, в отличие от феодала, и не имеет над рабочим власти. Сперва временность найма рабочего мешала осознать природу его производственной связи с капиталистом и другими участниками производства. Но рабочее движение прояснило ее социальную суть, помогло осознать, что рабочий, изобретатель появившейся потом машины, мэнеджер, инвестор, участвуют в совокупном деле, почему с их стоимостными вкладами в производство, принимающее их в денежной, товарной, и в непосредственно трудовой форме, и надо соотносить их доходы и социальные гарантии.

Концепция по которой капиталист богатеет за счет прибавочной стоимости, удерживаемой у занятых физическим трудом уже у Маркса была не вполне точна. уже тогда производительность труда определяли уже не только затраты физической рабочей силы, но и умственный труд изобретателей машин и организаторов производства. Но доля умственного труда была еще много меньше доли физического, что видимо, и побудило Маркса ею пренебречь. Это стало ошибкой, поныне почитаемой за истину, даром, что ее последствия все более пагубны.

А социальная структура ощутимо меняется. Рабочих все меньше, а научных работников, – все больше.. Рабочие, при стабильных социальных гарантиях, поддерживают консерватизм (Тэтчер в Англии и Рейгена в США), а интеллектуалы держатся левых и даже ультра-левых взглядов. При этом, к тому же, изменился смысл политической «левизны». Это не случайные совпадения, а плоды новых несообразий устройства и развития общества. Но кризисы объясняют не этим, а финансовыми промахами, – то массовой выдачей необеспеченных кредитов, то выплатой банковским работникам гигантских бонусов, а то и – вбросом Обамой огромных сумм. И все потому, что общество после научно-технической революции сознает себя хуже, чем до того.

Развитию капитализма, как борьбе за социальную справедливость и ее наращивание, – совершаемое далеко еще не везде и не во всем, – очень рано противостояло стремление заменить его социалистическим (коммунистическим) обществом, судя хотя бы по опыту СССР, да и нынешней России, удерживающим общественные отношения на внеэкономическом уровне. Двойное отношение к капитализму раскололо рабочее движение. Его демократическая часть выражала нужды рабочего класса, как участника капиталистического производства, требованиями соотносить его вкладу в производство оплате и условий труда. Другая же часть рабочего движения, отвлекаясь от текущих нужд рабочих, откладывала их удовлетворение до социализма, который в рабочее движение вносили не сами эти нужды, а мудрая партия ленинского типа. Претендующая быть единственным

выразителем интересов рабочего класса и, вообще, народа, она, строясь по вертикальному принципу, от этих интересов неизбежно отрывалась, что и вело ее к установлению тоталитарного порядка, кроме лозунгов мало чем отличавшего от других форм «тоталитаризма».

От любимой не только социалистами и коммунистами картины социальных отношений, верной или неверной, реальность явно ушла. Из заработка рабочего ныне часто не только не удерживают прибавочную стоимость, но платят ему больше реально наработанного. Добавляют из наработок умственного труда, оплачиваемого лишь частично. Зато далеко не в полной мере компенсируют открытия, даже чисто технологические, за них платят отнюдь не все, кто ими пользуется, по существу, не кодифицировано, не стало всеобщим, авторское право на них. Если ныне присваивают «прибавочную стоимость», то созданную работниками умственного труда, а работники физического, наряду с хозяевами, ее присваивают.

Практический ленинизм пренебрег значением умственного труда в ходе производства и, тем самым, лишил его социального места. Сталин называл интеллигенцию «прослойкой», а Ленин -- говном. Ориентировались не так на Маркса, как на Петра, вооружившего феодальную реакцию, и подчинившего, хоть не реформировавшего, православие. У нас модернизацию сводят к покупке новейших станков, а то и авианосцев. Ленинцы, как и отрекшиеся от них путинцы, не брали в толк, что очередное перенятое открытие, не случайный плод игры ума, какая и в России случается, а результат соревновательности общества, еще не кругом зажато монополиями и не распластавшегося под государством, как наше. Но не признают, что переимчивость - не путь обгона, и придется вновь перенимать, а тогда продуктивней перенять сам состязательный строй. Но номенклатура класс знает, что это для нее самоубийство.

Можно, конечно, рассуждать, правомерна ли, вообще, интеллектуальная собственность, но если неправомерна, то абсурдна оплата умственного труда, без которой, однако, уж техническое-то развитие заведомо прекратится. А если бы при полноценной компенсации умственного труда ее обложение, даже повышенное, тратилось бы на бесплатное образование новых поколений сограждан, проявляющих желание и способность учиться, она стала бы действенным вкладом в развитие страны. Ныне же, все увеличивающаяся оплата образования делает его классово ограниченным, игнорируя способности людей, не зависящие от классовой принадлежности. Это не только проблема благотворительности. Способный мыслить человек с образованием обогащает страну, если, конечно, ее внутренний строй позволяет ему продуктивную работу, а хозяйство и общество ею пользуются.

Такой возвратный вклад части обретенных умственным трудом доходов в развитие его источников перевесил бы бесплодные траты, ведущие к кризисам. Это тем более насущно, что включение всего мира в промышленное развитие показало, что ценность сырья тоже не сводится к ценности физического труда на его добычу и доставку, как казалось Марксу. Рост спроса на ограниченное в природе сырье изменил его ценность, и позволил его владельцам присваивать

непропорциональную часть произведенных ценностей. Единственный мирный способ одолеть нехватку сырья, - научные исследования. Без энергии производство обречено. Но опасность ядерных электростанций вынуждает их не закрывать, а лучше от них защищаться и искать не убыточные способы создания водородных электростанций.

А пока наука и оплата умственного труда не приоритетны, лишь отчасти справедливо противопоставлять отстающий мир развитому. Хоть и совсем по разному, оба, внешне активны, а внутренне приторможены, один - средневековой идеологией, другой, вроде свободный, самодовольством, уводящим от углубления мысли. При техническом прогрессе идет общий регресс, из которого, не выйти, не осознав его социальную почву, всюду разную. Уже и развитые страны впадают в волюнтаризм. Не одни иранские аятоллы, но и президенты Америки, не говоря о правителях России. А хозяйственные возможности не всюду равны.

Отношения развитых стран с развивающимися примечательны. С Кадафи все были в лучших отношениях, – Европа давала деньги за нефть, и на них он покупал в России оружие! Ему простили даже гибель лайнера и досрочно выпустили убийцу. Британская Школа экономики жила его поддержкой. А взволновались, когда стал бомбить своих протестующих граждан. Но оснований ждать, что Кадафи поступит иначе, чем русский царь 9 января 1905 года в Петербурге или коммунисты 2 июня 1962 в Новочеркасске, не было. Запад смутила не природа власти Кадафи, а поступок, напомнивший, что Ливия - не демократия, а людям важна не только зарплата, на которую Кадафи как раз не скупился.

Но в отличие от социализма, демократию на штыках не построить. Она рождается из объективных предпосылок, то есть, при множестве экономически независимых свободных личностей, в ней заинтересованных. Уровень их достатка может быть ниже, чем ныне в Америке. При Джефферсоне был ниже, но социальные предпосылки вели к демократии. Эти предпосылки и надо поддерживать в развивающихся странах, а щедрые подачки диктаторам демократию тормозят. Но предпочитают холить деспотов, которых потом сами вынуждены свергать. А там, где власть монопольно правит хозяйством, не только на коротком поводке, как единый концерн СССР, но и на чуть более длинном, как современная Россия, демократии быть не может, независимо от качеств правителей и народов. Но в отношениях с неразвитыми странами развитые всюду отступают, довольствуясь своими нуждами, вроде нефти. Понятна поддержка Никсоном Китая в конфликте с СССР, но почему тоталитарный Китай стал чуть не монопольной «мастерской» Запада, понять трудно. А вовлечение в эту работу и других стран Азии и Африки, они стали бы опорой демократии в мире.

Отвлекаясь от международной юрисдикции, можно допустить, что вторжение в Ирак было необходимо. Саддам был агрессивен, грозил соседям, и не исключено, что прятал ядерное оружие в союзных странах. К тому же, большинство населения пришло на выборы, проводимые оккупантами, и выдвигало своих кандидатов. Но после выборов, выразивших волю населения, надо было вывести войска, хотя

бы их сократить. А не вывели из страха, что страна расколется на три части, искусственно сбитые еще султанским, а потом британским владычеством. Жители двух частей хотели обособиться. Но США боялись, что Курдистан разозлит дружественную Турцию, а шиитская независимость укрепит враждебный Иран. И начав за здоровье, кончили за упокой, сорвали самоопределение.

Иран, Ирак, Афганистан, потом Тунис, Египет, теперь Ливия, оказались точками сопряжения слабых сторон экономически развитого и экономически отсталого миров, если угодно капитализма с феодализмом, переросшим в социализм. Мусульманские народы свое стремление к модернизации не сопровождают реформацией ислама, аналогичной реформации католицизма в XV-XVI веках. Они тоже хотели бы опереть новое хозяйствование на архаичную веру. И не одних мусульман манит модернизованный консерватизм и даже модернизованное мракобесие. Так не пора ли видеть это сопряжение в собственной стране и заглянуть в пропасть, в которую тянет борьба против либерализма?

КОГДА КОНЧИЛАСЬ РЕВОЛЮЦИЯ

Историю России можно рассматривать, как историю неудачных попыток свернуть с «особенного пути», начатого четвертьтысячелетним обособлением под монгольским владычеством от европейского дома. Дмитрия Донского, на два года вырвавшего свободу в незабвенной Куликовской битве, лишь в конце XX века признали святым. Стояние на Угре, освобождение русских от монгольского ига, - все еще не национальный праздник. Иван IV, введя крепостничество, сделал Русь и без монголов монгольской, и вызвал Смуту, но слывет творцом порядка. Учат, что Россия – не Европа. Там и Христос не тот, и крестьяне скинули личную, а потом и всякую, зависимость, и хозяйство там ведут иначе. Петр I пытался перенять европейские методы хозяйства. Но прилаживал их к социальному порядку сложившемуся при монголах и после них. Нигде в мире тогда еще не признавали взаимообусловленность хозяйства и меняющихся общественных порядков, выговоренную в середине XIX века Карлом Марксом и в начале XX Максом Вебером.

Пробитое Петром «окно в Европу» не возродило начальный русский европеизм и Киевскую Русь, но обозначило одновременное движение страны по противоположным путям, составившее российскую особенность. С конца XVIII века Россия вносила в европейский дом гениальную литературу, другие искусства, науку. И одновременно феодальная реакция, крепостничество и техническое отставание от Запада, свершившего, меж тем, промышленный переворот, привели к Крымскому поражению самоотверженной русской армии.

Александр II отменил крепостное право и двинулся к Европе, уже показавшей, какой социальный порядок нужен новому хозяйству, но царь-освободитель, создавший еще и независимый суд, все же не освободил крестьян от власти общины и не ввел хотя бы сословную и ограниченную представительную систему. До того и другого дошло лишь в начале XX века под давлением революции, и от коренного кризиса империи, вскоре ввязавшуюся в Мировую войну, уже не спасло.

В конце войны власть взяли большевики. Подобно Петру, они подпирали заимствование, а порой и создание, новейших технологий, ново-абсолютистским мобилизационным порядком, фактически упразднившим и независимый суд, и какую-никакую представительную систему, установив вертикаль партийной власти, воплощенную государственными муляжами, штаповавшими решения.

Взаимообусловленность хозяйства и общества не была тайной от Ленина и Сталина. Они звали себя марксистами и, - во всяком случае, Ленин, - читали у Маркса не только социалистические мифы. Но другим пренебрегли. Фанатический волюнтаризм Ленина и продолжавшего его дело Сталина стал идеологией вершившей власть номенклатуры, правящего класса нового, тоталитарного, строя.

На военных, направлениях хозяйства, сосредотачивавших силу, они, подобно Петру, достигали порой выдающихся, результатов. Но непропорциональность волевого хозяйствования лишала его сбалансированности и вела к кризису. В 1921 году кризис взял верх, пришлось отступить к НЭПу. А преодолению последствий возобновившей его коллективизации во время войны помогала американская помощь, а после войны – захват и эксплуатация Восточной Европы. Послевоенный кризис сталинской власти переступили благодаря «десталинизации» и освобождению миллионов политических заключенных. Но нараставший с 1929 общий подспудный кризис советской системы ширился и углублялся.

Кремль, включая Горбачева, не вполне различал природу и корни кризиса. Там, даже признавая былые преступления и ошибки, не слишком задумывались, почему советскую власть не спасают даже выдающиеся достижения. Горбачев, возможно, ощущал роковую роль общей несвободы и недаром первым делом ввел гласность, как шаг к свободе. Но социальные корни мобилизационно-тоталитарного строя плохо сознавались не только в СССР, где впервые в истории человечества его создал великий волюнтарист Ленин. Мобилизационно-тоталитарный строй, нередко с совсем иными флагами и лозунгами, возникал и в других полуфеодальных странах, как альтернатива переходу к капитализму, при котором они отставали и не могли отставание преодолеть. Но даже после второй мировой лишь Оруэлл, Ханна Арендт и еще немногие, думали о природе тоталитарности.

Нидерланды, Англия, Франция, утверждали экономическую свободу открытыми революциями. Но Германию, едва ли не первой заведшую буржуазные отношения и приступившую к реформации христианства, отягощала косность земельных отношений в восточной ее части и территориальная раздробленность, которую преодолевали силой. Еще трудней было России, хоть и сломившей в 1861 году хребет феодальной реакции, не освободившейся от ее пережитков.

Стремление их преодолеть, - и в Европе, и в России, - шло параллельно, а нередко и об руку со стремлением разрешить социальные проблемы капитализма, отстоять права рабочих, как участников производства ценностей, на пропорциональную оплату труда и социальные гарантии. Сперва зывали к гуманистическим идеалам Просвещения, но уже в XIX веке, особенно там, где тяготило феодальное наследство, в социалистическом движении наметились две

тенденции. Одна - добиться политических прав и в политической борьбе реформировать общество, и другая - силовым путем взять над обществом власть. Эта звалась революционной, хотя революция – это массовый стихийный общественный взрыв, а не заготовленные вооруженные действия и террор.

Эти две тенденции проявились в XX веке разделением движения на социалистов и коммунистов, а в России на меньшевиков и большевиков. В XIX веке предшественниками большевиков выступали народники и народолюбцы. Но в Италии после Первой Мировой на силу полагались и социалисты во главе с Муссолини, назвавшиеся фашистами, партией единства, и коммунисты, ведомые Грамши, которые, соперничая с фашистами, сами задумывались о пределах возможностей силы. А немецкий национал-социализм, в отличие от большевизма и фашизма, вырос вне общего социалистического русла, и отверг гуманизм еще откровенней.

Силовые, мобилизационно-тоталитарные движения к социализму вызывались разными побуждениями. Гитлеровцы действовали бесстыжей, а другие лицемернее, стараясь скрывать свои преступления. Их суть важнее их происхождения и облачения. А суть большевизма, фашизма, национал-социализма и многих других движений этого типа с разными теориями на практике совпадала мобилизационной тоталитарностью. Порой говорят, что нельзя их равнять из-за беспощадных войн, которые страны разных политических форм вели меж собой, как СССР и Германия. Но во все времена меж собой воевали страны с одинаковым социальным строем. Из того, что в ходе войны мы хотели победы, не следует, что внутренний строй нашей страны был справедливее и человечнее.

Почвой, на которой тоталитарные порядки росли, была пережиточная феодальная реакция, которой капитализм противостоит. Но лишь покуда остается свободным предпринимательством с открытыми рыночными отношениями и повседневной конкуренцией. По мере монополизации производства и свертывания конкуренции тенденции к мобилизационному тоталитаризму растут и в капитализме. Там, где государство угождает магнатам-монополистам, поощряет их, создает им привилегированные условия, они стоят за тоталитарность. Крупп и Тиссен поддерживали Гитлера, пока его проигрыш не стал очевиден. Задолго до них русский промышленник Савва Морозов еще щедрей помогал большевикам. И не он один.

Видный промышленник надеялся обрести в большевистском государстве лучшие возможности, чем в отсталом царском. Он недооценил сверх-абсолютизм большевиков, да и не дожил до 1917. Но многие тоталитарные режимы бывали не столь строги. Иные монополии развитых стран и ныне готовы помочь мобилизационным движениям, и социалистическим, и националистическим. Это знак кризиса капиталистического общества, вызываемого, прежде всего, тем, что разобравшись в основном с компенсацией физического труда, оно не разобралось ни с природными источниками ценности, ни с компенсацией умственного труда, более всего служащего техническому прогрессу. За его счет монополии и наращивают непропорциональные доходы и

подавляют конкурентов. За кризисом хозяйства и ныне стоит структурный социальный.

Этот бесспорный факт охотно эксплуатируют новые большевики, новые фашисты, новые национал-социалисты, как бы они себя ни называли. То и дело слышна старая песня о социализме и коммунизме, как единственном выходе из всякого кризиса капиталистической системы. Между тем, социализм, установленный в СССР как идеальный мобилизационный тоталитаризм, полностью подавившей всякую свободу и доведшей до крайности лицемерие, обрек Россию на поражение, пока она воевала с Германией один на один, не располагая достаточной американской помощью, и в мирном соревновании, и по производительности труда, и по развитию техники, кроме военной, показав, что создать лучшую жизнь для своих граждан такая система не может по своей природе, а не просто по глупости и жадности вождей.

Мобилизационный тоталитаризм не всегда столь последователен, как советский, -- не сажаят за анекдоты, позволяют читать, что хочешь, и даже проводить отпуск за рубежом. И, говорят, государство, направляя хозяйство, бережет его своим вмешательством от кризисов, преследующих капитализм, обеспечивает стабильность и несменяемость. Долгая несменяемость впрямь возможна, но не гарантирует от возврата к советской форме, которую Сталин установил не по глупости, а понимая, что общество терпит государственное вмешательство в его жизнь лишь пока ничем больше не стеснено, а государство, удерживая желанный ему общественный порядок, может перебить неограниченное число отдельных граждан. Сталинский опыт обретения такого «согласия», известного как «морально-политическое единство советского народа», наглядно показал, что отказ от объективной рыночной конкуренции, ее подмена решением чиновника, и замена многообразия единством, ведут к отставанию и, в сравнении со свободными странами, низкому уровню жизни. А иное положение в военном деле как раз и объясняется упорной конкуренцией с могучим заокеанским соперником! Потому Сталин и пренебрегал не участвовавшим в военном состязании.

Мобилизационный тоталитаризм, именуемый социализмом, разоблачил себя в качестве альтернативы капитализму, не только крушением СССР, но еще больше всей своей историей, если знать ее, какая есть, а не по пропагандистским телепередачам и учебникам. Вера в эту альтернативу еще обременяет сознание не только бывших советских граждан, но и западной левой интеллигенции, которая не осмыслила советский опыт, не поняла, что борьба за так называемый социализм на деле прямо противоположна борьбе за гуманизм и благосостояние граждан, и поддержание мифов, оборачивается, не говоря о прочем, Освенцимом и Колымой.

На деле ныне актуальна борьба за свободный, конкурентный капитализм против монополистического и государственного, а ее-то левые силы, отвергая капитализм, как целое, подсекают, объективно содействуя крайне правым, и различие меж левыми и правыми практический стирается. Хоть современная Россия, провозгласив перестройку, никаких революций не пережила и капитализма не завела, ее трудности проясняются тоже в свете этой главной проблемы

современного человечества, Западом еще не решенной, отчего он и боится глядеть в лицо политической реальности нынешней России. А Россия, противопоставляя себя Западу, перестает понимать, что ей необходимо, чтобы жизнь граждан была хоть сколько-нибудь сносной, независимо от цен на нефть.

Попробуем это понять, оглянемся на происшедшее за четверть века. Считается, что советскую власть свергли. Но на деле, партия, взявшая власть в 1917 и монопольно правившая, в 1991-93 годах раскололась. Одни, отрекшись от коммунистической идеологии, удержали власть, другие, сохранив идеологию, от власти как бы отошли, но, голосуя за государственные бюджеты, помогают власти вести хозяйство и, вместе с ней, отвергают демократические начинания. Отошедшие берегут партийную структуру и коммунистические символы, а оставшиеся у власти образовали не так партию, как нечто вроде ассоциации помощи трону, не раз менявшую названия и ныне известную, как «Единая Россия».

Пропаганда с удовлетворением или осуждением уверяет, что строй изменился радикально, но в реальном поведении правящей партии, равно как оставшихся коммунистами, радикализма немного. Живем, по преимуществу, понятиями прежней эпохи, не входя в их реальный смысл, и позиции квалифицируем по старым советским стандартам. Правившие почти 75 лет коммунисты, полнее любой правившей на Западе правой партии истребившие свободы и права человека и общественных организаций, заменившие представительную систему имитацией, именуется «левыми», какими слыли до 1917 года, хоть и тогда, чтобы звать их «левыми» в тогдашнем смысле, требовалось немало оговорок. Большевики изначально отождествляли если не народ вообще, то классы, от имени которых выступали, со своей партией, и тогда тоталитарной.

Правящая «Единая Россия» формально отличается от прежней коммунистической допущением частной собственности и предпринимательства. На практике, однако, она по своему усмотрению конфискует частную собственность и держит под контролем предпринимательство и всякую вообще негосударственную деятельность. «Единая Россия» объединяет большую часть высших чиновников, чаще всего выходцев из КГБ, правящих страной в союзе с послушными им «олигархами». Это партия власти в буквальном смысле, она представляет группу, в девяностые удержавшую власть в стране, и обслуживающую ее «элиту», но не население, голосующее, не имея реальных альтернатив. Это тоже правая партия, отличающаяся от открытых коммунистов лишь формальным учетом некоторых атрибутов времени, без которых хозяйство, как выяснилось еще до Горбачева, не функционирует.

Иной, чем правой, невозможно счесть и так называемую либерально-демократическую партию, не либеральную и не демократическую, и от «Единой России» отличающуюся разве что более грубым шовинизмом. Партия «Правое дело», сама, как видим, называет себя правой в советском смысле, являя свою буржуазность. Но она «правая» и в европейском смысле, более правая, чем, скажем, британские консерваторы, и даже не интересуется социальными отношениями. Она

больше «Единой России» склонна к законным формам. Но на практике - это лишь более левый в европейском смысле двойник «Единой России», в которой больше чиновников, тогда как «Правому делу» «олигархи» помогают охотней. Лидеры «Правого дела», прежде всего, Чубайс помогли Ельцину под видом приватизации создать «олигархов», то есть, перейти не к массовому капитализму, а сразу к монополистическому.

Место политического центра в России свободно. И коммунисты, и «либеральные демократы» и «праводельцы» поддерживают власть. «Справедливая Россия» выступает как «левый» в советском смысле вариант «Единой России». Та - искусственно созданная правящая партия, а «Справедливая Россия» - искусственная оппозиция, что часто делает ее позицию совсем непоследовательной.

Левее центра есть, по существу, одна партия – «Яблоко», выступающая за переход от феодального социализма к капитализму, ратуя и за социальные гарантии, европейским капитализмом установленные. Это типичная социал-либеральная партия, ее лидер Явлинский точнее других понял реальности экономического и социального состояния страны и теоретически многое, им сказанное, сохраняет актуальность. К сожалению, он много сильнее, как теоретик, чем, как политик, и его во многих отношениях плодотворная позиция, не собирает большинства. Его уход с поста лидера лишь уменьшил политическую значимость партии.

Движение «Солидарность» претендует слить левей «Яблока», в него вошли некоторые яблочники и участники предшественниц «Правого дела», не желающие поддерживать власть. Но движение - еще не партия. Кроме уличных выступлений горстки людей и критических докладов о состоянии разных участков российского хозяйства, движение не привлекло достаточное число людей.

И, наконец, тоже немногочисленная, но активная и уже даже запрещенная партия национал-большевиков во главе с Лимоновым. Она выступает, как крайняя оппозиционная сила, чаще других пытается провести демонстрации, хоть людей тоже выводит немного. Но программа ее, по существу, не сильно отличается от коммунистов. Национал-большевиком, в отличие от Троцкого, строго говоря, был Сталин, строивший социализм «в одной, отдельно взятой стране». Возможно, нынешние национал-большевики убеждены, что трансформация большевизма произошла оттого, что старшие товарищи отступили от принципов. Их искренность не вызывает сомнений, поскольку они за нее нередко платят даже тюрьмой. Но и прежний большевизм трансформирован не личными качествами тех или иных деятелей, включая Сталина, а изначальными политическими методами партии. Эти методы несообразны с моралью и общественными идеалами, которые с их помощью большевики обещали осуществить. Потому и вышло наоборот. Большевики дооктябрьских времен до многого, что национал-большевики запросто перенимают у позднейших, не дошли, и возможно, ему бы даже ужаснулись. Сегодня в стране нет не только парламентской или другой официальной оппозиции, но задавлена всякая оппозиционная деятельность, и практически реально существует лишь индивидуальная оппозиция, толкающая внутренне принадлежащих к ней уклоняться от соучастия в мероприятиях, вплоть

до игнорирования выборов, не допускающих свободного выдвижения кандидатов.

Здесь круг замыкается. Но наша партийная жизнь скучна не от нехватки людей, способных к политике, а оттого, что внутренняя политика изъята из жизни. Она подобна обеду, где стол накрыт, но еды не дают, и гости, стуча приборами по посуде, создают видимость обеда. Держащие власть чекисты правят административно, спуская по вертикали команды, которые население должно исполнять. Что и выразил Председатель Думы Грызлов, сказав: «Парламент – не место для дискуссий». А когда что-то всплывает, и дискуссии все же возникают, хоть, увы, не в парламенте, говорят: «Это наше внутреннее дело». И это впрямь внутреннее дело группы на верху вертикали. Она поддерживает порядок.

Справедливо обличая произвол Сталина, часто не сознают, что на его месте Троцкий, или Тухачевский, или Ленин, возможно, были бы иными, в силу иных личных вкусов и иной образованности, но вряд ли изменилась бы общая картина. Ее определила не так личность Сталина, разоблаченная Хрущевым и другими, как ликвидация общественной жизни и политики, сведение воли страны к воле сперва партии, потом ее ЦК, а потом вождя, одного человека. Личные пороки и добродетели этого человека были такими, как хотела партия.

Сказав, что они с Медведевым обсудят и решат, кому быть президентом, Путин точно очертил строй страны. Возник лозунг «Россия без Путина!», но что проку, если его роль переймет Медведев или кто другой? Уход Путина будет полезен, если не только В.В.Путин перестанет быть единоличным властителем, но им не станет никто, если у России не будет абсолютного хозяина и авторитарная власть прекратится. В выборе будущего президента и судьбы страны вправе участвовать каждый взрослый гражданин. Пока этого нет, Россия - все еще имперская, все еще советская, даром что поменьше.

Чтобы удержать земли Российской империи, авторитарная власть норовит представить ее единой и целостной страной, подобной европейским национальным государствам. Такая традиция пошла оттого, что, в отличие от Испании, Англии или Франции, колонизировавших заморские земли, Русь могла колонизировать близлежащие. Часть их колонизировали мирно, русские пришельцы селились среди местных жителей, преимущественно финских, смешиваясь и сливаясь в единый русский народ. Финское происхождение географические названия русских деревень и городов не повод отделяться от России. Мирная колонизация шла всюду, и оттого, что на месте Москвы прежде жили финны, она не перестает быть русской, как и Берлин оттого, что на его месте жили славяне, не перестал быть немецким.

Однако большинство колоний – это завоевания, начиная с Казанского и Астраханского ханств, покоренных Иваном Грозным. Эти земли тоже усердно заселялись русскими, иные обрусели уже к отмене крепостного права. Не всюду уцелели желающие думать об отделении от России. Но немалые пространства империи все еще заселены покоренными народами, ощущавшими свое неравноправие и ожидавшими, что русские революции, включая большевистскую, им дадут свободу..

Понимая, что новое неравноправие грозит обернуться национальным сопротивлением, Ленин придумал Советский Союз, формально суверенизовал государственность союзных республик, надеясь удержать страну унитарной единством партийного руководства. Сталин уже и государство привел к унитарности. При разрешении общего кризиса в 1991 году национальное неравноправие советских лет, понятно, выплеснулось. Что бы ни толкнуло к разводу руководство России, почти все другие союзные республики хотели самостоятельности. Можно жалеть, что Горбачев сразу не заменил Союзный договор новым, по типу Европейского Союза, сохранив хозяйственные связи с республиками, и установив добрые отношения. Но наивно думать, что без развода СССР был бы прежним. Многие республики стали бы отстаивать самостоятельность и, как потом в Чечне, лилась бы кровь.

Но спасши Россию от всеобщего кровопролития, Ельцин и его сотрудники не вместили все значение этого шага в свои политические соображения. Иначе бы учли, что национальные отношения напряжены не только за искусственными границами, отделявшими РСФСР от союзных республик, но не меньше и внутри них. Вскоре вспыхнула Чечня, и стали клеймить «сепаратизм». Отождествление единства и неделимости России, сразу показало, что для Ельцина, сперва даже манившего: «Берите столько суверенитета, сколько проглотите!», советские установки неприкосновенны. Именуя страну федерацией федеративное устройство свели к номинальному, как слово «союз» в имени Советский Союз. Ныне президентов автономий, как губернаторов областей, избирает не их население, а президент России.

Зло не только в административных трудностях управления огромной страной из единого центра. Особенности национальных автономий, как и разных русских регионов, тоже отличающихся друг от друга, как казаки, поморы или земледельцы нечерноземья, лишь при самостоятельности местного управления можно согласовать, никого не отягощая. Тогда и единство будет не навязываться, а идти от интереса к сотрудничеству и взаимопомощи, и не рухнет само собой. Единство страны держится ее делимостью и представительством всех земель и краев, как единство государства -- повседневным представительством в парламенте разных социальных групп и слоев.

Иначе удержание не желающих того земель становится тяжелым, непосильным грузом. Колониальные системы Британии, Голландии, Франции, Португалии после войны сломала не только борьба колониальных народов. Даже там, где она не началась, удержание колоний при новом техническом уровне хозяйствования обращалось для метрополий в обузу. Удержание их Россией тоже мешает изменить ее хозяйство. Отказ от реальной федеративности стал опорой авторитаризма, перерастающего в тоталитарность.

Нынешняя власть не только отвергла внутреннюю федеративность, но рвется возродить советскую географию. То и дело она ведет кампании против Украины или Эстонии, имело место прямое военное вторжение в Грузию. О возврате к Варшавскому пакту, страны-участницы которого были на положении советских колоний, покамест прямо не говорят, - почти все они, опасаясь нас, поспешили вступить в НАТО, но

антипольская кампания российской пропаганды в канун вторжения 1939 года показала, что и такие мечтания живы

Унитаристские влечения власти, ведущие к тоталитаризму, определяют не только внутреннюю жизнь России, но и ее внешнеполитические стремления. Их тоже вдохнуло советское прошлое. В сознание граждан, как непреложную истину внедряют представление, будто СССР и США навеки призваны быть сверхдержавами и определять участь прочего мира. Но такую ситуацию от 1945 до 1991 создали конкретные обстоятельства. Советский Союз, не говоря о прочем, отчасти оплатил свое положение сверхдержавы своим распадом, односторонним развитием своего хозяйства, оттого и обанкротившегося. Всякая попытка вернуть Россию к тому положению, которое вооруженная мощь давала СССР, означает ввергнуть хозяйство России к полное разорение. Рост цен на нефть, даже возобновившись, не в силах это изменить. Уже то, что с концом холодной войны Россия стала не промышленной державой, идущей к мирному труду, а источником сырья, на мировом рынке, уважаемым лишь в этом качестве, да разве еще как продавец оружия, показало глубину нашего разорения и гибельность возврата к прежней разорительной жизни.

Утешением может служить разве то, что и США, хоть сохранили мощь производства, как сверх-держава уже не столь сильны, поскольку на то время, что наша страна никому не казалась опасной, другие страны не нуждались в Америке для защиты своей независимости. Они, кстати, тоже не сразу поняли, что их авторитет упал, пусть сперва и не по их вине. Но США достаточно сильны экономически, чтобы преодолеть кризис и заняться социальными проблемами. Мы же должны заняться ими в разоренном состоянии.

Американцы тогда во внешней политике тоже переходили границу сопротивления реальным опасностям и брались обустроивать чужую жизнь, как в Ираке. Разумно сбросив угрожавшего миру Саддама Хусейна и проведя всенародные выборы, в которых иракский народ охотно принял участие, они не предоставили новому парламенту разбираться в делах страны, склеенной из обломков Османской империи, а застряли там, искусственно поддерживая ее единство. Но они, по крайней мере, в силах оплачивать свою дурость.

Россия не в таком положении. Но учитывая, что нам не грозит никакая внешняя опасность, и при нашем ядерном оружии нынешним поколениям грозить не сможет, Россия может заняться собой. Она может изменить экономическую систему, а не просто дать руководителям предприятий, назвав их частными собственниками, больше прав и личных доходов. Покамест же в результате псевдо-приватизации она по-прежнему контролирует их административно. Оттого никакого развития и нет, хоть деньги текли в страну рекой.

Власти сами это видят, и рассуждают о модернизации. Но модернизация представляется им чисто технологической, по примеру Петра и Сталина. Оттого Сталина и объявили «эффективным менеджером». Между тем, даже при Петре заимствование технологий давало лишь временный и частичный эффект, и такое развитие в течение полутора столетий означало нарастание отставания, что и

обнаружилось при столкновении с промышленными странами. Еще менее эффективной была такая индустриализация при Сталине. Пора говорить вслух, что в Отечественной войне мы сперва потерпели жестокое поражение, и лишь получив от союзников дополнительное вооружение, транспорт и продовольствие, переломили ход войны и победили.

Тем паче абсурдна такая «модернизация» сейчас. Даже получив новую технологию, что при нашем вызывающем поведении не гарантировано, Запад будет создавать все новые технологии, а перенятые нами - устаревать. Реальная модернизация возможна лишь если Россия сама станет европейской страной, какой была при Ярославе Мудром, а это как раз и требует смены социальной системы, - иначе, как в СССР, и в благоприятных обстоятельствах, возможна лишь модернизация по-преимуществу военной техники, ведущая страну к банкротству. Опыт Петра, перенимавшего, чтобы сохранить свой социальный порядок, не социальные, а технические идеи Запада, и опыт Сталина, проводившего модернизацию на базе мобилизационно-тоталитарного режима, нет нужды перепроверять. Оба показали, что радикальные технические перемены полезны лишь при адекватных социальных.

А ради них России надо осознать свой нынешний социальный состав, его структуру и хозяйственные отношения меж людьми и организациями. За почти столетие изменились не только количественные соотношения прежней социальной структуры – неограниченный самодержец с аппаратом власти, помещики, капиталисты, духовенство, ремесленники, интеллигенция, крестьяне и рабочие. Исчезли целые социальные слои. Отношения уцелевших пережили пять глубоких переворотов – военный коммунизм, НЭП, коллективизацию, тоталитарный строй, отказ от советской идеологии. Важнейшим была коллективизация, ликвидация крестьянства, и особенно его активной части, в прежних терминах - кулачества, в современных - фермерства. Уцелевшее крестьянство перешло на положение сельско-хозяйственных рабочих, которым, в отличие от промышленных, платили произвольно, без твердой зарплаты и социальных гарантий, замененных приусадебным участком для прокорма за счет дополнительного труда.

Началось великое переселение, крестьяне бежали из деревни так активно, что вскоре, чтобы бегство ограничить ввели паспортную систему, и крестьянам паспорта не выдавали. Но многие, отслужив по призыву в армии, домой все равно не возвращались. Этот напор рабочей силы в городах и позволял сводить к минимуму заработную плату рабочих. К тому же, немалую часть трудящихся составляли заключенные. А еще новые стройки создавали моногорода, и приехавший туда не мог сменить место работы не перестроив свою жизнь. Все это позволило держать людей физического труда на крайне низком уровне благосостояния, и они были рады, когда хотя бы стабильности этого уровня, не всегда сохранявшейся.

Уже в начале XX века было видно, что страна опять выходит на «особенный путь». Но смена декораций и режиссуры мешали понимать, что к чему, и как ныне люди не дивятся возврату советских обычаев, при

Сталине и после они не дивились нормам самодержавия. Абсолютная и беспощадная власть коммунистов, с 1917 года простертая на все сферы, - от управления хозяйством до интимной жизни, - у многих изначально вызвала отторжение. Но ликвидация в 1929 ремесленничества, частной торговли, а, главное, крестьянства, и потом, в тридцатые, коммунистов с иными мнениями, чем взявшие в партии верх, побуждали держать чувства и языки при себе. Из почти двадцати миллионов, официально пострадавших от карательной системы, лишь немногие с ней впрямь боролись. Их губили превентивно, наказывая несообразно с поступками, Страной правил страх. Люди боялись. И власть боялась, что не устоит.

Возникшее после Сталина диссидентское движение стало нравственным сопротивлением, и лишь поэтому правовым. Не стремясь к невозможной смене власти, оно не было политическим, хоть политический смысл, конечно, декларировало. Но и деятельность власти не была политической. Власть издавала приказы, обязательные для населения, но не только народ, прикрытый показухой народных обсуждений, а и правящий класс, номенклатура, не вел открытой политической борьбы за те или иные варианты. Даже обмениваясь после Сталина мнениями в закрытом порядке, номенклатура, пока не было гласности, не политикой занималась. Разве что интригами, взаимными доносами и убийствами товарищей, и при Сталине, и без него.

Гласность и политическую жизнь через полвека после великого террора возродил Горбачев, а вынудил к этому всеобъемлющий хозяйственный кризис, подкосивший возможности произвола, которым жила советская система. Не только Сталин, но и его преемники, не довольствовались тем, что ракетно-ядерные достижения позволяют нанести потенциальному агрессору смертельный ответный удар, гарантируют нашей стране полную безопасность не на одно поколение. Их манил перевес над прочим миром, в обиходе именованный «паритетом», и они не просто пренебрегли сбалансированностью остального хозяйства, но деформировали его так, что исчезала управляемость. Уже и остановить гонку было недостаточно. Нужны были реформы.

Самая известная – так называемая «косыгинская». Но скромность замыслов при робости их проведения подорвала эффективность. А кризис брал свое, но ни в конце правления Брежнева, ни при Андропове, ни при Черненко, «портреты», как именовали членов Политбюро, не знали, что делать. Они еще могли в очередной раз железной рукой навязать товарищам свою волю, но не были уверены в своей воле. Дело было как раз за тем, чтобы ее умерить, себя осадить, сократить вмешательство, перейти от внеэкономического, волевого управления хозяйством к экономическому, предполагающему не единую сверхмонополию, какую строил Ленин, -- все они, начиная со Сталина были «верные ленинцы», -- но множество хотя бы относительно самостоятельных хозяйств, отвечающих общественному спросу, и руководимых не волей власти, а ориентацией общественных институтов на экономические закономерности.

Правящий класс не был един. Он дружно хотел удержать власть, но одни полагались на крепость советской системы, другие, наблюдая

состояние хозяйства, -- на реформы. Обе тенденции внятно обозначились. Но подспудно была еще третья, социально разношерстная и никак не объединяющая, но тянувшая к своего рода реставрации, опять же понимаемой совсем по-разному, но в любом случае без эпитета «советская».

Реакционеры понимали, что кроме насилия у социальной системы Ленина-Сталина нет опоры, и без повседневного насилия, правящий класс, номенклатура, потеряет власть, а с ним и свое положение, как дворянство после 1917. Реформаторы были правы, считая, что советская хозяйственная система в целом не эффективна, что научно-техническая революция не оставила места техническому развитию, держащемуся насилием. А третьи были правы, считая, что идеология, на принципах которой строится жизнь и ведется хозяйство, так называемый «марксизм-ленинизм», от своих источников ушел слишком далеко и слишком сильно их ревизовал, чтобы опираться на революционные утопии Коммунистического манифеста, прокламирующие абстракции, не имеющие ничего общего с советской реальностью, даже ей противоречащие. И эта идеология не помогала хозяйству, а часто еще и мешала. За шесть лет политических перемен Горбачев не поправил хозяйство, лишь отчасти скинул с него непомерный груз. А напряжение росло, и реакционеры организовали ГКЧП для возврата к прежним порядкам. Но тут и вышли вперед третьи, ненадолго сплотившиеся вокруг Ельцина, и выбросили советскую идеологию.

Ими отнюдь не руководили диссиденты советского времени, сперва сочувствовавшие Горбачеву, показавшему, однако, во время знаменитой речи Сахарова об Афганистане на Съезде народных депутатов, что опасается показаться ему слишком близким, хоть сам и вывел из Афганистана войска. Диссиденты предпочли Ельцина. Но, как самостоятельная группа в дальнейших событиях большой роли не играли, разве что создавая «Мемориал», и частично возобновив, уже при Путине, правозащитную деятельность.

На путях преобразования страны схватились коммунисты трех направлений. Население, конечно, глядело на происходящее с любопытством, активно голосовало на выборах, но самостоятельную активность проявило лишь в августе 1991, преимущественно в Москве и в Ленинграде, показав нежелание возвращаться к советской реакции. Потому и КПРФ, после августа продолжавшая гнуть реставрационную линию, уже ни разу не собрала большинства. Люди хотели перемен. Но не слишком доверяли власти, на нее не очень надеялись, и в массе остерегались активного соучастия. Насколько, при всех оговорках, можно судить по раскладу голосов на выборах и в опросах, коммунистическую реакцию поддерживало не большинство, но осязаемое число граждан, а коммунистов-реформаторов (Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе и других) немногие. Горбачевская эволюция могла совершаться лишь с согласия реакционеров, перед лицом общего кризиса искавших в ней спасения для себя. Выведя на улицы танки, они отменили мирную эволюцию советского режима. Да люди и не были убеждены, что эта эволюция, разрешив кризис, сама не повернет вспять.

Ельцин на всенародных выборах Президента РСФСР во многом потому и собрал подавляющее большинство голосов и победил в первом же туре, что выступал как оппонент партии, в которой сделал карьеру. Когда он залез на танк, а потом еще публично отказался от советской идеологии и советского порядка, могло казаться, что впрямь свершилось нечто радикальное, и поныне, как противники нынешней власти, так и некоторые ее сторонники так говорят. Но если смотреть не на трагические эпизоды, а на реальное их содержание, если сопоставить прежний порядок с новым, картина оказывается не столь радужной.

Роспуск СССР, инициатором которого был Ельцин, конечно, отчасти облегчил не только участь бывших союзных республик, вставших на путь самостоятельного развития, но и бремя России, за счет которой эти республики из военных и политических соображений удерживались. Но лишь часть былых колоний российской империи имела в СССР статус союзных республик. Многие, имевшие статус автономных, даже превышая союзные республики и по площади и по числу граждан «титულიной» национальности, права на отделение не получили. К тому же, границы автономий провели с дальновидным расчетом на недопущение в них какого-либо единства. Районы заселенные «титულიной» нацией включались в соседние республики или области, а в данную включали районы, заселенные соседними народами или русскими. Никаких усилий по выправлению этих внутренних границ новая Россия не сделала, никаких гарантий их самостоятельности, даже без праве на отделение, не появилось. Отменив всенародные выборы губернаторов, Путин заодно отменил и выборы президентов автономий, которых тоже назначает сам, чем федеративность новой России и кончилась. Она стала унитарным государством, даже в большей мере, чем СССР, где союзные республики хотя бы на бумаге имели какие-то права, которыми смогли воспользоваться.

А принцип федеративности важен не только автономиям. Масштабы России делают невозможным разумное управление ею с помощью «вертикали власти». Ее надобно самоуправлению земель, передающих центральной власти лишь заботу об иностранных делах, обороне и финансах. К тому же, внутри русского народа исторически сложились разные территориальные общности, как, скажем, донские казаки, тоже нуждающиеся в самоуправлении. С 1991 не только ничего не сделано для развития России, как федеративного государства, но ее федеративность стала чисто номинальной, даже в большей мере, чем в СССР.

Управление страной осуществляют чиновники. Их тоже больше, чем было в СССР. Зависимость всякого человека, начиная с предпринимателя, от чиновника, позволяет чиновной номенклатуре пользоваться своим положением. Это абстрактно осуждается, как общая для мира болезнь коррупции. Но упускают коренное отличие российской коррупции от существующей в демократических странах. Там чиновник берет взятку за дозволение преступить закон, а российский за возможность действовать по закону. Экономическая и вся другая, внутренняя политика России происходит вне правовых рамок, не довольствуясь соблюдением гражданами закона и, в нужных случаях, уведомлением власти о намерениях, но всякий шаг предполагает

разрешение власти, произвольно дающееся или нет. Тоталитарная власть, отбросив ширму марксистской пролетарской утопии, стала откровеннее. К этому свелась перестройка. Уже в 1917 году, учреждая эту власть, Ленину пришлось отказаться от многих положений марксистской утопии, но еще почти сто лет ею подпирали советскую идеологию. Кризис конца семидесятых и перестройка Горбачева демонстрировали несовместимость утопии и реальности, и власть отвергла марксистскую мифологию ради откровенности тоталитарного реализма. Это сделал Путин. Не то, что он служил добродетели, скорее напротив, но ситуацию, которую темнили почти сто лет, он обнажил, показав итоги Октября и разгона Учредительного собрания.

ОТЧЕГО ТАК?

Развод Советского Союза объявили геополитической катастрофой. На международном положении он, конечно, сказался. Вопреки байкам о победе Соединенных Штатов в холодной войне, они, оставшись единственной сверхдержавой, у которой уже не искали спасения от советской угрозы, стали не столь влиятельны. Укрепились объединенная Германия и Евросоюз, куда спешили входить, боясь возврата советской оккупации. Изменилось положение в Азии, Африке и Латинской Америке. Но все это следствия, а не причины советского развода. Причины – социальные. Это не так геополитическая, как социальная катастрофа.

Семьдесят четыре года в России, в колониях Российской империи и в покоренных странах, под флагом Советского Союза и Варшавского договора, торжествовал тоталитарный социализм, «первая стадия коммунизма». Его творец Ленин говорил, что, упраздняя капитализм, реализует замысел Маркса, родившегося за сто лет до того. Маркс жестко обличал капитализм, выросший из идей Просвещения и буржуазных революций, и верил, что рабочий класс, став большинством населения развитых стран, совершит пролетарскую революцию и приведет к коммунизму.

Не то, что Маркс зря придирался, но он застал капитализм на довольно ранней стадии, и, -- выдающийся исследователь, однако не пророк, -- не мог оценить некоторые важные стороны проблемы, тогда еще не очевидные. Машина, уже служившая производству, и создавший ее умственный труд еще были экономически менее весомы, чем физический труд наемных рабочих, и Маркс счел источником ценности продукта производства лишь физический, но не умственный труд. Опять же, природное сырье казалось тогда общедоступным, и Маркс считал, что ценность ему придает лишь физический труд, пошедший на его добычу. Это мешало оценить экономическую значимость самих природных ресурсов, и, в частности, природу земельной ренты. И то, и другое, уводило от реальности.

Ленин, считавший себя марксистом, рвал с ней еще резче. Маркс ждал перехода к коммунизму как итога развития капитализма, на высших его ступенях, а Ленин больше шансов видел в отсталых странах, где «легче взять власть». Маркс ждал революции во всех развитых странах разом, а Ленин – в одной «отдельно взятой» отсталой.

Маркс, исходя из французских просветителей, немецких философов и английских политэкономов, рассматривал движение от феодализма к капитализму и от капитализма к коммунизму, как единый процесс развития, а Ленин опирающийся на русскую практику революционеров-народников и их теоретика П.Н.Ткачева, надеялся перейти от российского феодализма к социализму, обойдя капитализм, не сильно в России развитый. Отсюда и его волюнтаризм. Смолоду Маркс и Энгельс тоже отдали дань волюнтаризму, но, – в чем и состоит их заслуга, – осознали экономическую почву развития демократии.

А Ленин установил тоталитаризм, разогнал Учредительное Собрание, и реальных выборов в СССР больше не было. Это все-таки не от Маркса, а от Ткачева, для которого мнение народное ничего не значило. Важна была лишь руководящая воля правящего класса, которым и стала ленинская партия. Худо не то, что ее стремления изначально были дурны. Они порой бывали и благими, -- взяв власть коммунисты отменяли квартирную плату и даже плату за проезд в трамвае. Но они лишили людей права индивидуально определять свое место и роль в производстве и жизни, какое, при всей ограниченности, было в капитализме. Власть взяла на себя «разверстку» всего, что считала нужным, пресекая все другое, упраздняя экономические отношения. Разорение хозяйства вынудило ее перейти к Новой экономической политике (НЭПу), временно допустив частное производство и торговлю, особенно, в сельском хозяйстве. Но опасаясь, что и ограниченные экономические отношения подорвут их замыслы, коммунисты, уже без Ленина, но по его заветам, под водительством Сталина, в 1929 году провели коллективизацию, упразднив частное производство даже в виде семейного крестьянского хозяйства.

Советский Союз утверждал, что выражает общие интересы граждан и их социальное единство, воплощенное в общем производстве, ведущемся государством и руководимом партией, как завещал Ленин в предопределившей советский порядок работе «Государство и революция». Ни одна другая страна, твердившая о социальном единстве, не блюла его так строго, как Россия. Фашистская (то есть, единая) Италия, и национал-социалистическая Германия, допускали буржуазные отношения, контролируемые и регулируемые государством. Поздней на схожих началах их допустил и коммунистический Китай. Советские коммунисты подчинили единству всю жизнь.

На практике это означало централизованное руководство всеми ее сферами, не только промышленностью и сельским хозяйством, но от здравоохранения и образования до науки, искусства и религии. Не говоря об идейных плодах такой советской жизни, важно, что и развитие материальных определялось там не нуждами и требованиями граждан, не их спросом, но решениями положенного уровня вертикали власти. Единство руководства исключило конкуренцию, соревнование,-- главную антитезу тоталитаризму, что и повело к неизбежному отставанию, как техническому, так и организационному, обрекая тоталитарное государство, при явных достижениях во внешней конкуренции, особенно в оружии, на бессилие в гармоничности развития, потребности которой, наперед не предвосхитимы. Ленин, понимая и не раз подчеркивая важность соревнования для развития, не брал в расчет, что судить такое

соревнование способна лишь сама объективная реальность, но не проводящие его партийные комитеты и власти.

Коммунисты возражают, что конкуренция, реальное соревнование, отдельных ли рабочих и изобретателей, или целых предприятий, приносит выигрыш одним и проигрыш другим, и это ведет к неравенству средств существования, даже к нищете. Но наивно верить, что их тоталитарная власть предоставляет средства существования справедливее, не говоря, что отказ от конкуренции, то есть, от общего выигрыша, неминуемо ведет к общему сокращению достатка. Потому при тоталитаризме в СССР и было трудней жить, чем в буржуазных странах, зарплаты ниже и социальная помощь скудней. Ведь лишь при свободе можно объективно, а не произвольно, определить необходимую нуждающимся социальную помощь.

Судьба русского народа и других, насильно удержанных в составе Советского Союза, была трагична не только от прямых злодейств Ленина, Сталина и прочих товарищей, но и потому, что людей лишили права сообразовываться со своими взглядами, своей нравственностью, под угрозой гибели уничтожили возможность не уступать свои решающие права коммунистической партии, всегда во всем уверенной в своей заведомой правоте, и потому обернувшейся преступной бандой.

Она не раз меняла приемы своего командного правления. Уже Сталин, передал текущее руководство от советских органов партийным, его изменял Хрущев, потом Косыгин, но никто из них не преступил монополию руководства развитием, а она его и тормозила. И объявленная Горбачевым перестройка не могла преодолеть кризис конца семидесятых, с которым не совладали Брежнев, Андропов и Черненко, потому, что тоже не отказалась от советского монополизма, то есть, тоталитаризма. Перестройка лишь сократила экономически неподъемное производство и либерализовала идейную жизнь, удерживая советский общественный строй, в рамках которого кризис рос.

После неудачной попытки ГКЧП, объединявшего высшее руководство КПСС и государства, подавить горбачевское свободомыслие, Ельцин, как новый лидер Советского Союза, ужавшегося при разводе до размеров РСФСР, официально отменил коммунизм, как идеологию и хозяйственную систему, и дозволил частную собственность и частное производство. Общественный строй официально числили капиталистическим. Объявились олигархи. Но властью они владели лишь став должностными лицами, как Абрамович губернатором Чукотки, Потанин – замом премьер-министра или Березовский – замом секретаря Совета безопасности. А, как предприниматели, они кругом зависели от государства. Пример Ходорковского показал, сколь ничтожна их самостоятельность.

Ограниченным осталось и производство. Едва умерив после 1993 года его стремительное падение, Россия в 1998 пережила дефолт, втрое сокративший стоимость рубля. Ельцин, в СССР оппонировавший Горбачеву с либеральной стороны, в России все более возлагал надежды на силовых премьеров, выходцев из КГБ, сперва более гибких Примакова и Степашина, потом Путина, которого и сделал преемником.

Неверно думать, что курс на открытую реставрацию тоталитарного порядка, после августа 1991 отнюдь не умершего, Ельцин начал лишь назначением Путина. Его обозначили уже Примаков и Степашин. Но еще до дефолта и их премьерств, знаком реставрации было жестокое подавление Чечни, претендовавшей на реальную автономию. Ельцин лишь изменил советскую форму тоталитаризма, и новая открыла правящему классу дополнительные возможности. Строго говоря, советский тоталитарный строй отличался от других, фашистских порядков преимущественно своим марксистским маскхалатом. Его-то Ельцин и сбросил.

Уже в советской системе распоряжение государства производством не сводилось к организационным и техническим командам, но придание производству независимого, псевдо-буржуазного вида, расширяло возможности государственных лиц, позволяющих действия предпринимателей. Получаемые ими взятки в общей форме критикуют, как коррупцию, но они практически стали в России условием предпринимательства на всех уровнях. Коррупция -- не грех нынешнего хозяйствования, а его важнейшее свойство.

Нет смысла гадать, в какой мере власть полагалась на это и другие свойств ельцинского режима, продленного Путиным, поскольку при нем она обрела неожиданную поддержку. В результате резкого десятилетнего подскока цен мировых рынков на газ и нефть, Россия и ее правящий класс ощутимо улучшили свое положение. Уже казалось не существенным продолжатся ли кризисы или даже возобновится советский застой. Та пора, однако, кончилась. Рубль упал вдвое, цены на нефть тоже, возможности России тоже, а за благополучный период ни в техническом, ни в промышленном развитии существенных сдвигов не произошло и, возобновив, вопреки здравому смыслу, гонку вооружений, Россия отхватила Крым, влезла в Украину и грозит ядерной войной, шансы на которую зависят от готовности тех, кому грозим, к ответному удару.

Есть, однако, смысл подумать, что это значило и значит. Кризис, вызванный гонкой вооружений в конце семидесятых обозначил объективный предел ленинской воли, а, тем самым, советского строя. Это не опровергло мысль Маркса о зависимости общественных отношений от хозяйственных, но показало, что этой зависимости недостаточно, чтобы в полуфеодальной стране революция преобразила капитализм в коммунизм. Решает не книжная схема, а предшествующее развитие, то есть, вызревание в предыдущей формации существенных факторов следующей. Революция плодотворна там, где новые отношения не декретируются, а органически складываются, но им мешает старый порядок. Вот революция и защищает новые порядки от вчерашних нравов, как в Англии или Франции. А Ленин строил новый для страны порядок, годный лишь умозрительно, строил коммунизм, когда Россия шла к капитализму. Хоть революция была решительной, строй, ею установленный, оказался не новым, а перелицовкой старого.

Он стал подобен существовавшему в царской России, а замышлялся подобием первобытного коммунизма, служившего становлению человечества чуть не два миллиона лет до известной нам цивилизации, не просуществовавшей еще и десяти тысяч лет.

Историческое сознание Маркса мыслило нашу цивилизацию, как совершенствование, возвращающее человечество к коммунизму на несопоставимо более высоком уровне развития. Попытка Ленина в Октябре совершить это на деле обнажила его отличие от Маркса. Из диахронической мысли Маркса, порой пронзительно понимавшей сущее, но утопичной в предвидении будущего, никак не вытекает ленинская вера в синхронное волевое переустройство. Не только потому, что гений конкретной практики Ленин, верил, что шанс достигнуть высокой цели оправдывает любые средства, а теоретик Маркс исходил из того, что «не может быть правой та цель, для которой нужны неправые средства».

Но Маркс упустил, что первобытный коммунизм – не чисто общественное явление, а путь человечества от естественного существования к общественному, от коллектива близких людей к кругу разных индивидуальностей. Первобытный коммунизм держался сперва родством, семейной поддержкой, и длился сотни тысяч лет, медленно меняясь, пока не распался, и родство не заменилось соседством, не переменялись общие отношения племени, рода, большой семьи с окружающим миром. Люди переходили от собирательства или охоты к земледелию и скотоводству, от матриархата к патриархату, от родственных хозяйственных отношений к чисто хозяйственным. Во многом коллективные и если не демократические, то добрые родственные отношения стали отступать перед классовыми. Ленин считал, что «только там и тогда, где и когда появлялось разделение общества на классы, ... где один эксплуатирует другого», возникает государство, «как особый аппарат принуждения людей». Энгельс понимал это несколько иначе: «чтобы эти противоположности, классы с противоречивыми экономическими интересами, не пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, ... стала необходимой сила, стоящая, по-видимому, над обществом, сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в границах «порядка». И эта сила, происшедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть государство». Оба противопоставляют государство обществу, но понимают их противостояние не одинаково. По Ленину оно в том, чтобы обеспечить одним классам эксплуатацию других. Его государство – сторона конфликта, сторона угнетателей. По Энгельсу главное, чтобы классы «не пожрали друг друга и общество», то есть не только угнетатели не пожрали угнетенных, но и угнетенные угнетателей и общество, не сводимое к государству. Энгельс не защищал угнетателей-капиталистов. Вместе с Марксом, задолго до Ленина, он выступал против присвоения прибавочной ценности (стоимости). Но, как человек усвоивший опыт буржуазной революции, отвергавший феодальное внеэкономическое угнетение, он отдавал себе отчет, что ликвидация капиталистических и, вообще, экономических отношений в обществе, не ставшем коммунистическим и сохраняющем государство, лишь возродит феодальное внеэкономическое угнетение. А Ленина это не смущало, ради избавления от капитализма он легко шел на установление внеэкономических порядков, не сильно отличавшихся от феодальных, еще более жестких и абсолютистских.

Маркс и Энгельс, при всей утопичности их коммунизма и других упущениях, вполне сознавали, что развитие общества, в котором они жили, зависит от наличия гражданских и экономических свобод и прав. Ради их установления, по их понятиям и нужна была революция и даже диктатура пролетариата, под которой они разумели свершение воли большинства населения, которое составят рабочие. Их вера, что такого большинства, которого не было, нет, едва ли будет, -- заблуждение, но не злонамеренное. А учение Ленина о переходе к социализму и коммунизму путем установления неограниченной диктатуры его партии, «знающей, как надо», не считающейся с мнениями и волей граждан, в том числе и рабочих, и никогда, кроме ноября 1917 в разогнанное Учредительное собрание, не проведенных свободных выборов, -- не просто заблуждение, даже если чистосердечное. Исходя из него Ленин и его преемники совершили чудовищное насилие над своей страной и над другими, и готовы -- над всем миром. Ельцин и Путин потому и убрали иконы Маркса, что, как практики, думали по-ленински, а не по-марксистски, они и Ленину не прощали ссылки на Маркса, но мавзолей Ленина сберегли. Хоть социальные цели Маркса и Ленина были вроде близки, пути и средства их достижения, начиная с «диктатуры пролетариата», они понимали совсем по-разному. Вместо царского самодержавия Ленин ввел коммунистическое, то есть, не отверг самодержавие, а переукрасил. Ельцин с Путиным, хоть не так чистосердечно, уверяли, что хотят видеть Россию буржуазной и меняли цвета государственного флага, но действовали методами советского тоталитаризма. Нелепо это объяснять прежними привычками Путина. Не только потому, что трагедия великой страны не сводится к «культу личности». При Сталине тоже царил не культ личности, а культ номенклатуры, поддерживавшей его, а до того Ленина, как гарантов своих привилегий. Причины происшедшего при Ленине и Сталине, и при Ельцине и Путине, - не личные, а социальные. С 1917 официальная пропаганда напирала на то, что Россия идет к коммунизму, с 1991 -- что к декоммунизации. На деле, однако, после 1917 ни коммунизм, ни социализм, какие видел в утопии Маркс, в России не возникли, тоталитарный ленинский режим провел огосударствление жизни, абсолютизацию партийно-чекистского самодержавия, и ликвидацию общества, даже в тех жалких формах, какие были при царе. Советское самодержавие по мере развития, конечно, изменяло нравы и акценты, но знаки коммунизма и социализма являла лишь марксистская ширма.

Отказ от нее, откровенность закрепленного Конституцией самодержавия Ельцина-Путина, стерла важное, пусть внешнее пропагандистское отличие русского тоталитаризма от других, его нынешняя откровенность избавила от нужды оговаривать, что советский фашистский режим принципиально не отличался от других фашистских, хоть носил марксистский наряд. Но переход к нему -- не декоммунизация, поскольку советская жизнь имела мало общего с марксистской утопией коммунизма. К тому же, переход от советского строя к реально буржуазному неминуемо лишил бы его руководящий класс, номенклатуру, власти. А хоть такая богатая и самодостаточная

страна, как Россия, и без всех оставшихся у нее колоний при буржуазном строе могла бы процветать, она не могла удержать советский строй иначе как агрессивной внешней политикой Ленина, Сталина и их преемников, непрерывно звавших освободить весь мир от ига капитализма. Удержать советский мир, даже в его нынешнем обновленном виде, Путин, не держась все того же агрессивного курса, не может. Да и выходить из советского мира номенклатура не хочет.

Не хочет уже потому, что положение буржуазного предпринимателя, менее рискованное, чем номенклатурного лица, и менее гарантировано и менее перспективно. Но еще важнее, что оно требует других дарований и других условий деятельности. Ельцинско-путинская номенклатура более десяти лет кормившаяся от взлета мировых нефте-газовых цен, и недурно пожившая, не создала подобного ни Путиловскому заводу до революции, ни Горьковскому автозаводу после. Не порвав с изжившим себя советским режимом, она не сумела создать что-то иное, и не придумала ничего, кроме как возрождать былой советский, себя исчерпавший. То не прихоть Путина, а позиция номенклатуры, полдержанной внеэкономически силами КГБ и экономически помощью Евросоюза и США.

После падения нефте-газовых цен у нее нет перспектив. Чтобы наладить хозяйство, конкурентное в современном мире, она должна уйти, очистить место другим общественным классам. Этого она боится. А возвращение к советской системе не спасет, - за тридцать лет она не так распалась, как отстала даже в военном отношении, где прежде держалась наравне. Чтобы сохраниться, номенклатура не может довольствоваться холодной войной, как при Брежнев, но берет более агрессивный тон, устами главного оратора на Запад, Дмитрия Киселева, грозя Соединенным Штатам обратить их в радиоактивную пыль, что Киселев не рискнул бы сказать самовольно. Едва ли Россия Путина впрямь хочет войны, но она хочет капитуляции Запада и ради нее рискует войной. Трудно судить, способен ли современный Запад образумить круг Путина, как в свое время Трумен Сталина, а Кеннеди круг Хрущева, и ограничится ли завтрашний день новым холодным равновесием, погибнет ли мир и какова будет роль Китая, Индии и мусульманства. Ясно лишь, что в противостоянии европейской цивилизации, к которой изначально принадлежала русская, Россия теряет роль, которую играла в XVIII – XX веках. Избавление от номенклатуры, и, тем самым, от имперского сознания и траты сил на захват и удержание колоний, дало бы России шанс, наряду с Соединенными Штатами, Германией, Британией, стать либеральным национальным государством, развитым и влиятельным. После тоталитарного, не только прежнего псевдо-марксистского, но и нынешнего фашистского режима, это маловероятно. Растущей агрессивности России одни отвечают лозунгом «Россия без Путина», другие -- русофобией. А зло в тоталитаризме!

